

**TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED**  
**УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ**  
**ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

ALUSTATUD 1893. a.

VIINIK 167 ВЫПУСК

ОСНОВАНЫ в 1893 г.

**ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И**  
**СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ**

**VIII**

**ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ**



**TARTU 1965 ТАРТУ**

Рез. А-1169  
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED  
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ  
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ALUSTATUD 1893. a. VIINIK 167 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ В 1893 Г.

---

# ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

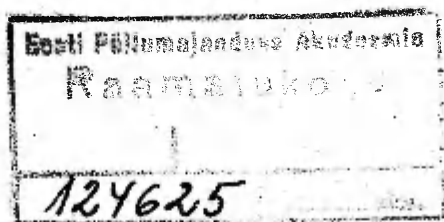
## VIII

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

TARTU 1965 TARTU

Редакция: Б. Ф. Егоров (ответственный редактор), Ю. М. Лотман,  
В. Т. Адамс.

**Tartu Ülikooli Raamatukogu**



## ОТРАЖЕНИЕ ЭТИКИ И ТАКТИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XVIII ВЕКА

Ю. М. Лотман.

Рассмотрение связей литературы и освободительного движения, влияния идей Просвещения на литературу конца XVIII века, идей декабризма на русских писателей пушкинской эпохи в послевоенные годы вызывало особенно пристальное внимание исследователей. Научные результаты этого были весьма плодотворны. Дальнейшее научное движение требует однако, рассмотрения некоторых спорных вопросов как общего, так и частного порядка. Изучение конкретных сплетений идеологических проблем, создающих неповторимую структуру идейной жизни данной эпохи, позволяет обнаружить картину значительно более богатую и интересную, чем та, которая рисуется исследователю, довольствующемуся рассмотрением лишь общих контуров идейных движений.

Второе общее замечание, которое уместно сделать, предваряя рассмотрение избранной нами темы, сводится к следующему: исследователи часто указывают на наличие в системе воззрений того или иного деятеля определенных противоречий. Причем, если в одних случаях мы имеем дело с действительными противоречиями, реально присутствующими в системе воззрений данного автора, то в других — перед нами следствие исследовательской беспомощности, для которой ссылка на «противоречия» представляет собой лишь удобную уловку, позволяющую скрыть неумение проникнуть в сущность изучаемого явления.

Как же отличить подлинные противоречия от исследовательских фикций?

Прежде всего здесь необходимо учитывать, что противоречия в мировоззрении того или иного деятеля — лишь отражения конфликтов социальной действительности его эпохи. Но существенно и другое. Если речь идет о значительном и глубоком мыслителе, а не эклектике-компиляторе, то следует иметь в виду, что противоречия в его взглядах это отнюдь не элементарный набор взаимоисключающих высказываний. Следует помнить, что одна и та же идеологическая система может выступать как противоречивая с точки зрения современного исследователя и монистическая, непротиворечивая с точки зрения ее создателей. Более того, именно так чаще всего и бывает. Противоречия идеологической системы присутствуют в ней не как элементарное несведение концов с концами (к сожалению, во многих историко-литературных исследованиях дело представляется именно так), а как переосмысление того, что казалось единым, в свете последующего исторического или современного, но социально не однородного опыта. Таким образом, перед историком идеологии возникает двойная задача: описать изучаемую систему в терминах современной идеологической конструкции, раскрыв ее как противоречивую и, одновременно, построить ее модель, восстановив все связи представлений той эпохи. При этом вполне может оказаться, что в последнем случае система предстанет перед нами как непротиворечивая.

Наконец, следует иметь в виду, что проблема противоречий в идеологической системе часто оказывается связанной с вопросом полноты исследова-



тельской модели. Таким образом, если взять сравнительно узкую абстракцию типа: «воззрения данного мыслителя на свободу воли и личное бессмертие», то часто может оказаться, что непротиворечивая в пределах данного вопроса система окажется внутренне противоречивой, если рассмотреть ее как часть более обширной модели — например, «философские воззрения этого деятеля». И наоборот: система внутренне противоречивая может перестать казаться таковой, если включить ее в более широкий круг сопоставлений.

Научное решение этого вопроса подразумевает еще одно условие: нельзя признать достоверным метод, при котором исследователь перечисляет определенные положения изучаемого материала, располагая их произвольно или в соответствии со своим мировоззрением, привычками и традициями, а затем заключает о наличии и характере противоречий в изучаемом материале. Необходимо восстановить связь понятий и высказываний, построить их систему, а самую эту систему обобщить до осознания основных идеологических оппозиций, определяющих структуру мировоззрения данного деятеля.

Все сказанное относится и к направлениям, и к целым эпохам идеологической жизни. Если мы обратимся к проблеме, поставленной в заглавии настоящей статьи, то нам бросится в глаза ряд противоречий, которые не нашли до сих пор положительного объяснения в трудах историков русской общественной мысли, а иногда даже не были отмечены. Назовём, например, некоторые: отрицание бессмертия души в первых частях известного трактата Радищева «О человеке» и утверждение ее бессмертия в последующих; осуждение деятельности Робеспьера Радищевым и преклонение перед Робеспьером Карамзина; глубокая связь сравнительно умеренных деятелей декабристской эпохи (типа Вяземского) с материалистической традицией французского Просвещения XVIII века и трудность, а порой и прямая невозможность установить подобную преемственность у ведущих деятелей декабризма (типа Рылеева). Снять, хотя бы частично, противоречивость, порожденную неполным знанием идейной структуры изучаемого явления, и вскрыть подлинные идеологические конфликты, возникавшие в ходе формирования революционной идеологии в России на пересечении этических, политических и тактико-организационных проблем конца XVIII — начала XIX вв., — задача настоящей работы.

\* \* \*

Исследователи русской революционной идеологии давно уже обратили внимание на тот факт, что программные установки дворянских революционеров-декабристов были значительно уже, чем идеи, выдвинутые их хронологическими предшественниками — деятелями Просвещения XVIII века типа Радищева. Не менее известен и тот факт, что, будучи хорошо осведомлены в теориях европейского эгалитаризма XVIII века (Руссо, названный Пушкиным в черновиках «Евгения Онегина» «апостол наших прав», был автором, чтение которого сопровождало многих из декабристов на протяжении всей жизни, начиная с детства) и коммунистического утопизма Мабли<sup>1</sup> и Сильвены де Маршала<sup>2</sup>, декабристы прошли мимо этих идейных веяний в своих программных документах.

Можно ли на основании этого делать вывод, что история русской революционной общественной мысли между Радищевым и декабристами пережила период попятного движения? Вопрос значительно более сложен и не может быть решен простым сопоставлением пунктов программных документов.

<sup>1</sup> См. Ю. Лотман, Радищев и Мабли; сб. «XVIII век», т. 3, М.—Л., Изд. АН СССР, 1958.

<sup>2</sup> См. Ю. Г. Оксман, Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX в., сб.: «Очерки из истории движения декабристов», Госполитиздат, 1954.

Специфика просветительской идеологии состояла, в частности, в убеждении, что справедливое общественное устройство естественно. Возможность его заложена в самой природе человека. Социолог-просветитель затруднялся не поисками путей, которые могут привести человека в царство свободы, — его повергала в недоумение необъяснимая тайна власти предрассудков над человеком. Само существование рабства, вопреки интересам большинства народа, представлялось ему загадкой, плодом недоразумения, ошибки, результатом доверчивой глупости одних и наглого обмана со стороны других. Поэтому освобождение — возврат к нормальному состоянию, переход из царства необъяснимой глупости, насилующей природу человека, в царство порядков, вытекающих из самих основ человеческого существа. Следовательно, переход будет мгновенным. Толчком к нему послужит слово, открывающее людям глаза на их собственные интересы, на неразумность существующего:

Но мститель, трепещи, грядет;  
Он молвит, вольность прорекая.<sup>3</sup>

Слово инициатора легко и мгновенно усваивается народом и превращается в дело:

И се молва от край до края,  
Глася свободу, протечет.  
Возникнет рать повсюду бранна...<sup>4</sup>

Такая постановка вопроса допускала кровавую революцию, но исключала интерес к проблемам тактики, вопросам конспирации и заговора. Сама идея тайного общества — единения людей, противопоставленных правительству всем направлением своей деятельности и, одновременно, отделенных от народа уровнем политической сознательности, действующих ради блага народа, но выделенных из народа как его особая, конспиративно организованная часть — не могла еще возникнуть в сознании просветителя XVIII в. Более того, просветителю была присуща идея непосредственной связи вождя и народа. «Поверженный в среду народных толщ, великий муж действует на оную».<sup>5</sup> В другой работе<sup>6</sup> мы уже старались показать, что идея конспиративной организации в XVIII в. зародилась не в литературе Просвещения (здесь культивировались мысли о прямом или опосредованном народоправстве, о вечевой или парламентской республике). Идея тайного общества, объединения избранных, ведущих людей к счастью, в особую конспиративную организацию родилась в среде тех, кто считал, что народ неразумен, что переход к свободе требует длительной подготовки, пропаганды, просвещения. Не случайно наиболее четко организационные проблемы освободительного движения, идею тайного общества в XVIII веке разработал не Руссо, не Мабли, а Адам Вейсгаупт, испытывавший воздействие масонов и оказавший такое сильное влияние на русских декабристов.

Исследователи спорят, имел ли Радищев вокруг себя помогавших ему единомышленников или действовал единолично. Вопрос этот имеет относительно второстепенное значение. Ясно, что вступление Радищева в «Общество друзей словесных наук», участие в «Беседующем гражданине» намекают на стремление Радищева сплотить вокруг себя группу единомышленников. Но ясно и другое: в сочинениях Радищева мы не найдем никаких следов теории тайного общества. Из этого следует, что, хотя движение от взятой изолированно программы Радищева к декабристам может произвести впе-

<sup>3</sup> А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. 1, М.—Л., изд. АН СССР, 1938, стр. 4—5.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же, стр. 388.

<sup>6</sup> См.: Ю. Лотман, М. А. Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель, Уч. записки ТГУ, вып. 78, Труды по русской и славянской филологии, II, Тарту, 1959.

чтение регресса, на самом деле перед нами два этапа *прогрессивного* развития русской революционной мысли.

Однако то, что декабристы, сравнительно с Радищевым, уделяли значительно больше внимания проблемам тактики политической борьбы, еще не означает, что сам Радищев прошел мимо этих вопросов. Более того: если сопоставлять Радищева с мыслителями предреволюционной эпохи и, в частности, с наиболее близким ему теоретиком — Руссо, то бросится в глаза, что размышления над вопросами революционной тактики оставили весьма глубокий след в его системе.

Для того, чтобы понять это, необходимо увидеть связь вопросов тактики политической борьбы с другими сферами идеологии.

Формы тактики подсказываются на каждом этапе политического движения общими принципами мировоззрения. В этом смысле можно было бы определить внутреннюю логику в смене тактических средств от Союза Спасения к Союзу Благоденствия и поздним декабристским обществам<sup>7</sup>. По отношению к общим проблемам философии, политического и социального мышления тактические формы общественной и политической борьбы принадлежат к кругу подчиненных явлений. Определенные теории требуют соответствующих им тактических средств. Отношение между ними напоминает отношение категорий цели и средства.

Но необходимо иметь в виду и другое: эти подчиненные по отношению к общетеоретическим вопросам стороны развития революционной идеологии сами оказывают мощное определяющее воздействие на этические воззрения своего времени. А поскольку в художественной литературе общественные идеалы чаще всего отражаются именно своим этическим аспектом, изучение места тактических форм революционного движения в системе идей данной эпохи представляет для историка литературы, может быть, больший интерес, чем это принято думать.

История тактики политической борьбы существенна и в другой связи: в силу своей непосредственной соотнесенности с политической моралью, с одной стороны, и политической практикой, с другой, она гораздо более открыто и обнажает подлинные общественные цели тех или иных исторических движений, а также подлинные личные цели тех или иных политических деятелей, чем общетеоретические построения, которые и сознательно, и бессознательно мистифицируют историческую практику борющихся классов.

### 1. Спор о бессмертии души и вопросы революционной тактики в творчестве Радищева.

Среди спорных вопросов изучения Радищева до сих пор особые затруднения исследователей вызывает отношение его к проблеме бессмертия души. Это тем более заметно, что в послевоенные годы философские взгляды Радищева подвергались неоднократному рассмотрению в трудах советских исследователей. К сожалению, вопрос этот далеко не всегда рассматривался с необходимой квалифицированностью и даже с должной добросовестностью. Авторы ряда работ, исходя из благого намерения показать Радищева как последовательного материалиста, встали на путь рассмотрения лишь той части фактов, которая поддавалась подобной интерпретации легко и безболезненно. В работах М. А. Горбунова, Г. С. Васецкого, М. Т. Иовчука, И. Я. Щипапова, В. С. Покровского, Г. А. Казакевич, Ю. Я. Когана утверждается правильный тезис о материалистической природе философии Радищева.

<sup>7</sup> Следует оговориться, что невозможно выводить революционную тактику только из общетеоретических принципов: тесно соприкасаясь с практической деятельностью, тактика зависит и от конкретных обстоятельств исторической эпохи, условий борьбы и — в эпохи революций и гражданских войн — от техники, уровня вооружения и военного искусства.

Однако, переходя к конкретным фактам — высказываниям Радищева по вопросам бессмертия души, эти авторы, как правило, вообще игнорируют содержание двух последних глав трактата «О человеке», ограничиваясь беглыми замечаниями о неоригинальности высказываемых здесь идей или вообще обхода их молчанием. В разделе «Философские взгляды Радищева» книги В. С. Покровского<sup>8</sup> мы вообще не находим упоминания этой проблемы. Ю. Я. Коган пишет, что «экскурс Радищева в «область догадок» о бессмертии души отнюдь ничего не меняет в общем материалистическом и атеистическом характере его философского труда»<sup>9</sup>. Сделав это заявление, автор в дальнейшем рассмотрение вопроса не входит. Старательно обходит этот вопрос и М. А. Горбунов. Вместо рассмотрения реальных фактов он строит силлогизм, призванный оправдать отказ от изучения фактического материала: если бы Радищев утверждал в первых частях трактата смертность души, а в последующих — бессмертие, он был бы эклектиком. Но Радищев не может быть эклектиком, следовательно, в последних главах трактата не может утверждаться идея бессмертия. Ни одно из этих положений не доказывается. «Мне кажутся неправильными, — заявляет М. А. Горбунов, — встречающиеся утверждения, что Радищев выступает как материалист только в первых двух книгах трактата, а в остальных двух он якобы скатывается к идеализму. Такая точка зрения является ошибочной не только потому, что она незаслуженно принижает Радищева как мыслителя, превращая его в эклектика, способного отстаивать в одно и то же время по одному и тому же вопросу диаметрально противоположные взгляды, но и потому, что она противоречит смыслу и духу всего этого произведения».<sup>10</sup> Вот и все, что считает необходимым сказать исследователь. Естественно, что, руководствуясь такой методикой научной работы, нельзя придти к плодотворным выводам. В работах такого рода анализ текстуально засвидетельствованных особенностей мировоззрения Радищева заменяется умолчаниями или туманными ссылками на «непоследовательность» или «деизм» в философских воззрениях Радищева. В чем состоит эта «непоследовательность» и как проявлялся деизм Радищева, авторы предпочитают не уточнять. Однако для ряда лиц, писавших о философских воззрениях Радищева, и это показалось недостаточным «выпрямлением» Радищева. Они выступили с требованием причислить Радищева безоговорочно к философам-атеистам, а третью и четвертую части трактата объявили написанными в целях цензурной маскировки. Так, В. И. Шинкарук утверждает, что идея бессмертия души высказана «була, безсумнівно, <...> з цензурних міркувань», что это позволило Радищеву «в умовах жорстокої ідеологічної реакції підцензурно виступити з пропагандою матеріалізму і критикою релігії та ідеалізму».<sup>11</sup> На той же позиции стоит и Д. Остринин<sup>12</sup>, равно как и ряд других авторов, которых не смущает тот факт, что трактат Радищева не предназначался им для печати и был опубликован после смерти автора.

Иную попытку объяснить противоречия между двумя половинами трактата Радищева предпринял в 1949 году Г. П. Макогоненко, который, следуя

<sup>8</sup> В. С. Покровский, Общественно-политические и правовые взгляды А. Н. Радищева, Изд. Киевского гос. университета им. Т. Г. Шевченко, 1952, стр. 103—109.

<sup>9</sup> Ю. Я. Коган, Свободомыслие А. Н. Радищева, «Изв. АН СССР», серия истории и философии, т. VI, 1949, № 5, стр. 414.

<sup>10</sup> М. А. Горбунов, Философские и общественно-политические взгляды А. Н. Радищева, Госполитиздат, 1949, стр. 131. То же утверждение в статье М. А. Горбунова, опубликованной в «Уч. записках Академии общественных наук», вып. V, М., 1949, стр. 52.

<sup>11</sup> В. И. Шинкарук, Про деякі спірні питання у виствітленні філософського змісту праці О. М. Радіщева «Про людину, її смертність і безсмертя», «Наукові записки, Київський держ. унів. ім. Т. Г. Шевченка», том XVI, вип. IV, Збірник філософського фак., № 3, 1957, стр. 150 и 153.

<sup>12</sup> См. Д. Остринин, Світогляд О. М. Радіщева, Київ, 1953, стр. 81.

методике, согласно которой движение образа повествователя призвано «снять» противоречия в позиции автора, писал: «Сочинение «О человеке» не сухой, академический трактат, — оно написано в общем эстетическом кодексе Радищева как своеобразное художественное произведение. В «Путешествии из Петербурга в Москву» повествование ведется от имени героя, «уязвленного страданиями человечества». Сочинение «О человеке» написано как исповедь личности, обладающей «чувствительным сердцем». Герой этого сочинения не тождественен Радищеву, хотя и включает в себя черты автобиографические»<sup>13</sup>. Однако это объяснение не встретило сочувствия и поддержки у историков философии, и сам автор, видимо, почувствовал его недостаточную обоснованность. По крайней мере, во втором издании одноименника Радищева под редакцией Г. П. Макогоненко это объяснение уже не фигурирует. Автор отмечает, что трактат Радищева не оставляет «никаких лазеек для утверждения возможного доказательства бессмертия души»<sup>14</sup>, высказывая одновременно интересную мысль о стремлении писателя использовать естественную «жажду вечности» в революционных целях. В своей монографии «Радищев и его время» Г. П. Макогоненко не углубляется в этот вопрос, отсылая читателей к работам М. А. Горбунова и И. Я. Щипанова<sup>15</sup>.

В этой связи уместно было бы напомнить старую, но очень вдумчиво написанную работу И. К. Луппола «Трагедия русского материализма XVIII в. (Философские взгляды А. Н. Радищева)». Автор был первым советским историком философии, который подверг критике трактовку философской позиции Радищева в трудах Е. Боброва, Г. Шпета и И. И. Лапшина. И. К. Луппол исходит из того, что основа мировоззрения Радищева — материализм. Однако он видит и непоследовательность Радищева, отступление его от последовательно-материалистической доктрины, колебания в вопросе о бессмертии души и старается объяснить это явление. Причину философской непоследовательности Радищева И. К. Луппол видит в неразвитости общественных отношений России и личной трагедии Радищева. «Последовательным, законченным материалистом он не был. Но он и не мог быть таковым. Для этого нужна была иная обстановка, иная расстановка классов и иная личная судьба»<sup>16</sup>. На сходной позиции стоит и автор интересных современных работ по философским воззрениям Радищева И. М. Рогов. Он делает очень содержательное наблюдение о том, что «корни его (Радищева — Ю. Л.) колебаний находятся в несовершенстве гносеологии материализма XVIII века, в метафизическом образе мышления». Однако далее он, приближаясь к трактовке И. К. Луппола, пишет: «Непоследовательность Радищева-материалиста является также отражением отсталости русской действительности и результатом трагически сложившихся обстоятельств его жизни»<sup>17</sup>. Развивая мысль И. М. Рогова, А. Галактионов и П. Никандров считают, что «дело состояло» «в метафизической ограниченности» мировоззрения Радищева (История русской философии, М. 1961, стр. 126). Возникает вопрос: был ли Радищев большим метафизиком, чем, например, обходившийся без бессмертия

<sup>13</sup> Г. П. Макогоненко, Александр Радищев, вст. статья в кн.: А. Н. Радищев, Избр. соч., М.—Л., 1949, стр. XLIX.

<sup>14</sup> Г. П. Макогоненко, Жизнь и творчество А. Н. Радищева, в кн. А. Н. Радищев, Избр. соч., М., 1952, стр. XL.

<sup>15</sup> Г. П. Макогоненко, Радищев и его время, М., Гослитиздат, 1956, стр. 510.

<sup>16</sup> И. К. Луппол, Историко-философские этюды, Соцэкгиз, М.—Л., 1935, стр. 218.

<sup>17</sup> И. М. Рогов, Трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии» и философская позиция А. Н. Радищева. Автореферат на соискание ученой степени кандидата философских наук, Л., 1959, стр. 12. См. также его статью в «Вестнике ЛГУ», № 17, серия экономики, философии и права, вып. 3, 1958.

души Ламетри? Решить, следует ли двойственность радищевского ответа рассматривать как проявление отсталости или же здесь, напротив, намечалось рождение нового качества, можно, лишь сопоставив систему Радищева с движением всей европейской революционной мысли на рубеже XVIII и XIX веков.

Радищеву, конечно, были известны широко развернутые в сочинениях французских и английских философов-просветителей аргументы в защиту тезиса о единой материальной сущности человека. Он принадлежал, по его собственным словам, к «Обществу юношей», которое «в его (Гельвеция — Ю. Л.) сочинении мыслить училось»<sup>18</sup>. Система гельвецианского материализма произвела на него огромное впечатление, оставила неизгладимый след в его философских убеждениях. Показательный пример: в одну из самых трагических минут своей жизни, находясь на пути в Сибирь, будучи болен и мучась мыслями о судьбе своих детей, он не может удержаться, чтобы не проанализировать в письме А. Р. Воронцову свое душевное состояние «по системе Гельвецевой»: «Я по себе теперь вижу, что разум идет чувствованиям в след, или ничто иное есть, как они; по системе Гельвецевой, вертится он около одной мысли, и все мое умствование, вся философия исчезает, когда вспоминаю о моих детях. Призрите их, милостивый государь...» (III, 346).

Чисто гельвецианское убеждение в том, что мысль невозможна без чувства, а чувство — без органов чувств, заставило Радищева начертать на могиле первой жены стихи, показавшиеся церковникам кощунственными:

О! если то не ложно,  
Что мы по смерти будем жить;  
Коль будем жить, то чувствовать нам должно,  
Коль будем чувствовать, нельзя и не любить... (I, 123).

Подобные взгляды исключали веру в личное бессмертие, в существование души после гибели тела. Но и этические воззрения французских просветителей, того же Гельвеция, с которыми Радищев был единомышлен, не требовали обращения к идее бессмертия души. Мысль философов-материалистов XVIII века о том, что личная нравственность должна основываться не на страхе загробной кары и не на вере в посмертную награду, а на выгоде добродетели для каждого отдельного человека, на совпадении личного и общественного интереса, была широко усвоена русскими гельвецианцами. «Я желал бы, — писал «Санкт-Петербургский Журнал» Пнина, — чтоб без рая и ада были добрые люди». (разрядка моя — Ю. Л.). Я презираю сей язык: «если б я не был христианином, ежели б я не боялся бога и быть осужденным, то сделал бы вот то-то». О презрительный и бедный человек<...> ты не зол, потому что не смеешь быть таким и боишься за то себе наказания <...> Я хочу, чтоб ты был <...> добрым человеком потому, что так велит природа (разрядка моя. — Ю. Л.), разум и бог, что порядок, общее благоустройство света, которого ты часть составляешь, того от тебя требуют».<sup>19</sup> Еще более определенно о земном происхождении морали можно было прочесть в «Московском собеседнике»: «Вымышлять такое существо, которого должно бояться, трепетать, благоговеть, и не понимать, что человек есть свободное существо, то ли значит мудрость? Мы владыки в сем мире; для чего же не жить нам властительно? Мы располагаем всеми вещами — а сами собой разве располагать не смеем? Мудрость философов, признающих над собою Существо — о! сущее невежество. Их сво-

<sup>18</sup> А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. I—III, М.—Л., изд. АН СССР, 1938—1952, т. I, стр. 177. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте, том — римской, стр. — арабской цифрой.

<sup>19</sup> «Шаронови мнения», С-Петербургский журнал, издаваемый И. Пниным, ч. II, стр. 244—245.

бода — рабство, их жизнь — смерть — или мучение несноснейшее смерти»<sup>20</sup>

Взгляды эти несомненно близки к позиции Радищева.

Отрицание бессмертия души закономерно вытекало из всей философской системы Радищева, важнейшими положениями которой были утверждение первичности материи и признание духовной деятельности функцией живого организма.

«Различие духа и вещественности произошло, может быть, от того, что мысль свойственна одной голове, а не ноге или руке. Различие такое есть самоизвольно (разрядка моя. — Ю. Л.); ибо, не ведая, ни что есть дух, ни что вещественность, должныствовали ль бы их поставлять различными существами, да и столь различными, что если бы сложение человека не убеждало очевидно, что качества, приписанные духу и вещественности, в нем находятся совокупны, то бы сказали, что дух не может там быть, где тело, и наоборот. Но как сопряжение такое очевидно, то вместо того, чтобы сказать: существо человеческое имеет следующие качества, напр., мыслить, перемещать место, чувствовать, пророждать и проч., вместо того сказали: человек состоит из двух существ, и каждому из них назначена своя область для действия; вместо того, чтобы сказать, что то, из чего сложен мир (а кто исчислил все существа, оный составляющие?), имеет те и те свойства, сказали, что в нем находятся существа разнородные. О, умствователи! Неужели не видите, что вы, малейшую токмо частицу разнородности их ощутили, но что оне все в един гнездятся состав». (II, 73—74).

Материальное единство человеческой личности составляло краеугольный камень философских воззрений Радищева: «Кусок хлеба, тобой поглощенный, превратится в орган твоея мысли», — писал он. «Устремляй мысль свою; воспаряй воображение; ты мыслишь органом телесным, как можешь представить себе что-либо опричь телесности? Обнажи умствование твое, от слов и звуков, телесность явится перед тобою всецела; ибо ты она, все прочее догадка» (II, 42—43).

Если материалистическое понимание основного вопроса философии исключало для Радищева возможность признания личного бессмертия, то материалистическая теория познания делала для него совершенно излишним представление о бессмертии души как «нравственном постулате». Он видел залог общественной морали не в загробном воздаянии за «самопожертвование», а в выгодной для каждого отдельного человека перестройке общества на разумных основаниях. Так, например, в главе «Спасская полость» Радищев сопровождал рассказ о жестоком угнетении человека машиной самодержавно-бюрократического государства многозначительным восклицанием: «О богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров <...> Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую...» (I, 248).

Таким образом, мы видим, что идея личного бессмертия не вытекала ни из естественно-научных, ни из этических воззрений Радищева. Наоборот, и те и другие подводили его к материалистическому пониманию природы человеческой личности.

Однако, материалистически разрешая основной вопрос философии, Радищев, — и это закономерно для метафизического материализма, — в поисках источника движения делал уступку деизму:

«Нужно, — писал он, — чтобы бездейственная вещественность для получения движения имела начальное ударение» (II, 41).

«Все вещи <...> суть или сами по себе, или от других. Одни суть причины, другие действия. Но восходя от одной причины к другой, постепенно дойдем до крайния или вышшия всех, которую именуем богом» (I, 402).

<sup>20</sup> «Московский собеседник или Повествователи», 1806 г., ч. II, стр. 59—60.

Это была «деистическая форма материализма»<sup>21</sup>, которая не мешала Радищеву не только быть резким и открытым противником клерикализма, но и проявлять тяготение к «чистому атеизму», по выражению А. С. Пушкина. Он ясно видел связь свободомыслия религиозного и политического: «Кто в часы безумия нещадит бога, — писал он, — тот в часы памяти и рассудка не пощадит незаконной власти. Не боясь громов всемогущего, смеется виселице. Для того то вольность мыслей правительствам страшна. До внутренности потрясенный вольнодумец, прострет дерзкую, но мощную и незыбкую руку к истукану власти, сорвет ея личину и покров, и обнажит ея состав. Всяк узрит бранные его ноги...» (I, 333).

«Бог без бессмертия души, — писал В. И. Ленин в конспекте книги Л. Фейербаха «Лекции о сущности религии», — есть только по имени бог» и сочувственно выписывал дальше слова Фейербаха: «Подобным богом является <...> бог некоторых рационалистических естествоиспытателей, который есть не что иное, как олицетворенная природа, или естественная необходимость...»<sup>22</sup>

Эта характеристика как нельзя более подходит к Радищеву.

Идея бессмертия оказывалась излишней и в этических построениях Радищева. В справедливо устроенном обществе общий и частный интересы совпадают, общественное служение — не жертва, а естественное побуждение человека. «Доколе единомыслие в обществе царствовало, закон ни что иное был, как, собственное каждого к пользе общей побуждение, ни что иное, как природное почти стремление исполнять каждому свое желание; ибо каждый в особенности своей не иного чего желал, как чего желали все, или сказать точнее, никто не желал ничего в противность желаний всех.»<sup>23</sup> Следовательно, общественная деятельность человека связана с «эгоистическими» интересами его самого, и поэтому необходимость всякого рода императивов, «нравственных постулатов» в виде идеи личного бессмертия, загробного воздаяния решительно отпадает.

Надо, однако, выяснить причину настойчивого обращения Радищева в целом ряде его произведений к настолько чуждой ему философской идее. Для этого необходимо произвести некоторые наблюдения над особенностями постановки Радищевым вопроса о бессмертии души.

Для того, чтобы решить эту проблему, нам придется выйти за пределы собственно «философских» вопросов и обратиться к кругу этических проблем, возникавших перед Радищевым в связи с его представлением о ходе будущей революции и ее возможных тактических формах.

Радищев глубоко воспринял идеи левого, демократического крыла французского Просвещения о народном суверенитете, исходя из представления о природной красоте, склонности к добру и общежитию отдельного человека (он «стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому», I, 215) и рассматривая, в духе метафизических воззрений XVIII века, народ как сумму отдельных личностей, обладающую всеми свойствами отдельной единицы<sup>24</sup>, только в сильно увеличенном виде. Народ не представлялся мыслителю этого лагеря силой иррациональной и внушающей опасения. Наоборот, — он был сувереном, носителем высшей справедливости и основной власти в обществе.

<sup>21</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. II, стр. 299. Ср.: «Деизм, по крайней мере для материалиста, — есть не больше как удобная и мягкая форма избавления от религии» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. III, стр. 158).

<sup>22</sup> В. И. Ленин, Философские тетради, Государственное издательство политической литературы, 1947, стр. 53.

<sup>23</sup> Архив ЛОИИ. Собрание А. Р. Воронцова, перепл. № 398, л. 53, цитата приведена в статье Э. С. Виленской «Радищев — первый идеолог крестьянской революции», «Исторические записки», т. 34, стр. 308.

<sup>24</sup> Именно этот способ мышления порождал возможность «робинзонад», изучения на примере одного человека судеб народа и человечества.



Всеобщее голосование всего народа, собранного на площади, — не только изъятие общей воли, но и высшая истина. Принимая идею общественного договора, Радищев вкладывал в нее этическое содержание, более близкое к воззрениям Гельвеция, чем к Руссо. Руссо не считал человека рожденным для общежития, а общественное состояние — естественным. Собственность и государство появились, по Руссо, в результате договорного акта, а не были заложены в природе человека. «Благодаря общественному договору человек теряет свою естественную свободу и неограниченное право на все, что его прельщает и чем он может овладеть; выигрывает же он гражданскую свободу и право собственности на все, чем он владеет»<sup>25</sup>. Поэтому, по Руссо, между человеком природы и гражданином лежит целая пропасть. Радищев, находившийся под очень сильным влиянием идей и терминологии Руссо, иногда высказывал близкие мысли. Но в целом его система была иной: человек рожден для общежития, вступая в общество, он реализует не только общие отвлеченные, но и все свои конкретные частные интересы, в общество его ведет эгоистическая выгода (напомним, что Руссо рассматривал эгоизм как антиобщественную силу). Поэтому, как будет многократно повторять Радищев, гражданин — это человек. «Закон положительный не истребляет, не долженствует истреблять и неможен всегда истребить закона естественного» (III, 10). Собственность, жизнь, благо, — естественные свойства человека, защита их — предмет закона. Поэтому у Радищева нет необходимости в столь значительном для Руссо различении «общей воли» и «воли всех». «Часто существует, — писал Руссо, — большое различие между волей всех и общей волей; последняя имеет в виду только интересы общие; первая, составляющая лишь сумму воли отдельных людей, — интересы частные; но отнимите от суммы этих самых воли крайние в одну и другую сторону, взаимно друг друга уничтожающие, и остаток даст общую волю»<sup>26</sup>.

Для Радищева общие и частные интересы в идеальном первоначальном обществе безусловно совпадали. Поэтому его понятие о гражданском целом подразумевало полную реализацию эгоистически выгодного для отдельного человека. Разумеется лишь, что в разумном, «правильном», неискаженном насилом и обманом обществе эгоизм будет разумным и человек легко будет отделять свои подлинные выгоды от мнимых, антиобщественных. Поэтому Радищев не допускает (снова в стилие от Руссо) никакого «спасительного насилия» над народом и составной его частью — человеком.

Однако у Радищева была существенная линия соприкосновения с Руссо<sup>27</sup> — вера в народ, отсутствие страха перед демократией. И, если человеческому облику Радищева не были свойственны плебейские ноты, окрашивающие сочинения Руссо, то философски он был чужд боязни народа и народных движений. Радищев неоднократно повторял слова Руссо о том, что «тишина насилия» губительнее, чем «смутнение» народа, защищающего свои права.

Вера в разумность народа заставляла Радищева без боязни глядеть на приближающуюся народную революцию. Однако необходимо выяснить, что понимал Радищев под народной революцией и как он ее себе представлял.

Революция для Радищева прежде всего — массовое действие. Народ сам и только сам может решать свою судьбу. Не группа заговорщиков, действующих во имя народа, но без его участия и ведома, определяет судьбу общества, а «народ в соборном своем лице» (III, 10).

Однако Радищев не может не видеть, что реальный, исторический народ и народ «философский» ведут себя неодинаково. «Философский» народ должен быть свободен и защищать свою свободу — реальный народ находится в рабстве. Но состояние рабства не только противостоит ему — оно невыгодно народу, а люди движимы интересами, «всякое действие его (человека. —

<sup>25</sup> Ж.-Ж. Руссо, Об общественном договоре, Соцэкгиз, 1938, стр. 17.

<sup>26</sup> Там же, стр. 24.

<sup>27</sup> См.: T. Witkowski, Radišev und Rousseau, «Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts», Berlin, Akademie-Verlag, 1963.

Ю. Л.) во благе и во зле есть мздоимно» (III, 30). Следовательно, восстание будет всеобщим:

Возникнет рать повсюду бранна,  
Надежда всех вооружит (I, 5).

В главе «Зайцево» крестьянское восстание — миниатюрная картина народной революции — характеризуется именно всеобщностью: «Сие было сигналом к общему выступлению».

Перед Радищевым возник вопрос о начале превращения народа-раба в восставший народ, в суверена. Этот момент занимал его и в оде «Вольность», и в «Житии Федора Васильевича Ушакова», и в «Путешествии из Петербурга в Москву».

Для подобного превращения, прежде всего, необходимо, по Радищеву, наличие передовой теории. Он различает возможность народного движения, вдохновленного истинными целями, и «прельщения»: «Когда в умствованиях, когда в суждениях о вещах нравственных и духовных начинается ферментация<sup>28</sup> и восстает муж твердый и предприимчивый, на истину или на прельщение, тогда последует премена царств, тогда премена в исповеданиях» (I, 261). К ложно направленным народным движениям Радищев относил, видимо, и восстание Пугачева («прельщенные грубым самозванцем текут ему во след», I, 320; ср.: «Магомет мог прельстить скитающихся Аравитян своими бреднями», I, 329). Таким образом, необходимо *слово истины*.

Но должно обратить внимание и на другую сторону радищевского представления о революции.

Система метафизического материализма испытывала особые трудности в объяснении момента начала движения. Радищев сравнивал с этим начало движения народа. «Первый мах в творении всесилен был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как я понимаю действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом» (I, 392)<sup>29</sup>. Радищев не случайно закончил *этим* словами свое «Путешествие». Они перекликаются со стихами из «Творения мира», где именно слово выступает как «первый мах творения»:

Бог: Но что  
Начнем?  
Речем —  
Возлюбленное слово,  
О, первенец меня (I, 19).

Подобно тому, как божественное слово привело в движение материю, которая в дальнейшем уже направляется своими законами, слово «мужа тверда и предприимчива» выводит народ из состояния рабского повиновения. В дальнейшем народ движется по законам общества, осуществляя свой суверенитет. Таким образом, именно в момент начала революции Радищев выделяет роль инициатора, вождя, слово которого пробуждает народ:

Одно слово, и дух прежний  
Возродился в сердце Римлян,  
Рим свободен, побеждены  
Галлы; зри, что может слово,  
Но се *слово мужа тверда* (курс. мой. — Ю. Л.; I, 90)

<sup>28</sup> Радищев пользуется здесь термином Руссо, означающим в сочинениях последнего внутренний кризис, еще не перешедший в открытый взрыв. Ср. в «Общественном договоре», кн. II, гл. X: «On résisterait mieux dan un desordre absolu que dans un moment de fermentation» (Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, p. 70).

<sup>29</sup> Ср.: «Нужно, чтобы бездейственная вещественность для получения движения имела начальное ударение» (II, 41).

В основе воздействия инициатора на народ лежит, по мнению Радищева, подражающая и сочувствующая природа человека. «Малейшая искра, падшая на горячее вещество, произведет пожар великий; сила электрическая протекает везде непрерывно и мгновенно, где найдет только вожакого. Таково же есть свойство разума человеческого. Едва один возмоз, осмелился, дерзнул изъяться из толпы, как вся окрестность согревается его огнем, и, яко железные пылинки, летят прилепиться к мощному магниту» (II, 129). И в другом месте: «Подражательность столь свойственна человеку, что единое мгновение оную приводит в действительность. На сем свойстве человека основывали многие управление толпы многочисленныя» (II, 56). Отмеченная черта позиции Радищева существенна: она отделяет его — при всем, весьма высоком значении, которое отводит он роли героической личности в определении хода истории, — от романтиков декабристской эпохи. Великий человек здесь не противопоставлен толпе, между ним и народом — органическая связь: «поверженный в среду народные толщи, великий муж действует на оную» (I, 388), с его выступления начинается народная революция:

Но мститель, трепещи, грядет;  
Он молвит, вольность прорекая,  
И се молва от край до края,  
Глася свободу, потечет (I, 4—5).

Однако инициатор должен быть «муж твердый», герой. Только слово «мужа тверда» приводит в движение народ. Это очень существенно для понимания образов Федора Ушакова («учителя моего по крайней мере в твердости», как пишет Радищев, I, 155), крестичкого дворянина и уяснения смысла жизненного поведения самого Радищева, а, может быть, и загадки его самоубийства. «Твердый муж» действует словом истины, но в равной степени и личным примером, он должен *подкрепить слово подвигом*. «Пример сильнее наставлений»<sup>30</sup>, — писал Пнин в стихотворении «Слава», имея в виду агитационное значение жизненного подвига Радищева.

Но именно здесь и начинаются любопытные метаморфозы этики Радищева. Герой, вызывающий народ к действию, должен действовать словом и примером, он должен быть «твердым», ибо *гибель его необходима* для того, чтобы придать его словам силу. Радищев, конечно, знал размышления Маблю о значении самоубийства Лукреции для свободы Рима (вероятно, и Пушкин, который, раздумывая над поэмой Шекспира, написал «Графа Нулина», также помнил этот знаменитый в XVIII веке пример). Таким образом, от героя-инициатора требуется готовность к гибели. Но именно здесь кончалось действие той гелленической этики «разумного эгоизма», которую Радищев горячо исповедовал. Считая, что человек в добре «мздоимен», как и во зле, и совершает добро ради своей пользы, Радищев не мог не остановиться перед примерами самоотвержения. Его внимание привлекало «великодушное, отрицание самого себя» (II, 48). Конечно, жертвы, которые передовой человек приносит в освободительной борьбе, теоретически можно было оправдать соображениями «разумного эгоизма», стремления к личному счастью:

Зрелище бедствий народных  
Невыносимо, мой друг,  
Счастье умов благородных —  
Видеть довольство вокруг.<sup>31</sup>

Но готовность «мужа тверда» к смерти за народное дело решительно не могла быть объяснена соображениями личного «мздоимства». Таким образом, необ-

<sup>30</sup> Поэты-радищевцы, Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, Советский писатель, 1935, стр. 178.

<sup>31</sup> Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, М., ОГИЗ, 1949, т. III, стр. 14.

ходимость выйти за пределы гельвецианской этики (а иной этики материализм XVIII в. не мог предложить) объяснялась не «отсталостью» русской жизни, не тем, что Радищев «не дошел» до Гельвеция, а тем, что дальнейшее развитие русской и общеевропейской освободительной мысли подошло к вопросам, для которых гельвецианская этика не предлагала удовлетворительных ответов. Показательно, что при переходе от эпохи Дидро и Гельвеция к эпохе Робеспьера и Сен-Жюста мы менее всего можем наблюдать рост материалистических настроений. Как известно, поклонники Руссо, якобинцы, очень подозрительно относились к наследию философов-материалистов, а атеизм приравнивали к аристократизму и контрреволюции. И, рисуя образ героя — народного вождя, Ф. В. Ушакова, Радищев совершенно неожиданно прибегает к стилистическим средствам жития — в арсенале средневековой агиографии ищет красок для изображения своего друга, с которым он вместе конспектировал Гельвеция!

Восприятие Ушакова как вождя-революционера давало, по мнению автора, основание причислить его, как впоследствии и самого себя (в отрывке «Положив непроборимую преграду») к «лику праведных»: «По истине достоин тот к оному (лику праведных. — Ю. Л.) причтен быть, кто забывая даже свое благосостояние, старается ежечасно облегчать бедствия себе подобных», — писал Радищев (I, 400).

Кроме облечения Радищевым собственной автобиографии в форму жития Филарета Милостивого, можно было бы указать на еще один факт, сообщенный П. А. Радищевым в биографии отца: «Находясь в крепости за свою книгу, — Радищев велел написать себе образ одного святого, вверженного в темницу за то, что слишком смело говорил правду, с надписью: «Блаженны изгнаны правды ради». Форма жития была, таким образом, для Радищева оценкой характера деятельности его героя.

Говоря о смерти главы студенческой «революции» Ф. В. Ушакова, Радищев писал: «Кто провидит в темноту будущего и уразумеет, *что бы он мог быть* (курсив мой. — Ю. Л.) в обществе, тот чрез многие веки потужит о нем» (I, 186). «Но нужны обстоятельства, нужно их поборствие, а без того Иоган Гус издыхает во пламени, Галилей влечется в темницу, друг ваш в Илимск заточается» (II, 129), — добавляет он позже.

Трактат «О человеке» показывает, что Радищев разделял убеждения философов-материалистов. Именно здесь с блестящей последовательностью Радищев развернул систему аргументации, опровергающей идею личного бессмертия. Интересно, что в «Дневнике одной недели», произведении, по убедительному предположению ряда исследователей, написанном приблизительно в то же время, что и трактат, автор прямо высказал материалистическое понимание этого вопроса как единственно возможное. Бессмертие ждет человека в памяти потомков: «Я живу не одною жизнью, живу в душе друзей моих, живу стократно» (I, 140). Подобный взгляд был высказан Радищевым еще в «Путешествии». Говоря о славе Ломоносова, он добавляет: «Доколе слово Российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь<...> не се ли вечность?» (I, 380). Такая трактовка вопроса опиралась на традиции материалистической философии. Еще В. К. Тредиаковский в «Сокращении философии канцлера Франциска Бакона» писал: «Есть два рода бессмертия, бессмертие по крови или по рождению, сообщаемое размножением, сие есть общее скотам с нами; но бессмертие по славе, принадлежит только человеку, а любит он препровождать быть вечно знаменитыми услугами и добрыми действиями».<sup>32</sup>

И все же Радищев упорно не удовлетворялся теми решениями вопроса о бессмертии, которые ему были известны, близки, составляли его собственные убеждения. И о том, что здесь дело было не в трагических обстоятельствах личной судьбы писателя, свидетельствует факт, который недостаточно

<sup>32</sup> В. К. Тредиаковский, Сокращение философии канцлера Франциска Бакона, 1760, стр. 189.

подчеркивался историками философии. Трактат «О человеке» не представляет собой чего-либо неожиданного в творческом наследии писателя. Тема личного бессмертия возникала в творчестве Радищева неизменно всякий раз, когда он обращался к проблеме «мужа тверда», борца, идущего навстречу гибели. В «Житии Федора Васильевича Ушакова» Радищев писал: «Случается, и много имеем примеров в повествованиях, что человек, коему возвещают, что умереть ему должно, с презрением и нетрепетно взирает на шествующую к нему смерть во сретение. Много видали и видим людей, отъемлющих самих у себя жизнь мужественно. И по истине нужна неробость и крепость душевных сил, дабы взирать твердым оком на разрушение свое. Но страсть, действовавшая в умирающем без болезни, пред кончиною его живет в нем до последней минуты и крепит дух. Нередко таковой *зрит и за предел гроба и чает возродиться*» (I, 183—184; курс. мой — Ю. Л.). Далее Радищев приоткрывает читателю, о какой смерти «без болезни» идет речь, рисуя «умирающего на лобном месте или отъемлющего у себя жизнь насильственно». «Отъемлющий жизнь насильственно» — самоубийца — в творчестве Радищева также неизменно ассоциируется с Катоним Утическим, погибающим «за вольность». Показательно, что и в «Путешествии» мы встречаем тот же комплекс идей и образов: готовность к гибели, Катон, вера в личное бессмертие<sup>33</sup>. Тема бессмертия звучит и в лирике Радищева («Молитва», «Журавли»).

Утверждение бессмертия души появляется в трактате, как и в предшествующих произведениях, в связи с проблемой подвига. Оно должно укрепить человека, сознательно идущего навстречу собственной гибели. Сами виды гибели, перечисленные писателем, чрезвычайно знаменательны: «Представим себе теперь человека удостоверенного, что состав его разрушиться должен, что он должен умереть<...> Едва ощутил он, или лучше сказать, едва возмoг вообразить, что смерть и разрушение тела не суть его кончина, что он по смерти жить может, воскреснет в жизнь новую, он восторжествовал и, попирая тление свое, отделился от него бодрственно и начал презирать все скорби, печали, мучительства. Болезнь лютая исчезла, как дым, пред твердую и бессмертия коснувшуюся его душею; *неволя, заточение, пытки, казнь, все душевные и телесные огорчения легче легчайших паров отлетели от духа его, обновившегося и ощутившего вечность*» (II, 71—72; курсив мой. — Ю. Л.). Рядом с этим, как и в «Путешествии», стоит образ Катона, античного героя-самоубийцы: «Устреми взор твой на веселящегося Катона, когда не оставалось ему ни вольности, ни убежища от победоносного Юлиева оружия: увидишь, что и желание вечности равно имеет основание в человеке со всеми другими его желаниями» (там же).

Именно проповедь гражданского мужества, желание подвигнуть своих единомышленников на бесстрашное самопожертвование заставляют Радищева «вопреки всех других доводов» развивать теорию бессмертия души. Тема бесстрашной гибели, появившаяся во второй главе трактата, является стержневой для всей третьей — переходной от опровержения бессмертия души к его доказательству. Уже на первой странице ее читаем: «Желающему вникать в размышления о смертности и бессмертии человека, я бы неллицемерный подал совет стараться быть часто при одре умирающих своей или насильственной смертию<...> Я всегда с величайшим удовольствием читал размышления стоящих на воскраии гроба, на праге вечности, и, сообщая причину их кончины и побуждения, *ими же вождаемы были*» (курсив мой. — Ю. Л.) почерпал многое, что мне в другом месте находить не удавалось<...> Вы знаете единословие или монолог Гамлета Шекспирова и единословие Катона Утицкого у Аддисона. Они прекрасны, но один в них порок — суть вымышлены» (II, 97—98). Еще более характерны рассуждения,

<sup>33</sup> См.: Ю. Лотман, «Неизвестный читатель XVIII века о «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева», «Уч. зап. ТГУ», вып. 139, «Труды по русской и славянской филологии», т. VI, Тарту, 1963.

завершающие главу: «Возьмите все примеры древние и новейшие в коих мысленность столь является блестяща и пренебрежена телесность: <...> вспомните Опдама, Сакена с кораблями своими возлетающих;<sup>34</sup> приведите на память многочисленные примеры отторгнувшихся жизни и возлюбивших смерть <...> *И поистине, нужно великое, так сказать, сосредоточение себя самого, чтобы решиться отнять у себя жизнь, не имея иногда причины оную возненавидеть*» (II, 122—123; курсив мой. — Ю. Л.).

Таким образом, мы видим, что утверждение личного бессмертия в творчестве Радищева связано с занимающей значительное место в его системе теорией подвига. Радищев не ставит своей целью дать последовательную систему, в которой общеполитические тезисы и проблема личного бессмертия связались бы в одно целое: он стремится построить этику, подкрепляющую мужество человека, вставшего на путь, который неизбежно приведет его к личной гибели.

Он предлагает читателю два возможных решения.

Первое отрицает личное бессмертие: не надо страшиться гибели — человек смертен, гибель вырывает его от рук тирана, а бессмертие он обретает в памяти потомков: «Грудь перестает дышать, сердце не бьет более, и светильник умственный потух.

Безумные! почто слышу вопль ваш, почто стенания? <...> Ликуйте, о други. Болезнь (т. е. боль, мука. — Ю. Л.) исчезла, терзание миновалось; злосчастию, гонению нет уже места» (II, 69).

По второму решению — человек бессмертен. Но раз так, тем с большей готовностью должен он жертвовать своей жизнью для общего блага.

Противоречие, перед которым остановился Радищев, отнюдь не было свидетельством его слабости как философа или выражением того, что русский материализм XVIII века, в силу социальной отсталости России, не мог возвыситься до последовательно-материалистической точки зрения. Оно указывает на иное — Радищев вплотную подошел к проблемам, раскрывавшим коренную слабость материалистической этики просветителей. Напомним, что перед этой же трудностью оказались просветители 1860-х гг., пытаясь связать в одно целое этику «разумного эгоизма» и теорию революционного подвига. В этом смысле очень показательна попытка Некрасова осмыслить подвиг Чернышевского:

... Не хуже нас он видит невозможность  
Служить добру, не жертвуя собой.  
Но любит он возвышенной и шире,  
В его душе нет помыслов мирских.  
«Жить для себя возможно только в мире,  
Но умереть возможно для других!»

Сочетание философской лексики, использующей феербахские термины этики «разумного эгоизма», и образов мученичества («распяли», «он будет на кресте», «помыслы мирские», «бог гнева и печали») напоминает житийную форму биографии гельвецианца Ф. В. Ушакова и ведет нас к кругу этических проблем, знакомых по творчеству Радищева. Противоречие в решении вопроса бессмертия души не было для Радищева тактическим ходом — оно вытекало из осознания противоречия между сложностью реальных этических конфликтов и прямолинейностью решений из арсенала философии Просвещения. Это была заявка на более высокий тип философской системы.

<sup>34</sup> Сакен И., капитан Черноморского флота, будучи окружен турками, взорвался вместе с кораблем (1788 г.); Опдам — датский адмирал, совершивший аналогичный подвиг.

## 2. Радищев и проблема революционной власти.

Если противоречия в решении Радищевым проблемы бессмертия души привлекали многих исследователей, то другая, не менее коренная, антиномия, также вытекающая из невозможности построить последовательную революционную теорию на основе гельвецианской этики, прошла почти незамеченной.

Радищев глубоко усвоил учение о неприкосновенности личности, о человеке как высшей ценности, которая не может быть принесена в жертву отвлеченным абстракциям «законности», «религии» или «государственности». Человек для Радищева рождается с присущими ему от природы правами, неотъемлемыми от самого понятия «человек». Радищев на разных этапах творчества по-разному формулировал эти права. В «Отрывке Путешествия в... И\*\*\*Т\*\*\*» (если считать автором его Радищева), он называет потребность в пище, стремление к сохранению жизни, стремление избежать страданий, в оде «Вольность» — свободу и жизнь, в «Путешествии из Петербурга в Москву» и в набросках трудов по законодательству — «честь, вольность, жизнь и собственность». В каждой из этих формул жизнь присутствует неизменно. Вступая в общественный союз, человек преследует одну цель — обеспечение своей жизни, свое личное благо. Поэтому государство, общество имеют право только способствовать личному благо человека, а личное счастье — основа общественного благоденствия. «Вина вступления <...> в общество была снискание своей пользы» (III, 30). Исходя из этого положения, Ф. В. Ушаков (а с ним и Радищев) в лейпцигский период сделал закономерный вывод, что общество не имеет права на жизнь человека. В специальном рассуждении о смертной казни Ф. В. Ушаков, следуя этике материалистов XVIII века, отрицает за государством право казни. Даже для убийц, посягающих на жизнь других членов общества (характерно, что это преступление отнесено к тяжчайшим, не дающим надежды на исправление преступника), предусматривается лишь «гражданская смерть», т. е. изгнание: «жребий нарушителю договора и общественному злодею есть смерть гражданская» (I, 195) — кара, которой подвергли цыганы Алеко. Учение о неотъемлемом праве человека на счастье и жизнь было мощным орудием критики феодального порядка. Но как только встал вопрос о переходе от «оборонительной» защиты прав человека к созданию революционной теории, цитадель материалистической этики оказалась тесной.

В «Размышлении о праве наказания и о смертной казни» цитируется «Общественный договор» Руссо, но по другому вопросу. Право общества отнимать жизнь человека в повестку дня не поставлено. Зато в оде «Вольность» Радищев изменил исходные формулировки, резко повернув в сторону руссоистского решения. Человек, вступая в общество, жертвует частью своей свободы. Общая власть ограничивает индивидуальную свободу — «гражданин» *перестает быть «человеком»*:

Но что ж претит моей свободе?

Желаньям зрю везде предел;

Возникла обща власть в народе (I, 1).

Руссо писал, характеризуя общественный договор: «Каждый из нас отдает свою личность и всю свою мощь под верховное руководство общей воли, и мы вместе принимаем каждого члена как нераздельную часть целого»<sup>35</sup>. Если для Гельвеция общее — лишь сумма частных единиц, то для Руссо это интегрированное целое — «*personne morale*»<sup>36</sup>.

Ф. Ушаков знал этот термин, он писал, что народ «представляет нравственную особу» (I, 188), но не видел вытекающих из этого положения выво-

<sup>35</sup> Ж.-Ж. Руссо, Об общественном договоре,<sup>36</sup> стр. 13.

<sup>37</sup> J. J. Rousseau, op. cit., p. 40.

дов, так как, осуждая убийц и смертную казнь, осуждал и цареубийц, «обогривших руки свои в крови царей своих» (I, 197). Для Руссо же это положение имело глубокий смысл: оно служило обоснованием права революционного насилия. Поскольку человек интегрируется в понятие «народ», воля и интересы народа выше интересов отдельного человека. Общее может требовать от единицы ее гибели: «Кто хочет сохранить свою жизнь при помощи других, должен также отдать ее за других, когда это нужно. Гражданин уже не может быть судьей опасности, которой закон велит ему подвергнуться, и когда государь говорит ему: «Для государства необходимо, чтобы ты умер», он должен умереть»<sup>37</sup>. Далее Руссо предлагает отличать «волю всех» от «общей воли». И, поскольку «воля всех» может не выражать «общей воли», над ней можно совершить насилие, заставив человека следовать своим истинным интересам. Человека можно *заставить быть свободным*. В этом учении Руссо содержалось зерно теории революционного насилия и революционной диктатуры. И Радищев, создавая оду «Вольность», не случайно испытал влияние этих идей: он оправдал революционное насилие и прославил казнь короля.

Казалось бы, дальнейшую эволюцию политической мысли Радищева можно предсказать: это движение в сторону развития идей революционной диктатуры, в направлении к доктрине якобинцев. Как известно, были попытки увидеть в воззрениях автора «Путешествия» «якобинский закат». Однако факты говорят об ином: создавая свою зрелую теорию революции, Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» отошел от идеи диктатуры общества. Как мы увидим в дальнейшем, якобинские теории для него были неприемлемы. Этому были веские причины.

Радищев испытал сильное воздействие идей Руссо. Можно только удивляться тому, что историки русской философии не проделали работы по выявлению многочисленных скрытых цитат, идейных переключек, сближений, расхождений и полемик — всей суммы тех откликов на мысли Руссо, которые заключены в сочинениях русского мыслителя. Бесспорно, что такая работа представила бы нам многие идеи Радищева в значительно более ясном виде. Однако и поверхностное знакомство с вопросом позволяет сделать определенные выводы: Радищев чутко воспринимал бунтарские ноты сочинений Руссо. Колебания Руссо в сторону анархического индивидуализма и — с этих позиций — темпераментная критика деспотизма не шокировали революционного сознания Радищева. Так, например, Руссо неоднократно высказывался против государственной устойчивости, «тишины и покоя» как несовместимых со свободой. В «Об общественном договоре» он писал: «Скажут, что деспот обеспечивает своим подданным гражданское спокойствие <...> Что выигрывают они, если и спокойствие это есть одно из их бедствий? Живут спокойно и в тюрьмах; достаточно ли этого, однако, чтобы чувствовать себя в них хорошо? Греки, запертые в пещере Циклопа, жили в ней спокойно — в ожидании, пока наступит их очередь быть съеденными»<sup>38</sup>. В «Размышлениях о правлении в Польше» Руссо предупреждал поляков от стремления к расслабляющему гражданскому покою. Надо искать форм правления не наиболее устойчивых, а наиболее благоприятствующих воспитанию героизма. Сохранить покой и свободу одновременно — невозможно. «Именно на лоне анархии, которую вы ненавидите, сформировались те патристические души, которые вас уберегли от порабощения»<sup>39</sup>.

Радищев также был убежден, что «покоя рабского под сенью /Плодов златых не возрастет» (I, 4), что «градские власти» «мирны» утверждают рабство. Философы, предпочитающие «тишину и с нею томление и скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и мужество», для него — «скарედные учителя», «наемники мучительства»: «Оно проповедау всегда мир и тишину, за-

<sup>37</sup> Ж.-Ж. Руссо, Об общественном договоре, стр. 29.

<sup>38</sup> J. J. Rousseau, Oeuvres complètes, t. VI, MDCCCXXIV, p. 218.

<sup>39</sup> Там же, p. 218.



ключает засыпляемых лестию в оковы» (I, 299). Опровергая тезис: «Блаженно государство, говорят, если в нем царствует тишина и устройство», он пишет: «Устройство на счет свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы <...> И так да неослепимся внешним спокойствием государства и его устройством, и для сих только причин, да непочтем оное блаженным. Смотри всегда на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь войстину: се блаженны» (I, 315—316). Екатерина II с основанием писала: «Сочинитель не любит слов «тишина» и «покой»»<sup>40</sup>.

Можно указать и на ряд других соприкосновений Радищева с Руссо — в трактовке происхождения рабства, в защите трудовой собственности и т. п. Однако следует подчеркнуть: идеи права суверена безгранично распоряжаться индивидом, защита морали аскетического античного героизма, понимание эгоизма и страстей как сил, разъединяющих общественный союз, — все это не нашло отклика в сочинениях Радищева, равно как и культурный и — шире — вообще исторический пессимизм французского мыслителя, который склонен был считать свободу и равенство даром хрупким и уже утраченным человечеством. Показательно, что ряд идей Руссо, — например, мысль о том, что свобода возможна лишь в маленьких государствах, — нашедший отзвук в оде «Вольность», в дальнейшем уже стал для Радищева непримлем (ср. заметку: «Монтескию и Руссо с умышлением много вреда сделали» (III, 47)).

Этика наслаждения, разумного эгоизма, права человека на максимальное личное счастье — представления, которые с известной степенью условности можно назвать «гельвецианскими», — возобладали в сознании Радищева над этикой героического аскетизма и мыслью о диктаторских правах «общей воли». Чтобы понять причины этого, надо остановиться на специфике развития русской освободительной мысли в конце XVIII века.

Русская действительность конца XVIII века не ставила перед передовой мыслью вопросов имущественного неравенства с такой остротой, какая была им свойственна в эти же годы на Западе. Значительно более заметны были кричащие несправедливости, возникающие вследствие открытого насилия в разных его формах — от самодержавно-деспотической до крепостнической. Всякая попытка оправдания власти государства над человеком, всякая проповедь морали самопожертвования болезненно перекликались с апологией наиболее темных сторон русской жизни. Русский демократ XVIII века страдал не от общественного «эгоизма», а от недостаточного его развития, не от злоупотребления личной свободой, а от ее отсутствия. В этих условиях необходимо было создать революционную теорию, которая исходила бы из нерушимости прав отдельной личности. Радищев выполнил эту задачу. При этом он должен был отказаться от тех элементов диалектики, которые имелись в системе Руссо. Он перестал рассматривать народ, общество как политическое тело, в котором отдельные части интегрированы. Защищая права человека, он доказывал, что народ — механическая сумма отдельных единиц. Каждая из них вступает в общество ради собственного блага, сохраняя всю полноту своей «естественной свободы». Единственная сила, спаивающая людей в общество, — собственная польза каждого. Радищев после оды «Вольность» многократно повторял и мысль о том, что гражданин не перестает быть человеком, и утверждение, что прочным является только общество, в котором общая польза покоится на эгоистической собственной пользе каждого отдельного его члена. Носителем власти является народ — суверен. Радищев, как и Руссо, считает, что суверенитет не отчуждаем. Он нигде не высказывался в пользу представительной системы, с правовой теорией которой он был, конечно, знаком, хотя бы по сочинениям Мабли и английским источникам. В идеале ему рисовалась вечевая республика в духе представлений XVIII века о строе древнего Новгорода. Однако для современно-

<sup>40</sup> А. Н. Радищев, Избр. соч., М.—Л., Гослитиздат, 1949, стр. 669.

сти, как мы видели, он после оды «Вольность» отверг идею федерализации. Как же представлял себе Радищев идеальный государственный порядок? Народ-суверен вручает власть правительству. Радищеву представляется несущественным, будет ли это правительство состоять из одного или многих лиц. Он употребляет термины «государь», «царь». В «Опыте о законодательстве» он даже (возможно, рассчитывая подготовить сочинение для публикации) говорит о «самодержавном правлении». Но это не меняет дела, поскольку реальное политическое содержание этого термина в системе Радищева приближается к понятию «президент». «Самодержавный государь» «Опыта о законодательстве» не является носителем суверенитета — он слуга народа. Все его действия должны иметь в виду общенародную пользу. Интерпретированная таким образом, система русского правопорядка XVIII века получает следующий вид: «Государь может все делать по своему произволу, но то, что начинает, не имея хотя деянием своим положительных правил, должен творить в пользу общую, ибо какой *предлог самодержавного правления? не тот, чтобы у людей отнять естественную вольность, но чтобы действия их направить к получению большего ото всех добра*» (III, 15)<sup>41</sup>. В случае, если государь обеспечивает всем членам общественного союза максимальное благо, — он законный правитель, облеченный властью волею народа. Подобную ситуацию «республиканской монархии» допускал и Руссо. Считая, что «хранители исполнительной власти являются не господами народа, а его чиновниками»<sup>42</sup>, он писал: «Чтобы быть законным, вовсе не нужно, чтобы правительство сливалось с сувереном, но чтобы оно управляло от его имени: тогда даже монархия становится республикой»<sup>43</sup>. Однако Радищев прекрасно понимал, что подобная «республиканская монархия» легко может, в случае отсутствия твердых гарантий народного суверенитета, превратиться в деспотию. Вопрос, таким образом, упирался в гарантии. Радищев не признавал разделения властей, равно как и идеи народного представительства. Несбыточность же для России восстановления вечевой структуры он, видимо, также понимал. В этих условиях он создает новую и очень оригинальную теорию: гарантией от деспотизма является сознание народом своего суверенитета и готовность народа его защищать. Революция трактуется Радищевым специфически: народ — хозяин общества — не может быть мятежником. Мятежник, бунтарь — это носитель административной власти, пытающийся обманом или насилием присвоить себе права суверенитета. В оде «Вольность» народ обращается к царю:

Преступник власти, мною данной!  
Вещай, злодей, мною венчанный,  
Против меня восстать как смел? (I, 5).

Радищев старательно выписывал из летописи случаи, когда князья целовали крест народу, и в оде «Вольность» подчеркнул, что клятва народа царю — свидетельство извращения общественного договора.

Таким образом, право народа на восстание и его готовность это право реализовать гарантируют народный суверенитет от деспотизма администратора. Идея конституирования революции как постоянного органа народной власти встречалась в политических сочинениях XVIII века. О ней писал Монтескье в «Духе законов»<sup>44</sup>, ее же высказал гр. Вельегорский, записку которого о Польше Руссо опубликовал в качестве предисловия к «Размышлениям о правлении Польши»: «Ainsi, les insurrections même avaient en Pologne une

<sup>41</sup> Слова, выделенные курсивом — цитата из «Наказа» Екатерины II, которую Радищев вмонтировал, видимо, желая придать своей мысли цензурную неуязвимость.

<sup>42</sup> Ж.-Ж. Руссо, Об общественном договоре, стр. 86.

<sup>43</sup> Там же, стр. 32—33.

<sup>44</sup> Ш. Монтескье, Избр. произведения, М., Госполитиздат, 1955, стр. 306.

forme legale»<sup>45</sup>. Руссо был близок к мысли, что постоянное беспокойство — нормальное состояние гражданского общества: «Нужно обращать менее внимания на внешнюю тишину и на спокойствие начальников <...> Бунты, гражданские войны, сильно пугают глав государства, но не они являются причиной истинных несчастий народов»<sup>46</sup>. У Радищева эта белло брошенная мысль превратилась в цельную и стройную теорию. Однако перед Радищевым возникал и другой вопрос, так как подобная система настоятельно требовала критериев того, соблюдается ли общественный договор или народный суверенитет поправ администрации. И именно «геллвецианская», а не «героико-аскетическая» мораль давала возможность сформулировать эти критерии. Общество создается для максимального блага отдельного человека, следовательно, благо человека, то, как общественный союз защищает права единицы, — показатель того, сохранило ли оно первоначальный справедливый свой облик или превратилось в орудие деспотизма. «Права единственные (т. е. индивидуальные, «права человека» — Ю. Л.) имеем мы от природы, закон определяет безбедное только оных употребление». Такими правами объявлены «честь, вольность или жизнь». К ним Радищев прибавляет собственность, порождаемую уже гражданским состоянием, но также составляющую неотъемлемую часть прав человека. «Отъявй единое из сих прав у гражданина, государь нарушает первоначальное условие и теряет, имея скиптр в руках, право к престолу» (III, 12—15). Любопытно, что в главе «Спаская Полесь», после рассказа о несправедливых преследованиях купца, говорится, что в России отнимают безнаказанно у безвинного человека «имение, честь, жизнь» (формула эта, дословно совпадающая с приведенной выше, повторена дважды), и невозможно «достигнуть до слуха верховные власти» (I, 247—248). Следовательно, в России общественный договор нарушен и слуги народа превратились в его угнетателей. Поэтому ошибочным представляется утверждение, что описания случаев насилия над отдельными людьми в первой части «Путешествия» — результат либеральных иллюзий путешественника. Насилие над отдельным человеком для Радищева — свидетельство порочности всей общественной системы в целом и достаточное основание к тому, чтобы суверен — народ отрешил от власти не оправдавшую его доверия администрацию. Вряд ли будет справедливо отрицать глубоко революционное содержание таких глав, как «Чудово».

Радищев сочувственно выписал мнение «Судии Гольма»: «Если человек заключается властью не законно, то сие есть достаточная причина всем для принятия его в защиту <...> Когда свобода подданного нарушается, то сие есть вызов на защиту ко всем английским подданным» (III, 44). Именно так и происходит восстание в главе «Зайцево». Здесь оскорблена, унижена одна крестьянская семья. Но это оскорбление стало возможно потому, что угнетены все, и все поднимаются на ее защиту. Так родилась стройная теория: проповедь «мужа тверда» при угнетении человека властью может превратить случай единичного насилия в искру, поджигающую пламя народного гнева и возвращающую общество к исходным справедливым основам. Пролить кровь вправе только суверен — народ «в соборном своем лице». Право это не передоверяется администрации.

Радищев не мог отбросить мораль, которая в основу свою клала защиту человеческой единицы, потому что в обществе, основанном на открытом насилии, именно защита человека давала основание для наиболее революционных выводов, и не мог принять никакой идеи диктаторской власти общества над человеком, потому что в русских условиях это неизбежно привело бы к оправданию правительственного насилия.

Все отмеченное здесь и определило отношение Радищева к Великой французской революции.

<sup>45</sup> J. J. Rousseau, Oeuvres complètes, t. VI, p. 211 (Таким образом, самое восстание имело в Польше законный характер).

<sup>46</sup> Ж.-Ж. Руссо, Об общественном договоре, стр. 73.

### 3. Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт Французской революции

Несмотря на сравнительно обширную литературу на тему «Французская революция и русское общество»<sup>47</sup>, вопрос этот не продвинулся далее некоего первоначального сбора материала. Применительно к двум ведущим мыслителям 1790-х гг. — Радищеву и Карамзину — в этой области сделано удручающе мало. О Радищеве мы можем назвать лишь небольшую заметку А. Старцева<sup>48</sup> и одну — правда, очень проницательную — работу В. В. Пугачева<sup>49</sup>. Относительно Карамзина основным источником исследовательских суждений продолжает служить книга В. В. Сиповского «Карамзин — автор «Писем русского путешественника», концепция которого кажется убедительной, поскольку никто не пробовал ее проверить. Некоторая попытка ввести новые материалы по этой теме содержится в моей статье «Эволюция мировоззрения Карамзина»<sup>50</sup>. Причем трудности при изучении взглядов Радищева и Карамзина по этому вопросу будут различны — если в первом случае речь будет идти о недостатке фактического материала и, следовательно, о гипотетичности создаваемых построений, то во втором сложность будет вытекать из обилия и противоречивости материала. Настоящая статья не преследует цели рассмотреть вопрос во всей полноте — речь пойдет лишь о том, как приверженность каждого из этих мыслителей к определенной этической системе отразилась на восприятии ими событий революции.

Общая оценка событий Великой французской революции Радищевым изложена у В. В. Пугачева правильно. Исследователь пишет: «Главным и решающим, на наш взгляд, было разочарование Радищева во французской революции. Она отнюдь не осуществила «царства разума» на земле, о котором мечтали французские просветители и Радищев. Французская революция, по его мнению, закончилась новым деспотизмом <...> Это было разочарование во французской революции с прогрессивных позиций»<sup>51</sup>. Несколько иначе сформулирован вывод в книге того же автора: «Итак, отрицательное отношение к некоторым сторонам французской революции в «Путешествии из Петербурга в Москву» определялось тем, что Радищев не мог примириться ни с какими ограничениями свободы печати, слова и т. д., не одобрял слишком большой политической самостоятельности низов и опасался, что все это приведет к восстановлению деспотизма. Симпатии Радищева на стороне Мирабо — более радикальные деятели неприемлемы для автора «Путешествия»<sup>52</sup>. В этой формулировке возбуждают сомнения слова о неодобрении Радищевым «политической самостоятельности низов». Что касается остального, то оно возражений не вызывает. Возникает лишь вопрос — чем были обусловлены взгляды именно такие, а не иного политического оттенка?

<sup>47</sup> См. литературу в кн. М. М. Штрэнге: Русское общество и французская революция, М., изд. АН СССР, 1956.

<sup>48</sup> А. Старцев, О западных связях Радищева, Интернациональная литература, 1940, № 7—8.

<sup>49</sup> В. В. Пугачев, А. Н. Радищев и французская революция, «Уч. записки Горьковского гос. университета», серия историко-филологическая, № 52, 1961, см. также в его кн.: А. Н. Радищев (Эволюция общественно-политических взглядов), Горький, 1960, гл. «А. Н. Радищев и Французская буржуазная революция».

<sup>50</sup> Ю. Лотман, Эволюция мировоззрения Карамзина, «Уч. зап. ТГУ», вып. 51, Тарту, 1957. См. также ряд весьма ценных наблюдений в работах А. В. Предтеченского (в сб. «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII в.», Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, и П. Н. Беркова и Г. П. Макогоненко (вст. статья к «Избр. соч. Карамзина», М.—Л., «Художественная литература», 1964).

<sup>51</sup> В. В. Пугачев, А. Н. Радищев и Французская революция, стр. 270.

<sup>52</sup> В. В. Пугачев, А. Н. Радищев, стр. 88—89.

Прежде всего, остановимся на утверждении, что Радищев «не одобрял слишком большой политической самостоятельности низов». Основанием для него служит известное место из «Путешествия»: «Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, цензура во Франции неуничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, да восплачут французы о участи своей и с ними человечества! Мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их Государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд, за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей» (I, 347).

Во-первых, следует учесть тот, не отмеченный В. В. Пугачевым, но установленный еще в 1940 г. А. Старцевым, факт, что процитированное место представляет собой защиту Марата от преследований со стороны Национального Собрания. Но дело даже не в этом — Национальное Собрание, подчеркивает Радищев, выступает самовластительно как деспот, ограничивая «свободу частную». И, если с точки зрения Руссо, это можно было оправдать тем, что, нарушая «волю всех», Национальное Собрание выполняет «общую волю», то с позиций Радищева оно нарушало суверенитет народа. А поскольку Радищеву было безразлично, представлен администратор одним или сотней лиц («Не красна изба углами, а красна пирогами») <sup>53</sup>, то в данном случае он не видел разницы между самовластием короля или самовластием депутатов. Этим и вызвано восклицание о «Бастильских пропастях». Что касается слов о «необузданности и безначалии», то трудно в них увидеть осуждение «активного вмешательства низов в ход революции» <sup>54</sup>, ибо именно это «активное вмешательство» составляло для Радищева самый смысл общественного переустройства. Но в действиях парижских санкюлотов он мог не узнать своего теоретического представления о революционном народе-суверене, как отказался узнать его в облике пугачевцев.

Не приходится сомневаться в том, что отношение Радищева к французской революции в общих ее контурах было положительным. Гораздо сложнее вопрос об отношении его к якобинской диктатуре. В. В. Пугачеву принадлежит ценное наблюдение, что отрицательные высказывания о Робеспьере датируются совсем не временем якобинской диктатуры. Первое недвусмысленно критическое высказывание в адрес событий во Франции сделано по поводу директории — «пятиглавой и ненавистой всем гидры» (III, 523) и относится к 1798 г. И только в конце жизни (не ранее весны 1802 г.) он прямо осудил Робеспьера, приравняв его к Сулле:

Сулла меч свой, обгаренный  
Кровию доселе чуждой,  
Он простер во сердце Рима...  
Нет, ничто не уравнился  
Ему в лютоści толикой,  
Робеспьер дней наших разве (I, 97).

На основании этого В. В. Пугачев заключает: «Вероятно, якобинская диктатура не испугала Радищева, хотя вряд ли он одобрял якобинский террор. Якобинцы не оттолкнули Радищева от французской революции. Это сделала директория» <sup>55</sup>. К этому, в общем верно, выводу возможны уточнения. Директорию, конечно, Радищев встретил с отвращением, увидя в ней начало контрреволюционной диктатуры. Однако, молчание его о Робеспьере в годы ссылки может объясняться и другим: не имея достаточных сведений и пони-

<sup>53</sup> Истолкование этого эпиграфа дано В. В. Пугачевым совершенно верно.

<sup>54</sup> В. В. Пугачев, А. Н. Радищев, стр. 85.

<sup>55</sup> Там же, стр. 91.

мая тенденциозность доходящих до него источников, он не торопился высказываться. Но когда ознакомление стало более полным, и осуждение было безусловным. Этому не следует удивляться — якобинцы развивали в наследии Руссо именно те стороны, которые Радищеву были непримемлемы, якобинцы были очень сдержанны и подозрительны по отношению к той материалистической гельветианской традиции, на которой, как мы видели, жила революционная теория Радищева. Наконец из теории Руссо о том, что во имя общей воли можно осуществлять насилие над волей всех, якобинцы вывели теорию и практику революционной диктатуры, которая была направлена и против сил контрреволюции и интервенции, и против стихийного напора эгоизма буржуазных отношений, и против социальных требований народа — санюлотов. Эта последняя сторона диктатуры якобинцев не могла укрыться от внимания Радищева, как она не укрылась от Карамзина. Именно поэтому Радищев отвернулся от якобинцев. Его испугали не казни. Народ «в соборном своем лице» имеет право и на жизнь гражданина. Его испугала диктатура, которая противоречила всей системе идей русского демократа XVIII века.

Сложная диалектика восприятия такого противоречивого явления, как французская революция, людьми русской культуры великолепно иллюстрируется на примере Карамзина.

\* \* \*

Мировоззрение Карамзина, переживавшее на протяжении его жизни существенную эволюцию, развивалось в сложном притяжении и отталкивании от двух идейно-теоретических полюсов — утопизма и скептицизма.

Утопические учения мало привлекали внимание русских просветителей XVIII века. Интерес, проявленный Радищевым к идее земельных переделов, оказался не настолько глубоким, чтобы послужить основой для создания целостной теоретической концепции. Это явление легко объяснимо. Русская просветительская мысль XVIII века усматривала основное общественное зло в феодальном насилии над человеком. Возвращение человеческому индивиду всей полноты его естественной свободы должно, по мнению Радищева, привести к созданию общества, гармонически сочетающего личные и общие интересы. Законы будущего общества возникнут сами из доброй природы человека. Такое умонастроение могло питать интерес к жизни «естественных» племен и робинзонадам, изучающим свободное бытие изолированного индивида. Стать основой интереса к утопическим учениям оно не могло. Русский утопизм XVIII века возникал в той среде, которая, отрицая окружающее и боясь революции, жаждала мирного решения социальных конфликтов и, одновременно, искала средств от зла, порождаемого частной собственностью. Эта двойственная позиция была слабой и сильной одновременно. Она была лишена и боевого демократизма просветителей, и их оптимистических иллюзий. Это была позиция, характеризовавшая то направление в русском дворянском либерализме XVIII века, которое было связано с именами Н. И. Новикова и А. М. Кутузова.

Первые шаги Карамзина как мыслителя были связаны именно с этими общественными кругами. Нравственное воздействие Новикова и Кутузова на молодого Карамзина, видимо, было очень глубоким.

Устойчивый интерес к утопическим учениям Карамзин сохранил и после разрыва с масонами. Борьбу между влечением к утопическим проектам и скептическими сомнениями можно проследить во взглядах Карамзина на протяжении многих лет. Так, в мартовской книжке «Московского журнала» за 1791 г. он поместил обширную и весьма интересную рецензию на русский перевод «Утопии» Томаса Мора. Карамзин считал, что «сия книга содержит описание идеальной республики, подобной республике Платоновой», и тут же

высказывал убеждение, что принципы ее «никогда не могут быть произведены в действо»<sup>56</sup>.

Рецензия эта представляет для нас большой интерес. Во-первых, она свидетельствует, что для Карамзина мысль об идеальном обществе переплелась с представлениями о республике Платона. Это было очень устойчивое представление. Позже, в 1794 г., характеризуя свое разочарование во Французской Революции, Карамзин писал:

Но время, опыт разрушают  
Воздушный замок юных лет;  
Красы волшебства исчезают...  
Теперь иной я вижу свет, —  
И вижу ясно, что с Платоном  
Республик нам не учредить...

Ср. также:

Или Платонов воскрешая  
И с ними ум свой изощряя,  
Закон республикам давай  
И землю в небо превращая<sup>57</sup>.

Карамзин многократно обращался к этому вопросу. В рецензии на «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» он писал о «Платоновой республике мудрецов»: «Сия прекрасная мечта представлена в живой картине и по конце ясно показано, что Платон сам чувствовал невозможность ее»<sup>58</sup>. А когда в 1796 — начале 1797 г. обстоятельства способствовали временному возрождению карамзинского оптимизма, он вспомнил и идеал утопической республики, и Платона. Он писал А. И. Вяземскому: «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей Утопии. Я без шутки занимаюсь иногда такими планами и, разгорячив свое воображение, заранее наслаждаюсь совершенством человеческого блаженства». О своих творческих планах он сообщал в этом письме, что «будет перелагать в стихи Кантову Метафизику с Платоновой республикой»<sup>59</sup>.

Установление того, что республика для Карамзина — это «Платонова республика мудрецов», весьма существенно. В понятие идеальной республики Карамзин вкладывает платоновское понятие общественного порядка, дарующего всем блаженство *ценой отказа от личной свободы*. Это строй, основанный на государственной добродетели и строгой регламентации. Управляющие «республикой» мудрецы строго регламентируют и личную жизнь граждан, и развитие искусств, самовластно отсекая все, вредное государству. Такой идеал имел определенные черты общности с тем, что Карамзин мог услышать из уст масонских наставников своей молодости.<sup>60</sup>

Все это необходимо учитывать при осмыслении известных утверждений Карамзина, что он «республиканец в душе», или высказываний вроде: «Без высокой добродетели Республика стоять не может. Вот почему монархическое правление гораздо счастливее и надежнее: оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падают»<sup>61</sup>. Республика оставалась для Карамзина на протяжении всей его жизни идеалом, недостижимой, но пленительной мечтой. Об этом знали и его друзья молодости, и молодые радикалы типа П. А. Вяземского, А. С. Пушкина или Н. И. Тургенева, с жаром оспаривавшие его «любимые парадоксы» (Пушкин). Но это не была ни вечевая республика — идеал Радищева,

<sup>56</sup> «Московский журнал», 1791, ч. I, кн. 3, стр. 359.

<sup>57</sup> Карамзин, Сочинения, т. I, Пг., изд. ОРЯС АН, 1917, стр. 96 и 170.

<sup>58</sup> «Московский журнал», 1791, ч. III, кн. 2, стр. 211.

<sup>59</sup> «Русский архив», 1872, стр. 1324.

<sup>60</sup> См.: Г. В. Вернадский, Русское масонство XVIII в., Пг., 1917.

<sup>61</sup> «Вестник Европы», 1803, № 20, стр. 319—320.

ни: республика народного суверенитета французских демократов XVIII века, тем более, буржуазная парламентская республика «либералистов» начала XIX столетия. Это была республика-утопия платоновского типа, управляемая мудрецами и гарантированная от эксцессов личного бунтарства.

Вторая важная сторона социально-политических воззрений Карамзина стояла именно в соединении идей республики и утопии. Вопрос республиканского управления был для Карамзина не только политическим, но и социальным. Его идеал подразумевал устранение социальной основы для конфликтов. При этом и в данном случае отсутствие регламентации ему представлялось большим злом, чем излишняя регламентация, и крепостное право страшило его меньше, чем свобода частной собственности. Не случайно в том самом письме, в котором он обещал А. И. Вяземскому воспеть «Кантову Метафизику с Платоновой республикой», он призывал «читать <...> Мабли». Интересно, что, как это следует из «Писем русского путешественника», Карамзин перечитывал Мабли в Париже. В рецензии на книгу Томаса Мора Карамзин острожно, но достаточно определенно, намекнул на мысль о том, что источником общественных пороков, по мнению автора, является собственность: «Он исследывает причины воровства и утверждает, что, пока не истребятся причины, до того и воровство не истребится, несмотря на всю жестокость наказания»<sup>62</sup>. Если вспомнить, что для Карамзина республика невозможна без добродетели, то слова эти весьма многозначительны.

Уяснение того, что республика для Карамзина была понятием не только политическим, но и социально-утопическим, а реальное наполнение этого утопизма было навечно идеями Платона, многое раскрывает в позиции Карамзина. Оно объясняет одинаково отрицательное отношение писателя и к идее народоправства, и к деспотическому управлению. Напомним, что демократия и тирания, по Платону, — наиболее одиозные формы государственного управления. Идеи, близкие к этим, Карамзин мог найти и у Монтескье, и у русских дворянских либералов типа Н. Панина или Фонвизина. С этой точки зрения делается понятным устойчивое отрицание Карамзиным 1780—1790-х гг. идеи деспотического управления. В 1787 г. Карамзин опубликовал перевод «Юлия Цезаря» Шекспира, содержащий резкие тираноборческие тирады. Так, в одном из монологов Брута упоминает «глубокое чувство издыхающей волиности и пагубное положение времен наших» — результат «тиранства»<sup>63</sup>.

Отношение Карамзина к французской революции было значительно более сложным, чем это обычно представляется. Решение этой проблемы невозможно в пределах отвлеченных формулировок, хотя бы потому, что осведомленность Карамзина в парижских событиях была чрезвычайно детальной. Следует подчеркнуть, что политическая жизнь Франции революционных лет отнюдь не представляла перед Карамзиным как нерасчленимое целое: он видел в ней, по крайней мере, три грани.

Первая отождествлялась с самой идеей революции, взятой вне каких-либо конкретных форм и тактических средств. Следует напомнить, что наше наполнение слова «революция» очень далеко от того, которое употреблялось в XVIII веке. В последнем случае оно подразумевало быстрые перемены, но не включало в себя никакой тактической конкретизации. В XVIII в. слово «революция» могло восприниматься не как антитеза мирным «либеральным» переменам, а в качестве противопоставления состоянию устойчивости, консерватизма (сохранения) или реакции (попятного движения). Именно потому, что со словом «революция» еще не связывалось понятия о революционной тактике, его можно было использовать в геологии и др. естественных науках.

<sup>62</sup> «Московский журнал», 1791, ч. I, кн. 3, стр. 360. Ср. горькое замечание Карамзина о русской действительности, сохраненное П. А. Вяземским: «Карамзин говорил, что если бы отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать — «крадут»» (П. Вяземский, Старая записная книжка, стр. 89).

<sup>63</sup> Юлий Цезарь, трагедия Виллиама Шекспира, 1787, стр. 40.



(ср. кн. А. Бертрана «Lettres sur les revolutions du Globe»). Именно такое понимание термина позволило Карамзину отделить в революции саму идею общественных перемен от тех реальных политических сил, которые ее осуществляли. Отношение Карамзина к этой идее было устойчиво положительным. Это, видимо, сразу заметили современники.

Тонкий наблюдатель и критик, А. М. Кутузов, в письме от 4 марта 1791 г. писал Плещеевой: «Что делает наш Рамзей <...> Видно, что путешествие его произвело в нем великую перемену в рассуждении прежних друзей его. Может быть, и в нем произошла Французская революция»<sup>64</sup>.

Грот со слов Блудова и Погодин со слов Сербиновича сообщают интересный эпизод: «Когда Карамзин, возвращаясь из своего заграничного путешествия, три недели оставался в Петербурге (в сентябре 1790 г.), то Дмитриев ввел и его в дом Державина. Поэт пригласил приезжего писателя к обеду. За столом Карамзин сидел возле любезной и прекрасной хозяйки. Между прочим, речь зашла о французской революции; Карамзин, недавно бывший свидетелем некоторых явлений ее, отзывался о ней довольно снисходительно. Во время разговора Катерина Яковлевна несколько раз толкала ногой своего соседа, который, однако ж, никак не мог догадаться, что бы это значило. После обеда, отведя его в сторону, она ему объяснила, что хотела предостеречь его, так как тут же П. И. Новосельцев, петербургский вице-губернатор (некогда «сослуживец Державина»), жена его, рожденная Горюлова, была племянницей М. С. Перекусиной, и неосторожные речи молодого путешественника могли в тот же день дойти до сведения императрицы»<sup>65</sup>. Однако, конечно, не полуанекдотические известия, подобные этому, должны послужить основой для изучения отношения Карамзина к Французской революции.

Прежде всего необходимо отметить, что такой существенный компонент революционных идеалов, как борьба с властью церкви и фанатического духовенства, встречал со стороны Карамзина полную поддержку. Конечно, не случайно Карамзин прореферировал в «Московском журнале» такие постановки революционного парижского театра, как «Монастырские жертвы» («Les victimes cloitrees») и «Монастырская жестокость» («Le rigueurs du cloître») Бретонна<sup>66</sup>. С особенной остротой эта сторона воззрений Карамзина проявилась в рецензии на один из наиболее ярких спектаклей революционного театра — по пьесе М.-Ж. Шенье «Карл IX». Карамзин холодно оценил художественные достоинства пьесы, противопоставив ее театру Шекспира, однако крайне сочувственно отзывался о пронизывающей ее борьбе с церковью, средневековьем и религиозным фанатизмом. Содержание пьесы в пересказе Карамзина выглядит так: «Слабый король, правимый своею суеверною матерью и чернодушным прелатом (который всегда говорит ему именем Неба), соглашается пролить кровь своих подданных, для того, что они не католики»<sup>67</sup>. Карамзин замечает сам, что «автор имел в виду новые происшествия». Карамзин тем живее это должен был чувствовать, что присутствовал в зале Национального собрания в день прений по вопросам о государственной религии. В его присутствии Мирабо заявил: «Я вижу отсюда то окно, из которого сын Катерины Медицис стрелял в протестантов». В 1791 г.

<sup>64</sup> Я. Л. Барсков, Переписка московских масонов XVIII в., стр. 100.

<sup>65</sup> Соч. Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, т. VIII, СПб., 1880, стр. 606—607.

<sup>66</sup> «Московский журнал», ч. II, кн. 1, стр. 66; там же, ч. IV, кн. 3, декабрь 1791 г. стр. 342. Интересно, что когда в 1798 г. в цензуре оказался текст драмы «Монастырские жертвы» в 4-х действиях, поданный придворным актером Сандуновым, перевод с французского штабс-капитана Глинки, московская цензура в лице цензора Прокоповича-Антонского нашла пьесу «сомнительной», и она, видимо, подверглась запрещению. (ЦГИА в Ленинграде, ф. № 1147, оп. 1, ед. хр. 163, л. 229).

<sup>67</sup> «Московский журнал», ч. III, кн. 1, стр. 83.

издавая «Московский журнал», Карамзин недвусмысленно давал понять, что эта сторона революции пользуется его поддержкой. Читатель находил в «Письмах русского путешественника» отрывки вроде: «Около вечера мы проплыли мимо города Треву, лежащего на правой стороне Сены. Более всего известен он по «Memoires de Trevoix», антифилософическому, иезуитскому журналу, который, подобно черной молниеносной туче, метал страшные перуны на Вольтеров и д'Аламберов и грозил поглотить священным огнем все произведения ума человеческого»<sup>68</sup>. При этом читателю было ясно не только то, что Карамзин противопоставляет «священный огонь» — «произведениям ума человеческого», но и то, что все его симпатии на стороне этого последнего.

Карамзин воспринимал революцию как «соединение теории с практикою, умознания с деятельностью», то есть как реализацию тех принципов равенства, братства и гуманности, которые провозгласили просветители XVIII века. Именно поэтому он счел возможным в январском номере «Московского журнала» за 1792 г. рекомендовать русскому читателю как «важнейшие произведения французской литературы в прошедшем году»<sup>69</sup> такие яркие произведения революционной публицистики, как «Руины или размышления о революциях империй» Вольея и «О Руссо как одном из первых писателей революции» С. Мерсье. Сочувствие к новому, возникающему во Франции обществу сквозило и в рецензии на антиаристократическую комедию Фабра д'Еглантина «Выздоровливающий от дворянства», и в реплике, брошенной в рецензии на «Путешествие Анахарзиса», Карамзин цитирует слова автора романа: «Пример нации, предпочитающей смерть рабству, достоин внимания и умолчать о нем невозможно», — и сопровождает их краткой репликой: «Г. Бартеlemi прав». В июле 1791 г. слова эти звучали в достаточной мере определенно.

Однако революция не была простой инсценировкой идей просветителей XVIII века. Она с самого начала и чем дальше — тем больше раскрывалась перед современниками как историческая проверка и опровержение идеи «философского века». Вера в господство разума, совершенствование человека и человечества, самое представление просветителей о народе — подверглись испытаниям. Та окраска революции, которую придавали ей санкюлоты, городской плебс Парижа, бурность, стихийность и размах народных выступлений были Карамзину решительно неприемлемы. Они не связывались в его сознании с идеями XVIII века. Очевидная даже для школьников в наши дни мысль о связи идей просветителей и революционной практики масс не укладывалась в сознании Карамзина. Он, скорее, склонен был считать их проявлениями враждебных, взаимоопровергающих исторических тенденций. Но, внимательный наблюдатель современности, Карамзин различал во французских событиях не только тенденцию, восходящую к идеям XVIII века, и стихийную практическую деятельность масс. Он видел еще один существенный компонент событий: борьбу политических партий и группировок, деятельность революционных клубов, столкновения вождей. Отношение Карамзина к этой стороне революции также было далеко от того благонамеренного ужаса, который уже с 1790 г. официально считался в России единственно дозволенной реакцией.

Историк, который попытался бы реконструировать отношение Карамзина к этому вопросу, исходя из распространенного взгляда на него как на умеренного либерала с консервативной окраской, мог бы оказаться в затруднительном положении. Он должен был бы предположить сочувствие Карамзина к революционным вождям первого периода и, естественно, умозаключить об отрицательном отношении его к вождям якобинского этапа. Это тем более было бы неудивительным, что даже Радищев относился к этому периоду революции отнюдь не прямолинейно. Пушкин имел веские причины сказать

<sup>68</sup> «Московский журнал», ч. VIII, кн. 2, стр. 310.

<sup>69</sup> Там же, ч. VIII, кн. 1, стр. 84.

о Радищеве: «Увлеченный однажды лвиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра»<sup>70</sup>. Между тем, реальный исторический материал дает иную и совершенно неожиданную картину. Явно сочувствуя революции, в такой мере, в какой ее можно было воспринять как реализацию гуманных идей литературы XVIII века, Карамзин нигде не высказал никаких симпатий каким-либо политическим деятелям той эпохи. Более того, он отказывался определять отношение к тому или иному современнику, исходя из его политических воззрений. В статье, опубликованной в 1797 г. на французском языке и предназначенной для европейского читателя, он писал: «Наш путешественник присутствовал в Национальной ассамблее во время пламенных споров, восхищался талантом Мирабо, отдавал должное красноречию его противника аббата Мори и смотрел на них как на Ахилла и Гектора»<sup>71</sup>. В соответствующем тексте «Писем русского путешественника», предназначенном для русского читателя (он смог появиться только в 1801 г.), Карамзин замаскировал явно звучащую во французской статье большую симпатию к Мирабо, чем к его реакционному противнику (русский текст гласит: «Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор»), но сохранил подчеркнутое равнодушие к политической сущности споров («Ни якобинцы, ни аристократы <...> не сделали мне никакого зла; я слышал споры, и не спорил»). Это неслучайно. Карамзин никогда не считал политическую борьбу выражением основных общественных споров, а политические взгляды — существенной стороной характеристики человека. Позже он выразил эту мысль со всей определенностью (в 1790-е гг. она еще только формировалась в его сознании): «Аристократы, демократы, либералисты, сервиллисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? Все вы Авгуры и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, сервиллисты хотят старого порядка, ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод...»<sup>72</sup>. Вместе с тем совершенно неожиданным может показаться положительное отношение Карамзина к Робеспьеру. Можно было бы даже сомневаться в этом известии, если бы мы не располагали точными сведениями от столь осведомленного современника, каким был многолетний собеседник Карамзина Н. И. Тургенев. «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина свидетельствовали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстием, серьезности и твердости его характера»<sup>73</sup>.

Для того, чтобы понять отношение Карамзина к Робеспьеру, нужно иметь в виду, что отрицательное отношение писателя к насилию, исходящему от толпы, улицы, шире — народа, не распространялось на насилие вообще. В 1798 г., набрасывая план работы о Петре I, Карамзин писал: «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместимо с великостью духа. *Les grands hommes ne voyent que le tout* (великие люди видят только общее). Но иногда и чувствительность торжествовала»<sup>74</sup>. Есть все основа-

<sup>70</sup> Пушкин, Полн. собр. соч., т. XII, Изд. АН СССР, 1949, стр. 34.

<sup>71</sup> Н. М. Карамзин, *Lettre au «Spectateur» sur la litterature russe*, в кн.: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, СПб., 1866, стр. 479. Напомним, что о Мирабо Екатерина II говорила, что он «не единой, но многие висельницы достоин».

<sup>72</sup> Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I, СПб., 1862, стр. 194.

<sup>73</sup> Николай Тургенев, *Россия и русские*, М., 1915, стр. 342. «Друзья» — видимо, И. И. Дмитриев.

<sup>74</sup> Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина, ч. I, стр. 202. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что Карамзин, дававший в 1798 г. характеристику Петра I как государственного человека, прибегавшего для осуществления великих целей к кровавым средствам, при котором, однако, «иногда

ния предположить, что в правлении Робеспьера Карамзин усматривал опыт-реализации социальной утопии, насильственного утверждения принудительной добродетели и равенства — того идеала платоновской республики, который и влек Карамзина, и казался ему несбыточной мечтой. Любопытно, что, решительно отвергая культурный пессимизм Руссо, позже подвергнув сомнению руссоистскую идею доброты человека<sup>75</sup>, Карамзин никогда не подвергал сомнению идею Руссо о доминанте социального, общего над частным. Более того: именно ею Карамзин обосновывал необходимость построения общества по принципу диктатуры. Своеобразное «принятие» якобинской диктатуры было связано для Карамзина с его верой в принцип государственности. Не случайно явное перерастание власти директории в военную диктатуру, вызвавшее такое отвращение у Радищева, Карамзиным было воспринято сочувственно. Естественным следствием этого был его бонапартизм периода «Вестника Европы» (1802—1803). Если в Робеспьере он читл утописта-мечтателя, попытавшегося силой диктатуры реализовать платоновскую республику, то в Бонапарте он уважал цинического практика, знающего подлинную цену человеку и управляющего государством методами спасительного насилия.

Таким образом, распространенное представление о том, что русский наблюдатель конца XVIII — начала XIX вв. был испуган решительностью кровавых мер якобинской диктатуры, нуждается в значительных уточнениях. Кровь не оттолкнула ни Радищева, ни Карамзина. Произошло другое: именно в этих условиях начали противопоставляться в русской общественной мысли две тенденции: одна возлагала надежды на человека, другая — на государство. И парадокс состоял в том, что именно эта вторая, дворянская тенденция, конечно, не в лице тупых зубров реакции, а устами тонкого, проницательного и скептического Карамзина одобрила и руссоистские истоки якобинской диктатуры, и нравственный облик самого Робеспьера.<sup>76</sup>

да и чувствительность торжествовала», не мог не думать и о Робеспьере. Интересно напомнить пушкинское сопоставление Петра и Робеспьера: «*Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoléon. (La Révolution incarnée)*» <Петр I — Робеспьер и Наполеон одновременно. (Воплощенная революция)> (Пушкин, Соч., XII, стр. 205). Вопрос об отношении Пушкина 1830-х гг. к политическим идеям Карамзина изучен недостаточно, что закономерно вытекает из втискивания сложной политической концепции Карамзина в тесные рамки плоского консерватизма и архаической чувствительности. Однако мысль Пушкина о том, что Петр I — одновременно диктатор-утопист и цинический политик-практик, что он, подобно Робеспьеру и Наполеону не страшился крови, ломая старое, — невольно вызывает в памяти размышления Карамзина над итогами Революции и Империи во Франции. Вряд ли можно сомневаться в том, что тема эта затрагивалась в беседах Карамзина и Пушкина.

<sup>75</sup> Полемика Карамзина с Руссо по этому вопросу освещена в статье Ю. Лотмана «Пути развития русской прозы начала XIX века», Труды по русской и славянской филологии, т. IV, «Уч. зап. ТГУ», вып. 104, Тарту, 1961.

<sup>76</sup> Для того, чтобы понять трудности, с которыми сталкивался русский человек XVIII века, пытающийся осмыслить для себя события якобинской диктатуры, и всю меру неожиданности сближений, которые могли получаться при истолковании одной системы идей (французской) в категориях другой (русской), произведем одно сопоставление. Радишев, как известно, категорически отрицал всякое ограничение свободы слова, считая ее неотъемлемым правом человека, данным ему самой природой и не подлежащим регламентации со стороны общества (см. рассуждение о кричащих младенцах в «Отрывке путешествия в... И\*\*\* Т\*\*\*, а также гл. «Торжок»). Карамзин, по свидетельству Пушкина, говорил, что если бы в России «была свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь» (XI, стр. 167). Не следует толковать этих слов прямолинейно: Карамзин неоднократно осуждал русскую цензуру, но он, бесспорно, допускал необходимость законодательных ограничений, накладываемых государством на свободу печати. Пред-

Это сложное переплетение политико-этических проблем интересно преломилось в сознании людей пушкинского поколения. Однако к этому сюжету автор надеется обратиться в специальной статье.

---

ставим же себе, как должно было выглядеть с позиции Радищева и с позиции Карамзина высказывание Робеспьера в его речи от 19 апреля 1793 г.: «Успех революции может требовать подавления заговора, *замышляемого посредством свободы печати*» (Е. З. Серебровская, Об эволюции мировоззрения М. Робеспьера, сб. «Из истории якобинской диктатуры», Одесса, МСМЛXII, стр. 295. Курс. мой — Ю. Л.).

## О «ЛИВОНСКИХ» ПОВЕСТЯХ ДЕКАБРИСТОВ

(К вопросу о становлении Декабристского историзма)

С. Г. Исаков

Известно, что в декабристской прозе вначале преобладали, главным образом, повести и рассказы из отечественной истории, кое в чем напоминающие «думы» К. Ф. Рылеева. Почему декабристы обратились к истории, а не к современности в своих первых прозаических произведениях? Традицией это объяснить нельзя. В России не было устойчивой традиции исторического романа или повести. Ни «Наталья — боярская дочь», примыкавшая к любовно-психологическим сентиментальным повестям первого периода творчества Н. М. Карамзина, ни его же «Марфа-посадница», близкая к «политическому роману» XVIII в., в котором фактически отсутствовало отображение исторической действительности, заменённое априорными теоретическими конструкциями, — не создали литературной традиции, по крайней мере, в смысле жанра (мы не говорим в данном случае о воздействии их стиля). Не очень многочисленные оригинальные русские романы начала XIX в. на сюжет из истории чаще всего повторяли жанровую форму сентиментального, семейно-бытового, или сказочно-авантюрного рыцарского романа<sup>1</sup>. Эти произведения, в которых, пожалуй, даже нет намёка на историзм, не могли служить образцом для декабристов. Им были ближе «Славянские вечера» В. Т. Нарезного с его попыткой воссоздать героическую древность Руси. Но и к этому произведению нельзя возвести историческую прозу декабристов, хотя и можно заметить в них многие общие черты.

Исторические повести декабристов вырастали не столько из литературных традиций, сколько были вызваны к жизни внутренними потребностями самого декабристского движения, его развивающейся идеологии, в конечном итоге, эволюцией российской действительности.

<sup>1</sup> См. Ю. М. Лотман, Пути развития русской прозы 1800-х — 1810-х годов, Уч. зап. ТГУ, вып. 104, 1961, стр. 25—27.

Наибольшее значение здесь имел давно уже отмеченный исследователями общеевропейский интерес к истории, к проблеме историзма, в связи с событиями Великой французской революции и наполеоновских войн. Эти события, показав людям недостаточность и ошибочность умозрительных построений теоретиков Просвещения, потребовали внимания к реальному ходу истории, выявления его закономерностей, взаимосвязи прошлого с настоящим. Понять настоящее, наметить перспективы будущего можно, только осознав опыт прошлого, увидев, как прошлое подготавливает современность, какие закономерности определяют ход истории. В ответ на эти запросы жизни появляется исторический роман Вальтер Скотта, блестящая школа французских романтических историков 1820-х гг. В России этот интерес к истории был усугублен событиями Отечественной войны 1812 г., показавшими великую роль народных масс в исторических событиях. Интерес к истории в высшей мере характерен для декабристов<sup>2</sup>, хотя в её понимании они были идеалистами и до 1825 г. не дошли до той высоты, на которую поднялись уже в это время французские историки, широко использовавшие опыт В. Скотта. Но декабристы двигались в том же направлении, на них также большое влияние оказал роман В. Скотта. Историческая повесть декабристов вырастает именно на основе этого общего интереса к прошлому, которое одно только может помочь людям понять современность, указать пути в будущее.

Для декабристов интерес к истории усиливала стоящая перед литературой проблема народности, требовавшая от писателей отображения в произведении национально-специфических черт народа, народного духа. При этом, по представлениям декабристов, самобытные оригинальные черты каждой нации лучше всего проявлялись в прошлом, в тот период, когда народ был свободен, не знал ещё феодального рабства и крепостного права. Позже эти исконные черты народа были изуродованы крепостничеством, сословным или национальным угнетением. Чтобы отобразить национальный характер в его полноте, подлинной красоте и целостности, надо обратиться к прошлому народа. В этих представлениях декабристов было кое-что от руссоизма с его идеей «естественного человека». Но с этим парадоксально на первый взгляд (на самом деле между этими двумя явлениями была внутренняя связь) сочеталось романтическое учение о прошлом, как периоде сильных энергичных индивидуальностей, противоположном современности, когда яркий самобытный характер личности тускнеет, теряя и свою колоритную оригинальную национальную окраску. Отсюда интерес декабристов к

---

<sup>2</sup> См. об этом: С. С. Волк, Исторические взгляды декабристов, М.—Л., изд. АН СССР, 1958, глава I.

эпохе Киевской Руси, к русскому средневековью, столь ярко проявившийся в «думах» Рылеева. Но дух народа, национальный характер, специфические черты нации мыслились как нечто неизменное в своей основе, потенциально присутствующее и в каждом современном русском (если снять внешний слой, обусловленный веками рабства и угнетения), что, конечно, было антиисторичным. Поэтому в данном аспекте интерес к истории не всегда смыкался с развитием историзма.

Наконец, нельзя не обратить внимания и на то, что декабристам, жаждавшим призвать людей к борьбе за свободу, стремившимся воодушевить читателей своими произведениями на героический подвиг во имя Родины, далеко не ясны были реальные пути этой борьбы в условиях тех дней. Декабристы плохо себе представляли, как именно надо действовать, бороться сегодня, чтобы изменить существующий строй и придти к счастливому будущему. Даже виднейшие теоретики декабризма не могли дать убедительного ответа на эти наиболее существенные вопросы декабристского движения — П. И. Пестель перед самым восстанием испытывает какие-то не совсем ясные нам мучительные колебания, видимо, обусловленные сомнением в возможности победы революции без участия народа; К. Ф. Рылеев был исполнен сомнений в победе восстания и плохо представлял себе, как надо его организовать. Всё это не могло не сказываться на изображении образа положительного героя-борца в современных условиях. Авторы не знали, что он должен делать, как он должен действовать. Они наделяли его всеми положительными чертами борца, яркой индивидуальностью, ставили его выше окружающих — и в то же время вынуждены были лишать права на самую важную деятельность, где он только и мог проявить себя, — общественно-политическую. Поле деятельности героя в таких случаях неминуемо ограничивалось сферой любви. И хотя и Рылеев, и В. Ф. Раевский призывали поэтов перестать воспевать любовь, когда отчизна страждет, тем не менее, в прозе, посвящённой современности, господствует изображение всё той же любви. Только в ней герой может проявить себя. Это относится не только к «светским повестям» позднего Марлинского («Испытание», «Лейтенант Белозор», «Фрегат «Надежда»»), но и к произведениям декабристов, написанным до 14. XII 1825, — напомним о «Вечере на бивуаке», «Ночи на корабле» и «Втором вечере на бивуаке» А. А. Бестужева, о «Путешествии на катере» Н. А. Бестужева. Конечно, здесь во многом была виновата и цензура, которая не допускала в печать политически острых произведений, отображающих в какой-то мере и революционную практику декабристов. Но хотелось бы подчеркнуть, что одним вмешательством цензуры эту ограниченность произведений декабристов о современности объяснять всё же нельзя.



Для поэтов дело создания образа положительного героя-борца облегчалось тем, что в стихах не обязательно было показывать его в действии, повествовать об его поступках. Там можно было ограничиться раскрытием его свободолюбивых чувств, его глубоких внутренних переживаний, разносторонних эмоций. В лирическом стихотворении, раскрывающем мир души автора-декабриста, легко можно было и без сюжета показать пафос свободолюбия, жажду борьбы, готовность на подвиг во имя родины — всё это лишенное конкретности, но действенное. Прозаики в этом отношении находились в более тяжёлом положении. Бессюжетная лирическая проза, связывавшаяся в сознании современников с сентиментализмом школы Карамзина, казалась декабристам устаревшей. Сюжетная же проза (рассказ, повесть, роман) требует показа человека в действии, через его дела, поступки. Современного героя — дворянского революционера, патриота, человека прогрессивных убеждений, как мы видели, трудно было показать в политическом общественном «деле». В этом одна из причин обращения к прошлому — на материале истории, выбирая эпизоды героической борьбы людей древности за родину, за свободу, легче можно было показать героя в действии, не ограничивая его лишь сферой любви. К тому же цензурные препятствия для исторической беллетристики были менее существенными.

Таким образом, обращение декабристов к истории тоже было явлением сложным и противоречивым, диктовавшимся различными по своему характеру причинами. Некоторые из этих причин могли только способствовать усилению субъективистских мотивов в исторических произведениях декабристов и скорее препятствовать, нежели помогать развитию историзма. Исследователи давно обратили внимание на то, что герои исторических повестей декабристов наделены, в сущности, чертами передовых людей декабристской поры; их мысли, чувства и переживания отражают внутренний мир дворянских революционеров; эти герои порождены не описываемой действительностью, а обстановкой, современной автору. Такой антиисторизм является следствием некоторых причин, обусловивших вообще обращение декабристов к истории. Но среди этих причин были и такие, которые, наоборот, способствовали росту историзма в их произведениях, проникновению в законы истории, в подлинную суть каждой из прошедших эпох. Именно к этому вело стремление понять прошлое с тем, чтобы, на основе его закономерностей, его эволюции, его особенностей, объяснить настоящее и указать путь в завтрашний день.

Сама историческая тема в творчестве декабристов прошла несколько этапов в своём развитии, претерпела существенные изменения в связи с развитием общественной жизни России вообще. Первый этап отличается почти полным отсутствием исто-

ризма в произведениях — у авторов ещё совершенно нет представления о своеобразии каждой исторической эпохи, человека прошлого, об его отличии от людей современности. Поэтому авторы считают вполне возможным наделять людей прошлого чертами современников, а их переживания и чувства рисовать в том же плане, как изображался бы и внутренний мир современного человека с точки зрения прогрессивного романтика. Политические и общественные идеи прошлого ничем не отличаются от аналогичных идей людей начала XIX в. Никакого исторического колорита нет. Действие чисто декларативно отнесено в прошлое; правда, сюжет имеет отдельные точки соприкосновения с действительно имевшими место в истории событиями, и действующими лицами частью являются подлинные исторические герои, которых, впрочем, связывает с их прототипами чаще всего лишь общее имя да кое-какие самые внешние черты биографии. Но даже и в этом уже виден некоторый шаг вперед по сравнению с «Натальей—боярской дочерью» Карамзина или многими из рассказов цикла «Славянские вечера» Нарезного, где не было ни исторических событий, ни имён исторических деятелей.

Самым характерным историческим произведением декабристов на этом этапе была повесть Ф. Н. Глинки «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия». Черты определённой эпохи здесь едва намечены. Главная цель автора состоит не в том, чтобы отобразить какую-то определенную историческую эпоху с определенными героями, а в том, чтобы дать образец героической личности для современников, опоэтизировать на её примере свободолюбивые мечты, преданность родине, готовность пожертвовать всем ради неё.

Того же типа первая из «ливонских» повестей А. А. Бестужева — «Замок Венден».

«Замок Венден» точно датирован самим автором — 23. V. 1821 г. У нас нет оснований подвергать сомнению авторскую датировку, тем более, что в письме А. А. Бестужева к Ф. В. Булгарину от 26. V. 1821 из Дерпта, где он останавливался во время похода гвардии в западные губернии, тоже говорится о каком-то написанном им в пути произведении<sup>3</sup>. Но опубликован «Замок Венден» был значительно позднее. Бестужев послал своё произведение в Москву, едва ли не в «Вестник Европы», но московская цензура не пропустила его в печать. Об этом мы узнаём из письма М. Т. Каченовского к Ф. В. Булгарину от 2. I. 1823: «Скажите, ради бога, А. Бестужеву, что пьеса его «Венден» была уже набрана; но после запрещена ректором и самим цензором».<sup>4</sup> Лишь в 1823 г. Бестужеву удалось опубликовать своё произведение в литературном приложении к «Сыну

<sup>3</sup> См. «Русская старина», 1901, февраль, стр. 393.

<sup>4</sup> Там же, 1903, декабрь, стр. 603.

отечества» — «Библиотеке для чтения, составленной из повестей, анекдотов и других произведений изящной словесности» (кн. IX, стр. 3—16; дата цензурного разрешения — 24 апреля 1823 г.). Насколько нам известно, рукопись «Замка Венден» не сохранилась, поэтому невозможно определить, пришлось ли Бестужеву внести какие-либо изменения и сделать купюры в тексте произведения, чтобы приспособить его к цензуре.

«Описанное здесь происшествие случилось в 1208 году. Смотри первый том «Истории Арндта»»<sup>5</sup>, — утверждает Бестужев в подстрочном примечании в конце повести. Действительно, в первой части «Лифляндской хроники» И. Г. Арндта, где приводится более древняя «Хроника Ливонии» Генриха Латвийского, имеется изложение эпизода, легшего в основу сюжета «Замка Венден»<sup>6</sup>. Но нельзя не отметить, что Генрих Латвийский совсем по иному рассказывает историю убийства магистра Винно рыцарем Вигбертом, чем Бестужев.<sup>7</sup>

Некоторые дополнения к этой истории приводятся в «Старшей рифмованной хронике»<sup>8</sup>. Все последующие хронисты и исследователи, как показал Х. Браккель, специально изучивший этот эпизод<sup>9</sup>, основываются на данных, приведённых этими двумя древнейшими хрониками.

Но Бестужев совершенно не придерживается известных фактов, характеризующих историю убийства магистра фон Рорбаха. Конечно, это можно было бы объяснить и тем, что в этой истории в изложении хронистов много неясного, даже попросту непонятного, как считают современные комментаторы<sup>10</sup>, сознательно оставленного в тени Генрихом Латвийским, не желавшим раскрывать перед читателем тёмные стороны жизни ордена меченосцев. В хрониках так и остаётся открытым вопрос о причинах конфликта Вигберта с орденом, его бегства из Вендена, не ясно, какое «семя раздора» он сеял среди рыцарей и т. д. Но вряд ли можно объяснить построение сюжета «Замка Венден» лишь стремлением автора дополнить и разъяснить неясности этого эпизода. Сюжет повести, характеристика в ней глав-

---

<sup>5</sup> А. А. Бестужев-Марлинский, Сочинения в двух томах, т. I, М., Гослитиздат, 1958, стр. 45. Далее все цитаты по этому изданию даются прямо в тексте с указанием лишь страницы.

<sup>6</sup> См. Johann Gottfried Arndt, *Liefländische Chronik, Erster Theil, von Liefland unter seinen Bischöfen...*, Halle, 1747, стр. 72—73.

<sup>7</sup> Ср. Генрих Латвийский, *Хроника Ливонии*, М.-Л., изд. АН СССР, 1938, стр. 124.

<sup>8</sup> См. *Livländische Reimchronik mit Anmerkungen, Namenverzeichnis und Glossar herausgegeben von Leo Meyer*, Paderborn, 1876, стр. 16—17 (стихи 687 и след.).

<sup>9</sup> См. Harald von Brackel, *Die Ermordung des ersten livländischen Ordensmeisters Herrn Vinno*, «Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland's», III B., Riga, 1845, стр. 187—230.

<sup>10</sup> См. комментарий С. А. Аннинского к «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского, стр. 509.

ных действующих лиц настолько отходят от зафиксированных в хрониках фактов, что в данном случае почти не приходится уже говорить о каком-либо соответствии произведения подлинной правде истории.

Это объясняется, видимо, тем же, чем обусловлен и характер «дум» Рылеева — отсутствием чувства историзма, отсутствием представлений о том, что каждая из эпох прошлого представляла собой нечто специфичное, отличное от современности. Это объясняется, конечно, и субъективизмом художественного метода декабристов, превыше всего ставивших фантазию, мечты, думы автора и не интересовавшихся их соответствием действительности. Здесь сказался и характерный для декабристов приём аллюзий, позволявший переносить в прошлое идеи и конфликты современности. При таком подходе к истории вполне естественным становится, что Бестужев, как и Ф. Глинка в «Богдане Хмельницком», в основу сюжета своей «исторической» повести положил лишь имена исторических деятелей и самый общий абрис подлинного исторического эпизода, наполнив сюжетную канву придуманным им материалом и придав сюжету идейную направленность, связывающую произведение с современностью, с проблемами тогдашней русской общественной жизни. От подлинной истории в произведении почти ничего не осталось.

В прямой связи с таким антиисторизмом художественного мышления Бестужева находится и другое. Видимо, Бестужев вообще и не обращался к первоисточникам, более или менее подробно излагавшим эпизод убийства магистра. Он ограничился тем материалом, который нашёл у Ф. Г. де-Брэ в его известной книге «*Essai critique sur l'histoire de la Livonie*» (Дерпт, 1817). Последний же просто упоминает, что в 1208 г. первый магистр ордена Винно фон Рорбах был убит в Вендене рыцарем Вигбертом фон Серрат, который был за это колесован<sup>11</sup>. Как показано в вышеназванной статье Х. Браккеля, убийца магистра ни в одной хронике, ни в одном историческом исследовании не носит фамилии (или прозвища) — Серрат. По названию города, откуда он был родом (Soest, de Susate), его иногда называют фон Сосат или фон Соэст, но лишь де-Брэ даёт ему фамилию Серрат. Дело в данном случае разъясняется очень просто: в книге де-Брэ это элементарная опечатка. В помещённом в конце третьего тома списке опечаток к первому тому эта ошибка указана: вместо неправильного написания прозвища Вигберта — de Serrat — дано правильное — de Soest<sup>12</sup>. Бестужев просто-напросто повторил опisku из книги де-Брэ. Итак, взяв за основу факт, в самом общем виде приведенный де-Брэ, Бестужев на его

<sup>11</sup> См. Comte de F. G. Bray, *Essai critique sur l'histoire de la Livonie*, t. I, Dorpat, 1817, стр. 104—105.

<sup>12</sup> Там же, т. III, стр. 416.

основе, не обращаясь, видимо, к другим историческим источникам, строит сюжет, в наибольшей мере раскрывающий передовые идейные устремления будущего декабриста.

Винно фон Рорбах превращается в образ сурового и жестокого тирана, угнетающего покорённых рыцарями крестьян-эстонцев, унижающего личное достоинство людей, оскорбляющего их. Образ Рорбаха, конечно, спроецирован на современность декабристской поры. В нем как бы воплощен деспотизм и русского самодержавия, который держится на крепостном праве, который притесняет, не даёт развиваться, каждодневно оскорбляет свободолюбивую личность в обществе.

Вигберт фон Серрат, наоборот, выступает в роли свободлюбца, борца с тиранией и деспотизмом за своё личное достоинство, защитника угнетённых крестьян.

Бестужев в это время ещё не был формально членом тайного общества, но он уже и в те годы был очень близок по своим взглядам, общественным и литературным интересам к декабристам. Без этого, пожалуй, невозможно понять заключительных фраз повести. Здесь Бестужев говорит, что ненавидит в Серрате убийцу, но в то же время не может отказать ему в сострадании (это едва ли не цензурная форма своеобразного, пусть не полного, оправдания убийства). Однако особенно интересна следующая мысль Бестужева: «Не стало магистра, но власть его осталась, и самосудный убийца, растерзанный муками, погиб на колесе» (45). Здесь, как это давно отметили исследователи<sup>13</sup>, Бестужев показывает, что протест одинокого человека, к тому же направленный не против какой-то определённой системы, а против одного лица, ни к чему привести не может. Индивидуалистического протеста недостаточно — на смену убийце-тирану приходит другой, так как «власть его осталась». В сущности, эти мысли отражают декабристские идеи начала 1820-х гг. К этому времени декабристы уже прошли стадию «Союза спасения», с его идеей индивидуального тираноубийства, и стадию «Союза Благоденствия» с его представлениями о мирной просветительской деятельности, долженствующей, в первую очередь, путём морального «перевоспитания» людей подготовить их к будущему перевороту. Перед декабристами встал вопрос о необходимости создания сравнительно широкой организации дворянских революционеров, которая не путём индивидуального террора, направленного против отдельных лиц, не путём мирной пропагандистской работы, а с помощью заранее подготовленного революционного выступления смогла бы корен-

---

<sup>13</sup> См. об этом: В. Г. Базанов, *Очерки декабристской литературы. Публицистика: Проза. Критика*, М., Гослитиздат, 1953, стр. 314. Т. И. Михалева, *Ранняя беллетристика А. А. Бестужева (1821—1825)*, «Ученые записки Моск. обл. пед. института им. Н. К. Крупской», т. LXXXV, Труды кафедры русской литературы, вып. 6, 1960, стр. 151, и др.

ным образом изменить существующий строй. В этих условиях повествование о протесте свободолюбивой личности против тирании и, вместе с тем, показ недостаточности такого индивидуального выступления приобретали объективно актуальный смысл.

Такой же актуальный смысл приобретала в произведении и резкая критика крепостничества, рабства крестьян. В ту пору в русской подцензурной печати нельзя было говорить прямо о рабстве русских крестьян, столь возмущавшем декабристов. Для критики крепостничества приходилось прибегать к обходным путям — одним из них и был показ тяжёлого положения крестьян в прошлом и к тому же не в России, а в другой стране.

Все эти факты показывают, что «Замок Венден» теснейшим образом связан с русской действительностью декабристской поры, с актуальными общественно-политическими проблемами, волновавшими передовых людей России, в первую очередь, дворянских революционеров. Всё произведение вызвано к жизни именно современностью. Отображение же исторического прошлого Ливонии не занимает сколько-нибудь видного места. Не случайно, конфликт в повести максимально обнажён; конфликт и сюжет «Замка Венден» как бы напоминают абстрактные классицистические построения, почти лишённые живого фона, быта, деталей и конкретных картин прошлого. Исторический колорит почти полностью отсутствует. Повествовательный и описательный моменты, столь важные для исторического романа школы Вальтера Скотта, слабы. Центральное место в произведении занимает диалог и переписка Вигберта фон Серрата и Винно фон Рорбаха. В конце же произведения господствует субъективно-лирическая проза, полная экспрессивных восклицательных и вопросительных конструкций, по своей художественной структуре очень напоминающая прозу Карамзина 1790-х гг.<sup>14</sup> Вообще стиль произведения, как это неоднократно отмечалось в исследовательской литературе, близок к карамзинскому<sup>15</sup> (обратим хотя бы внимание на типично карамзинские инверсии прилагательных-определений, которыми автор, в интересах музыкальности фразы, стремится завершать предложения). Впрочем, в стиле произведения, в его построении заметны уже и черты байронических поэм<sup>16</sup>. Всё это говорит о преобладании субъективно-лирического, можно даже сказать, поэтического начала в повести, что не могло не ограничивать ещё более объективного исторического начала в произведении.

<sup>14</sup> См.: Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой половины XIX в. Лексика и общие замечания о слоге, изд. 2-е, Киев, изд. Киевского университета, 1957, стр. 111.

<sup>15</sup> См. об этом: Н. Коварский, Ранний Марлинский, сб. «Русская проза», Л., «Academia», 1926.

<sup>16</sup> См. об этом: Т. И. Михалева, ук. статья, стр. 137, 139—140, 147—148 и др.

И всё-таки первые проблески историзма, пока ещё едва заметные, при внимательном рассмотрении «Замка Венден» уже можно зафиксировать. Это, во-первых, попытка как-то документировать описанное, доказать читателю его подлинность. Органически ввести исторические факты в художественную ткань произведения Бестужев ещё не умеет — чаще всего историческая документация вводится в произведение в виде подстрочных примечаний. В них имеются и ссылки на исторические источники (стр. 45), и указания на определённые исторические факты, так или иначе связанные с рассказом (38, 43), и объяснения незнакомых исторических слов и понятий (42, 43) или обычаев, нравов древности (39, 41, 42), внешнего вида рыцарей (41). Впрочем, эти подстрочные примечания не всегда дают верное объяснение (так, напр., Бестужев утверждает, что вайделоты — это жрецы и волхвы эстонские, призывающие бога Перкуна на немцев, между тем вайделоты и Перкун — явления латышской, а не эстонской мифологии), что связано с недостаточным вниманием автора к историческим источникам, но сам по себе факт появления таких примечаний, факт ввода в произведение такого рода слов, понятий, исторических фактов и описаний свидетельствует о первом шаге к историзму.

Хотя исторический и местный колорит в произведении и очень слаб, едва заметен, но, если сравнить «Замок Венден» с многими историческими романами конца XVIII — начала XIX вв., он всё же в зачатке есть. Это заметно при описании дворни магистра на охоте, в отдельных деталях писем Серрата и Рорбаха, в описании вечера в магистерском замке, в песне часового на стене и т. д.

Наконец, интересно, что сюжет произведения предваряет небольшой обобщающий отрывок, в котором даётся характеристика эпохи в целом, фона действия повести. Этот приём был блестяще развит В. Скоттом в его исторических романах, он будет позже усвоен именно из произведений английского романиста и русскими писателями. В данном случае говорить о влиянии В. Скотта мы не имеем права — увлечение им Бестужева относится к более позднему времени — но включение такой обобщающей картины эпохи в произведение, тем не менее, показательно в плане выявления первых элементов историзма в творчестве будущего декабриста. К тому же этот отрывок (стр. 38—39) и сам по себе интересен, раскрывая перед нами новую историческую концепцию автора. В нём дана, в общем, верная характеристика исторического прошлого Прибалтики. При этом она вырастает не из внимательного детального изучения источников, а нередко из субъективного взгляда декабриста на прошлое края, общественно-политическими убеждениями, общественной борьбой тех лет. В данном случае мы имеем дело с интересным, почти парадоксальным яв-

нием — субъективистский взгляд декабристов на прошлое Прибалтики мог приводить к объективно верной в главном картине истории края в их произведениях. В. А. Архипов, конечно, не прав, когда он пишет, что «Бестужев проник в суть феодальных отношений и мастерски их изобразил. Его внимание сосредоточено на борьбе городов и купечества с рыцарями, происходившей на фоне незатухающей войны крестьян с феодалами, осложнявшейся в Эстонии тем, что феодалы были пришлыми, иноземцами <...> Прибавив к этому перипетии вражды духовенства и рыцарства, а также борьбу между рыцарями, мимо чего не проходит Бестужев, мы получим полную картину противоречий феодального общества»<sup>17</sup>. Действительно, Бестужев всё это показывает, но это совсем не следствие его проникновения в суть феодальных отношений средневековой Прибалтики, а следствие того, что его субъективный взгляд на это прошлое, обусловленный общественной борьбой 1820-х гг., в чём-то существенном совпал с объективной правдой истории. Это совпадение было во-многом случайным. Оно не основывалось на внимательном изучении источников, на понимании закономерностей истории, её движущих сил.

Отрицательное отношение Бестужева и декабристов к современному крепостному праву приводило их к отрицательному воззрению на феодализм, рыцарство (впрочем, не на всё). Их убеждение в том, что древние народы, находившиеся в естественном состоянии, были мужественны, свободолюбивы, могли в полной мере проявить свои национальные черты, свои лучшие качества, позже уничтоженные рабством и угнетением, заставляло декабристов с симпатией относиться к древним латышам и эстонцам, к их борьбе за свою свободу с немцами-феодалами. К тому же эта борьба в сознании декабристов ассоциировалась с героической борьбой современных греков за свою свободу, вообще с национально-освободительными войнами современности. Примерами борьбы народов прошлого и современности за свою свободу декабристы стремились воодушевить русскую общественность на борьбу против самодержавия и крепостничества. Отсюда и их интерес к такого рода выступлениям в Прибалтике.

При оценке декабристского взгляда на историю Прибалтики нельзя забывать и о резко отрицательном отношении передовых русских людей 1810—20-х гг. к остзейским немцам, наиболее реакционной силе в России, поддерживавшей самодержавие, захватившей ведущие посты в армии и правительстве. Декабристов возмущало предпочтение, оказываемое Александром I

---

<sup>17</sup> В. Архипов, А. А. Бестужев — критик и литературная борьба 20-х годов XIX века (1818—1825). Автореферат кандид. диссертации, М., 1950, стр. 7.



немцам, его любовь к выходцам из Остзейского края<sup>18</sup>. Ненависть передовых русских людей декабристской поры к остзейским немцам сказалась и в документах проектируемого М. А. Дмитриевым-Мамоновым Ордена русских рыцарей<sup>19</sup>, и в методах агитации за вступление в «Союз Спасения», который объявлялся Муравьевыми «врагом всякой немчизны», обществом для противодействия немцам, находящимся на русской службе<sup>20</sup>. Наиболее ярко эта ненависть проявилась в агитационно-сатирической песне Рылеева и Бестужева «Царь наш, немец русский». Неприязнь к немцам разделяли и широкие круги русской общественности, составлявшие близкую или далёкую периферию декабристского движения<sup>21</sup>. Всё это не могло не накладывать определённого отпечатка на изображение остзейских рыцарей, установленного ими в Прибалтике строя и в произведениях декабристов на ливонскую тему.

Такого рода убеждения помогали декабристам более последовательно и чётко воспринимать внутреннюю борьбу в Прибалтике в прошлом, более прямо и резко выражать свой взгляд на неё, свою симпатию к угнетённым эстонцам и латышам и неприязнь к остзейским баронам. Определённая и смелая оценка исторического прошлого Прибалтики, борьбы двух основных сил в её истории объективно приводила к такому взгляду на это прошлое, на социальную и национальную борьбу в нём, который совпадал в ряде моментов с правдой истории. Так постепенно вырабатывалась историческая концепция декабристов, объективно противостоявшая господствовавшим в прибалтийской историографии воззрениям, защищавшим интересы остзейских баронов, оправдывавшим установленный ими особый остзейский режим угнетения коренного населения.

Следующий, впрочем, ещё очень небольшой шаг в развитии исторической темы в прозе декабристов представляет повесть Н. А. Бестужева «Гуго фон Брахт» (написана, вероятно, в 1822 г., напечатана в 1823 г.), в которой особенно интересным является своеобразие значительно усилившегося местного или исторического колорита, что свидетельствует о дальнейшем росте историзма.

Н. Бестужев шёл несколько впереди прочих декабристов-литераторов в области общественно-экономических теорий в по-

<sup>18</sup> См.: А. А. Бестужев, Письмо к имп. Николаю I об историческом ходе свободомыслия в России, в сб.: М. В. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, стр. 129. Ср.: М. Горький, История русской литературы, М., 1939, стр. 88.

<sup>19</sup> См. Из писем и показаний декабристов, под ред. А. К. Бороздина, СПб, 1906, стр. 152.

<sup>20</sup> См. Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина, М.—Л., изд. АН СССР, 1951, стр. 11.

<sup>21</sup> См. об этом: Ник. Кутанов, Декабрист без декабря, сб. «Декабристы и их время», т. II, М., 1932, стр. 234—235.

нимании истории. Но, как и другие декабристы, он всё же был далёк от подлинного историзма. Хотя особых отклонений от исторической правды в повести «Гуго фон Брахт» нет, наоборот, историко-географические детали произведения верны, но вопрос, собственно, не в этом — Н. А. Бестужев даже и не ставит своей целью воссоздать подлинную историю, для него, в первую очередь, повесть — это «происшествие XIV столетия», где ярко проявились сильные характеры, где эффектные страсти, в общем, история — материал для романтического произведения.

Правда, первые шаги к историзму здесь, как и в «Замке Венден», уже сделаны — сюжет повести соотнесён с определённой эпохой, видно стремление к исторической точности в деталях с целью воссоздания определённого исторического колорита, наконец, важным моментом является появление исторического комментария — примечаний, помещённых за текстом повести и долженствующих подтвердить достоверность описываемого (правда, примечания, в основном, носят характер не столько исторического, сколько географического и этнографического комментария). Кстати, с этим связан и такой приём в повести, в это время развитый Вальтер Скоттом в его романах: чтобы придать описываемому характер действительно имевшего место события, автор заявляет, что он лишь передаёт в своём произведении чужой рассказ, обычно рассказ знатока древности<sup>22</sup>.

И всё же мы вправе были бы ожидать в «Гуго фон Брахте» более глубокого историзма от Н. А. Бестужева, автора «Записок о Голландии» и «Опыта истории русского флота», рано начавшего задумываться над ролью народа и экономических факторов в истории. Не подлежит сомнению, что вопрос о народе в какой-то отдалённой перспективе вставал перед Н. А. Бестужевым и при написании «Гуго фон Брахта». И тем не менее, эти размышления писателя о судьбах и роли народа в истории, эти передовые исторические взгляды автора и его опыт ученого-историка в повести отразились очень слабо. Причину этого надо искать в отрицательном влиянии романтического субъективизма: типичное для романтизма внимание к сильной личности, индивидуальности, эффектным необыкновенным положениям и сюжетным ситуациям, набор определённых мотивов при обрисовке персонажей, лирическая манера повествования — все это увело писателя от подлинного историзма в общем-то условный мир романтических героев и страстей.

Декабризм автора проявился в повести «Гуго фон Брахт» в характерном для всех декабристских произведений об Эстонии отрицательном отношении к немецкому рыцарству, основному

---

<sup>22</sup> Н. А. Бестужев, впрочем, не развивает этого приема, как Вальтер Скотт, он лишь ограничивается коротким примечанием: «Один соседственный помещик передал мне сию повесть почти в этом виде».

угнетателю эстонского народа, и в понимании тяжёлого положения эстонцев, в сочувствии к ним, в попытках выступить в их защиту. Именно такое отношение к двум антагонистическим лагерям прошлого мы видим у Н. А. Бестужева, в первую очередь, на примере изображения разбойничества.

Но в то же время на примере изображения разбойничества мы видим и другую сторону декабристского мировоззрения Н. А. Бестужева — ограниченность его. Декабристы были *дворянскими* революционерами, они стремились облегчить положение народа, добиться его освобождения, но, однако, без участия самого народа. Декабристы боялись открытых народных движений, им классово чуждых. И это не могло не сказаться на отображении разбойников и в «Гуго фон Брахте». Ведь разбойничество — это народное движение, это открытый активный протест массы, который неприемлем для декабристов. И вот разбойники характеризуются как «злодеи», у них «клятвы и хулы иступления» и т. д. Бесправие, жестокость, насилие над личностью, невозможность для простых людей добиться счастья — всё это характерно и для среды феодалов и для «черни»: положительные герои повести Генрих и Ида в детстве были оторваны от родного дома, проданы в рабство жестоким и коварным феодалом Келлером, теперь же на пути их к простому человеческому счастью стали разбойники. Здесь своеобразно сближается феодальное угнетение и своеволие «черни», как явления одинаково неприемлемые для автора, противоречащие его идеалам. Характерно, что такое же отношение к народной массе как к буйной черни, способной на всякое преступление, мы видим и в «Записках о Голландии». Н. А. Бестужев резко отрицательно относится к самодержавию — штатгальтерам, искренне сочувствует голландским республиканцам в их борьбе с самодержавием. Но почему монархия всё-таки утвердилась, а лучшие республиканцы погибли? Потому, — отвечает Н. А. Бестужев, — что чернь, обманутая штатгальтерами, поддержала самодержавие, даже растерзала несколько замечательных республиканцев.

Но всё-таки отношение автора к разбойникам, в целом, двойственно и противоречиво. Автор понимает справедливость мести разбойников; причины, приведшие людей в разбойничью шайку, ему ясны. Разбойники для Н. А. Бестужева совсем не мрачные бандиты-убийцы: они способны на добрые чувства, именно у них Гуго фон Брахт «нашёл сострадание», которого он не смог найти среди феодалов; когда Генрих, выдавая себя за потерпевшего бедствие разбойника Ральфа, приходит в замок Гуго, то простые разбойники радостно встречают его и т. д. И в то же время Н. А. Бестужев отрицательно относится к методам их протеста, к их жестокости. В этом сказалась, в какой-то степени, внутренняя противоречивость декабризма.

При изображении разбойников в повести Н. А. Бестужева «Гуго фон Брахт» мы встречаемся ещё с одной интересной чертой, тоже связанной с принципами декабристской литературы. Это не очень многочисленные, но зато характерные описания обычаев и обрядов эстонцев. Именно здесь мы видим некоторый шаг вперёд в обрисовке прибалтийской действительности прошлого по сравнению с «Замком Венден» А. А. Бестужева.

Как известно, проблема «местного колорита», смыкавшаяся с вопросом об отображении национального характера в литературе, встала именно перед гражданским романтизмом преддекабристского и декабристского толка. При этом у представителей гражданского романтизма эта проблема объединилась с политическим вольномыслием, стала его выражением<sup>23</sup>.

Н. А. Бестужев в своей литературной деятельности не мог не заинтересоваться проблемой «местного колорита» и национального характера. В переводе «Обожатели огня» из Мура он пытается решить проблему «восточного стиля». Но особенно интересны его поиски в «Записках о Голландии»: здесь он пытается не только воссоздать в художественном произведении национальный характер голландцев, но и показать его истоки, причины, изменения. Национальный характер голландцев выработался в силу определённых исторических условий прошлого Нидерландов и менялся в зависимости от изменения этих условий, хотя, впрочем, основа характера сохранялась. Эта мысль в ту пору была, в известной степени, новаторской.

Есть основание предполагать, что повесть «Гуго фон Брахт» была задумана с целью в какой-то степени воссоздать этнографические особенности жизни эстонцев в прошлом, т. е. в какой-то мере разрешить проблему «местного колорита» и национального характера эстонцев (и то и другое разрешалось в ту пору, главным образом, на материале этнографическом). Во всяком случае, полностью не дошедший до нас первоначальный вариант произведения, зачитанный на заседании Вольного общества любителей российской словесности 20 марта 1822 г., носил название «Гуго (эстонское предание)». Подзаголовки же типа «эстонское предание» обычно в литературе 20—30-ых гг. прилагались к произведениям, насыщенным «местным колоритом», этнографическими описаниями, к произведениям, где делалась попытка воссоздать характерные черты определённого народа или группы народов. С этнографическими описаниями обрядов и обычаев мы встречаемся и в печатном тексте повести 1823 г., но этих описаний немного, и, очевидно, не случайно Н. А. Бестужев изменил название произведения: «Гуго (эстонское предание)» превратилось в «Гуго фон Брахт. Происшествие XIV столетия».

<sup>23</sup> Подробнее об этом см.: Г. А. Гуковский, Пушкин и русские романтики, Саратов, изд. Саратовского университета, 1946.

Но, как бы ни были малочисленны эти этнографические описания, они очень интересны, ибо явно несут на себе следы декабристского восприятия исконных национальных особенностей того или иного народа, — эти описания обычаев и обрядов эстонцев должны создать представление о храбром, свободолюбивом, мужественном народе, не смирившимся с угнетением. Как известно, декабристы именно в таком плане воспринимали и оссианизм<sup>24</sup>, и древние нравы и обычаи русских и т. д.

Описание клятвы разбойников в «Гуго фон Брахте» снабжено примечанием: «Ливы и Эстонцы, ненавидя притеснителей своих Немцев, полагали на гробы умерших несколько пищи и приговаривали: «Ступайте, несчастные, из сей обители страданий в лучший свет, где не вы Немцам, но они вам служить будут»»<sup>25</sup>. Но, быть может, наиболее показательно описание обряда принятия клятвы: «Положа руки на мёртвую голову, под которую лежит широкий нож, датчанин повторяет страшную клятву <...> Прерывистый голос смятения сердечного делает оную ещё страшнее. Для утверждения разрезывает себе руку, орошает кровию поверженный на полу меч и проходит по нему трехкратно босыми ногами» (стр. 25). Хотя к этому месту и сделано примечание из «Лифляндской хроники», изданной историком Арндтом, «эстонцы утверждали клятвы свои, проходя по обнаженному мечу» (стр. 33), но в этом обряде принятия клятвы много романтически-традиционного, в частности, заимствованного из образов оссиановской поэзии. О воссоздании подлинных обрядов и обычаев древних эстонцев здесь можно говорить лишь с известными (и немалыми) оговорками, но нам важно подчеркнуть другое — через эти описания создаётся представление о воинственном и мужественном народе, сохранившем и в рабстве мечты о свободе. А такое представление, ещё раз повторяем, характерно именно для декабристской литературы в широком смысле.

Но эти этнографические подробности важны и, в другом отношении: они важны как вехи на пути преодоления романтического субъективизма. На это давно обратили внимание исследователи творчества А. С. Пушкина, анализировавшие его южные поэмы, в частности, «Кавказский пленник», где «субъекти-

<sup>24</sup> Между прочим, Н. А. Бестужев при создании в повести «местного колорита», в общем-то довольно слабого и очень общего, не конкретизированного, прибегает иногда к характерным чертам оссиановской северной, мрачной природы, оссиановской тональности (на это обратил внимание Ю. С. Сорокин в статье «Исторический жанр в прозе 30-ых гг. XIX в.», «Доклады и сообщения филологического факультета МГУ», вып. 2, 1947, стр. 36—37). Для Н. А. Бестужева, очевидно, оссиановский колорит не противоречит этнографическому описанию обрядов и обычаев эстонцев, ибо эстонцы тоже принадлежат к народам, образующим цикл северной культуры, т. е. оссианизм.

<sup>25</sup> «Соревнователь просвещения и благотворения», 1823, ч. 22, стр. 32—33 (в дальнейшем все цитаты даются по этому изданию с указанием страницы прямо в тексте).

вистская система уже взрывалась изнутри объективным изображением этнографического материала, описанием жизни кавказских горцев и объективным пейзажем»<sup>26</sup>. Путь объяснения чужой культуры, души человека как объективного факта, пишет Г. А. Гуковский, «был таков: сначала явилось объяснение этнографическое, ещё связанное с романтическим, затем — историческое — и здесь уже сформировался реализм»<sup>27</sup>. Повесть «Гуго фон Брахт» стоит лишь в самом начале этого пути к реализму: здесь не только ещё отсутствует историческое объяснение характера людей и мира другой нации, но здесь ещё очень слаб и момент этнографический<sup>28</sup>. И всё-таки некоторый шаг вперёд по сравнению с «Замком Венден» А. А. Бестужева здесь есть.

Вторая из «ливонских» повестей Бестужева-Марлинского — «Замок Нейгаузен» — также знаменует собой известное продвижение вперёд в смысле развития историзма. Правда, при поверхностном взгляде на повесть может даже показаться, что в плане идейном она представляет шаг назад — так называемые декабристские мотивы, по крайней мере, внешне, в произведении отсутствуют; в нём можно заметить лишь самое общее выражение прогрессивных идей в такой форме, в которой нет ничего специфически декабристского. Нет здесь критики крепостничества, нет картин тяжёлого положения народа, классовых или национальных столкновений. Сюжет и главные герои очень традиционны. Шаг вперёд в «Замке Нейгаузен» в другом — если в «Замке Венден» мы имели, так сказать, «обнажённый» конфликт, почти лишённый исторической конкретности и «местных» красок, то в новой повести А. А. Бестужева сюжетная рама всё же наполняется конкретным материалом, появляется нечто вроде исторического колорита, пусть чисто внешнего.

Повесть «Замок Нейгаузен» была опубликована в «Полярной звезде» на 1824 год (дата цензурного разрешения — 20. XII. 1823) и, видимо, написана незадолго до публикации в 1823 г. Во всяком случае ещё 3. IX. 1823 Бестужев писал сёстрам: «Полярная звезда собирается. Виньетки гравировуются — только я почти ничего не сделал — надобно спешить»<sup>29</sup>.

Сюжет повести является плодом авторской фантазии. Но действие точно соотносено с определённой эпохой и определёнными событиями. «Эпохою своей повести избрал я 1334 г., заметный в летописях Ливонии взятием Риги герм. Эбергардом

<sup>26</sup> Г. А. Гуковский, вышецит. соч., стр. 237.

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> Характерно, что Гуго фон Брахт и Генрих фактически никакими национальными чертами не наделены — это люди вообще, воплощение определенных общечеловеческих черт характера.

<sup>29</sup> «Памяти декабристов», I, Л., 1926, стр. 41.

фон Монгеймом у епископа Иоанна II; он привел её в совершенное подданство, взял с жителей дань и письмо покорности (Sönebref), разломал стену и через нее въехал в город. Весьма естественно, что беспрестанные раздоры рыцарей с епископами и неудачи сих последних должны были произвести в партии рижской желание обессилить врагов потаенными средствами» (67), — пишет А. А. Бестужев. Таким «потаенным средством» борьбы с орденом рижская партия избрала Тайное судилище, с помощью которого Ромуальд фон Мей и расправляется с Эвальдом фон Нордеком, обвиняя последнего в изменнических сношениях с русскими и в святотатстве при захвате монастыря Дюнамунде. Тайный суд, возглавляемый фрейграфом Аренсбурга Оттокар фон Оснабрюк, братом Эзельского епископа Германа III, осуждает Эвальда на смерть. Такова в самых общих чертах историческая основа повести.

Но опять и здесь Бестужев не слишком внимательно отнёсся к историческим фактам, положенным им в основу произведения. Взятие Риги орденскими войсками во главе с магистром Эбергардом фон Монгейм произошло не в 1334 г., а в 1330 году, и рижским архиепископом в это время был не Иоанн II, а Фридрих (1304—1341). Герман II (а не третий, как у Бестужева) Озенбругге (у Бестужева — Оснабрюк) стал епископом эзельским несколько позже, в 1338 г. Замок Нейгаузен (здесь имеется в виду Нейгаузен на русской границе, ныне Вастселийна), которым названа повесть и в котором происходит большая часть действия её, не мог существовать ещё в эти годы — его строительство началось лишь в 1341 г. Приведённая Бестужевым дата основания замка — 1277 г. (92) — неверна — автор здесь спутал Нейгаузен на русской границе с Нейгаузеном на литовской, в земле семигалов, действительно построенном в 1277 г. Неверно и утверждение Бестужева, что в 1286 г. рижский епископ Фехтен в борьбе с орденским магистром Думпелагеном соединился с литовским князем Витовтом. Во-первых, это произошло не в 1286 г., а в 1294—95 гг., а во-вторых, литовским князем в это время был Витен. Наконец, исторически совершенно неверным оказывается и такой играющий немаловажную роль в развитии сюжета факт, как штурм и сожжение орденскими войсками монастыря Дюнамунде в войне с рижской партией, во главе которой стоял архиепископ. По повести, Эвальд был первым при штурме монастыря и показал при этом чудеса храбрости, что послужило одним из обвинений его в святотатстве и «расхищении святыни» со стороны Тайного судилища. На самом деле орден давно приобрел в свои руки монастырь Дюнамунде и, наоборот, рижане неоднократно нападали на него, стремясь захватить этот важный оплот ордена, с помощью которого тот мог держать Ригу в повиновении. Таковы некоторые исторические неточности, допущенные Бестужевым. При этом

существенно, что их нельзя объяснить и ошибками в источниках, которыми пользовался Бестужев. У де Брэ, в основном (за малым исключением), изложение событий правильное. Следовательно, эти исторические неточности объясняются просто невниманием Бестужева к исторической достоверности описываемого, его убеждением в том, что главным в художественном произведении является авторская фантазия, субъективные авторские построения.

Впрочем, при оценке историзма Бестужева даже не эти отступления от исторической достоверности являются основными. Значительно более существенно, что действующие лица повести совершенно не наделены специфическими чертами людей XIV в., не являются порождением исторической действительности тех лет. Даже и вопрос об этом не ставится. Герои повести — люди вообще, наделённые извечными, по мнению Бестужева, чертами характера, столь же типичными для человека современности, как и для человека прошлого. В произведении Бестужева даже нет намёка на представление о своеобразии психологии людей XIV в. К тому же характеры действующих лиц даны в обычном для Бестужева гиперболизированном плане: это люди необыкновенные, с пылкими страстями, с бурей чувств в душе. Ромуальд фон Мей — мрачный бездушный человек, способный на любую подлость ради претворения в жизнь своих эгоистических целей. Он не брезгает предательством, обманом и даже идёт на тайное убийство лишь ради того, чтобы сделать жену Нордека своей любовницей. Причём Ромуальд — человек с демоническими страстями, которому доставляет удовольствие пролитие крови и жестокость. Эвальд фон Нордек — честный и благородный рыцарь, легко поддающийся обману в силу открытого характера и вспыльчивого нрава — дан, правда, в менее гиперболизированном плане, но и он человек ярких чувств и по-своему сильного характера. Такие люди были в древности, считает Бестужев, есть они и сейчас, хотя, быть может, и не в столь ярком проявлении. Интересен в этом отношении ответ Бестужева на замечание Вяземского. Вяземский, прочитав «Замок Нейгаузен», писал декабристу 12. I. 1824 г.: «В сказке Вашей есть места прекрасные; но не люблю немецких шуток садовника и немецкого самохвальства в злодействе. Подобные лица в свете не встречаются, а только в драмах немецких и мелодрамах французских»<sup>30</sup>. Бестужев ответил Вяземскому: «За немца моего немного заступлюсь, ибо знаю и чувствую в природе человеческой подобные страсти, а писал это по внушению сердца и не в подражание Шиллеру, следственно, оно не могло меня увлечь вне природы». Правда, он тут же добавил — «век мною взятый представлял тому тысячные примеры, и я могу

<sup>30</sup> «Русская старина», 1888, ноябрь, стр. 322—323.



подкрепить это историческими доводами»<sup>31</sup>, но совершенно ясно, что главным в этом рассуждении остаётся: «знаю и чувствую в природе человеческой подобные страсти». Эти страсти свойственны и людям современности (не случайно их знает и чувствует автор), они были и у людей прошлого — это извечные страсти человечества.

Но было бы неверным этим ограничиться в нашем анализе. Прогресс по сравнению с «Замок Венден» здесь всё же есть. Он в многочисленных деталях и более подробных описаниях исторического быта в широком смысле этого слова: и в описаниях замка, одежды рыцарей и новгородца Всеслава, обстановки и церемониала Тайного судилища, в кое-каких исторических фактах и т. д. То, что мы в зачатке отмечали в «Замке Венден», здесь уже более развито, более ощутимо. Не случайно, если при чтении «Замка Венден» создаётся впечатление абстрактности повествования, ощущается отсутствие живых картин прошлого, то «Замок Нейгаузен» такого впечатления не производит. Правда, говорить о появлении здесь исторического колорита, сходного со знаменитым романтическим «*couleur locale*», здесь ещё преждевременно — шаг вперёд сравнительно с первой из «ливовских» повестей Бестужева ещё не настолько велик. Исторический колорит в том значении, как он встречается, скажем, в романах В. Скотта, появится у Бестужева лишь в «Ревельском турнире», но «Замок Нейгаузен» непосредственно подводит к этому произведению.

Если говорить о характере исторического мышления Бестужева в «Замке Нейгаузене», то оно, видимо, ближе всего к системе воззрений Сисмонди в его исследованиях истории и литературы Италии. Как отмечает проф. Б. Г. Рейзов, для Сисмонди обычна модернизация истории. Исторического колорита у него ещё нет. Сисмонди не в состоянии представить себе «другую культуру», воспроизвести психологию человека иной эпохи. Его герои, как герои классических историков, — люди без признаков времени, по существу, современные автору. Однако драматический интерес и вместе с тем историческую конкретность придают им точно выписанные фактические условия и обстоятельства, в которых они действуют. В максимальной конкретизации повествования отличие Сисмонди от старых историков. Фактические подробности придают его сочинениям ту конкретность, которая внешне напоминала «местный колорит» романтиков. При этом подлинная природа описываемых Сисмонди исторических процессов остается ему непонятной, история представляется борьбой добра со злом<sup>32</sup>. На этой же ступени историче-

<sup>31</sup> ЛН, т. 60, кн. I, 1956, стр. 212.

<sup>32</sup> См. Б. Г. Рейзов, Французская романтическая историография (1815—1830), Л., изд. ЛГУ, 1956, глава II.

ского мышления находится здесь и Бестужев. Но нельзя не заметить, что Сисмонди стоит уже у порога новой романтической историографии, так же закономерно Бестужев придёт к «Ревельскому турниру», произведению, во многом, нового типа.

Проблематику «Замка Нейгаузен» исследователи обычно сводят к выявлению и критике нравственных устоев рыцарства<sup>33</sup>, другие находят здесь даже разоблачение феодальных отношений, изуверства и стяжательства рыцарей и проповедь свободы человеческой личности<sup>34</sup>. Это не то, что бы не было верным, но такого рода утверждения несколько прямолинейно, односторонне характеризуют проблематику повести.

Конечно, здесь есть элемент критики феодализма, средневекового рыцарства. Не случаен интерес и Н. А. Бестужева в «Гуго фон Брахте» и Марлинского в «Замке Нейгаузен» к Тайному судилищу, этому пугалищу средних веков, «превратившемуся, — по словам последнего, — в скопище разбойников, влекомых корыстью или мщением» (76). Тайное судилище в произведениях братьев Бестужевых превращается в своего рода символ господствующего в эпоху феодализма насилия, угнетения личности, стеснения её прав, унижения человеческого достоинства. Это судилище стало орудием обогащения и корысти в руках наиболее жестоких и алчных рыцарей-эгоистов, лишённых благородства и забывших о рыцарских заветах. С помощью такого суда коварные рыцари тайно расправляются со своими личными или политическими противниками. Эпоха средневековья выписана и в «Гуго фон Брахте» и в «Замке Нейгаузен» в мрачных трагических тонах, полна страшных убийств, оскорблений и преследований чистых благородных людей, тайных преступлений.

Но, вместе с тем, в эпохе средневековья, среди рыцарей Бестужев видит и сильные, яркие характеры с необыкновенными страстями и кипучими чувствами. Среди рыцарей есть мрачные и лишённые каких-либо положительных качеств убийцы и разбойники, но есть и не менее яркие положительные типы, сверхблагородные герои, вся незаурядная сила которых направлена на защиту добра и справедливости. Таков — Вигберт фон Серрат в «Замке Венден», таков, в известной мере, и Эвальд фон Нордек в «Замке Нейгаузен». Поэтому было бы глубоко неверным считать, как это делает В. Г. Базанов, Бестужева врагом рыцарей вообще, критиком рыцарства в целом. Это, конечно, не так. Для Бестужева, хотя в эпоху средневековья и преобладает мрачный колорит, господствует зло, неправда, но и здесь, как в любую другую эпоху, происходит борьба добра и зла, «плохих»

<sup>33</sup> См. В. Г. Базанов, Очерки декабристской литературы, стр. 315; Т. И. Михалева, ук. статья, стр. 154.

<sup>34</sup> См. вступит. статью Н. Н. Маслина к книге: А. А. Бестужев-Марлинский, Сочинения в двух томах, т. I, стр. XXVII.

и «хороших» рыцарей. У писателя ещё нет социальных критериев в оценке злого и доброго начал в жизни, поэтому он не думает противопоставлять «плохим» рыцарям, скажем, «хороших» представителей народа. Лишь в «Ревельском турнире» дворянину будет противопоставлен купец, но характерно, что уже в следующей повести — «Замок Эйзен» — Бестужев опять вернётся к противопоставлению одного рыцаря другому. Сам же В. Г. Базанов совершенно справедливо заметил, что декабристская ограниченность Бестужева заставляла его прятать народ за кулисы исторических событий, не допускать его до открытых столкновений с рыцарями, у «Бестужева дворяне сами сводят счеты друг с другом»<sup>35</sup>. Но из этого закономерно следует, что благородные рыцари типа Нордека не являются исключением для Бестужева, как пытается утверждать Базанов. Наоборот, они такое же закономерное явление, с его точки зрения, как и «злые», коварные рыцари типа Мея.

Вообще А. А. Бестужеву свойственен в этой повести романтический взгляд на рыцарство. В представлении декабриста своеобразный мир рыцарства так же ярок и по-своему прекрасен, оригинален (в круг романтических представлений о прекрасном, конечно, входит и понятие оригинальности; необычности, колоритности), как и экзотический мир кавказских горцев, столь восхищавший русских романтиков 1820—30-х гг. и отразившийся в одной из характернейших тем русского романтизма — кавказской. Ср. характерное признание героя произведения Бестужева «Часы и зеркало (Листок из дневника)»: «Я, как умел, вернее старался изобразить ей ужасающие красоты кавказской природы и дикие обычаи горцев, этот досель живой обломок рыцарства, погасшего в целом мире. Описал жажду славы, по их образцу созданной; их страсть к независимости и разбою; их невероятную храбрость, достойную лучшего времени и лучшей цели»<sup>36</sup>.

В отношении Бестужева к рыцарству было и много личного, автобиографического. Не случайно сам Бестужев производил на окружающих впечатление какого-то рыцаря, чего-то необычного. Ф. Н. Глинка показал на следствии: «Александр Бесту-

<sup>35</sup> В. Г. Базанов, Очерки декабристской литературы, стр. 320.

<sup>36</sup> А. Марлинский, Второе полное собрание сочинений, т. II, ч. IV, СПб., 1847, стр. 153, с проверкой по рукописи — РО ИРЛИ, ф. 604, № 25, л. 6. Небезынтересно в этой связи сравнить одно замечание А. А. Бестужева из письма к брату Павлу от 10. IV. 1828: «Около тебя народы дикие — на блюдай их нравы; страсти везде одинаковы, хотя цель и выражение их различны; и потому-то, приучась глядеть на них в первобытной наготе и искренности, ты будешь угадывать людей и сквозь светский покров образованности» («Былое», 1925, № 5(33), стр. 117, с проверкой по рукописи — РО ИРЛИ, ф. 604, № 5(5574), л. 6). Это замечание ещё раз подтверждает, что для Бестужева человеческие страсти, психология вечны и в общем-то неизменны — они одни и те же и у рыцарей, и у диких горцев, и у современной аристократии.

жев, человек с головою романтической <...> Я ходил задумавшись, а он — рыцарским шагом и, встретясь, говорил мне: «Воевать! воевать!» Я всегда отвечал: «Полно рыцарствовать! живите смирнее!» И впоследствии всегда почти прослышивалось, что где-нибудь была дуэль и он был секундантом или участником»<sup>37</sup>.

Кстати, взгляд А. А. Бестужева на эпоху средневековья и рыцарей совсем не так уж далек от представлений В. Скотта, хотя последний, без сомнения, гораздо глубже понимал прошлое и историзм его романов нельзя сравнить с историзмом «Замка Нейгаузен». Но и В. Скотту свойственно представление о рыцарском средневековье, как о мрачной эпохе, где господствуют тёмные силы, зло и неправда, но, в то же время, где действуют сильные и яркие индивидуумы. Для романов В. Скотта характерно также противопоставление «хороших» благородных рыцарей — «злым», лишённым качеств истинных рыцарей, причём это деление не идёт по линии социальной. Напомним хотя бы о персонажах «Айвенго» — этого типично вальтер-скоттовского «рыцарского» романа: с одной стороны, благородные рыцари Айвенго, Ричард Львиное сердце, а с другой — Реджинальд Фрон де Беф, Бриан Буагильбер, принц Джон, Морис де Браси и др. — насильники, хищные приобретатели, мало чем отличающиеся от бандитов.

Большие споры в последнее время вызвал вопрос о влиянии на «ливонские» повести Бестужева готического романа. Ещё Н. Коварский утверждал, что Бестужев в своём раннем творчестве испытал влияние романов «тайны и ужаса», получивших широкое распространение в Западной Европе и в России в начале XIX в.<sup>38</sup> Это положение было поддержано Н. Л. Степановым<sup>39</sup> и Н. И. Мордовченко<sup>40</sup>. Против него в последнее время решительно выступили В. А. Архипов<sup>41</sup> и В. Г. Базанов<sup>42</sup>. Как нам представляется, влияние готического романа действительно имело место в «Замке Венден» и «Замке Нейгаузен» А. А. Бестужева и, быть может, особенно в «Гуго фон Брахте» Н. А. Бестужева. Но это влияние было более внешним, нежели глубоким — писатели воспринимали больше всего сюжетные ходы и построения, некоторые черты в обрисовке героев. Использование сюжетных схем готического романа Бестужевым, чтобы ни говорили Архипов и Базанов, на наш взгляд отрицать труд-

<sup>37</sup> Цит. по книге: В. Базанов, Поэтическое наследие Федора Глинка, Петрозаводск, Госиздат К.-ФССР, 1950, стр. 83.

<sup>38</sup> См. сб. «Русская проза», ук. статья, стр. 153—154.

<sup>39</sup> См. «Литературная учёба», 1937, № 9, стр. 39.

<sup>40</sup> См. А. А. Бестужев-Марлинский, Полное собрание стихотворений, Л., «Сов. писатель», 1961 [Большая серия «Библиотеки поэта»], вступит. статья, стр. 35.

<sup>41</sup> См. В. А. Архипов, ук. автореферат диссертации, стр. 6.

<sup>42</sup> См. В. Г. Базанов, Очерки декабристской литературы, стр. 312—313.

но, тем более, что в данном случае мы имеем дело не с отдельными сюжетными ходами, а с их своеобразным и достаточно специфичным набором, системой.

За всеми высказываниями В. А. Архипова и В. Г. Базанова стоит мысль о том, что признание влияния готического романа принизит декабристскую идейность произведений Бестужева, их историческую ценность. Но это, конечно, не так. Во-первых, как мы уже отметили выше, не приходится говорить о влиянии на Бестужева философской системы готического романа, сущности его художественной структуры. Влияние это было более внешним. Во-вторых, как это давно отметили исследователи на примере В. Скотта, использование отдельных сторон романов «тайны и ужасов» отнюдь не препятствует углублению в суть истории, росту историзма. При этом показательно, что В. Скотт также, в основном, использует опыт авторов готических романов при построении сюжета, в композиции, при обрисовке отдельных действующих лиц, между тем как художественная структура этих романов, базирующаяся на определённой философии, ему чужда<sup>43</sup>.

Значительным шагом вперёд в развитии ливонской темы в творчестве декабристов была повесть В. К. Кюхельбекера «Адо». Если в «Замке Венден» и в «Замке Нейгаузен» да и в позднейшем «Замке Эйзен» Бестужев «плохим» рыцарям противопоставляет «хороших», если он даже в своей лучшей «ливонской» повести — «Ревельском турнире» — сталкивает рыцаря и купца — всё же представителей господствующей в Прибалтике немецкой верхушки, то Кюхельбекер в центр произведения ставит борьбу угнетённого *эстонского народа* против рыцарей-поработителей. Он сталкивает в своём произведении представителей двух классов-антагонистов; в противоположность Бестужеву, он не боится вывести на первый план *народ*. его представителей, показать массу в борьбе с угнетателями. Правда, классовый подход к историческим явлениям Кюхельбекеру чужд, до такой высокой ступени историзма он не поднялся. Борьба эстонцев в «Адо», как некогда и восстание Юрьевой ночи 1343 г. в «Поездке в Ревель» Бестужева, мыслится Кюхельбекером, конечно, как война национально-освободительная, как война древних эстонцев за свою свободу, против поработителей-немцев. Но автор повести полон глубочайшего восхищения героической борьбой народа, мужеством беззаветных сынов вольности типа Адо, Нора, Май. Перед этой героической борьбой, ради которой герои готовы пожертвовать всем, даже жизнью, любовь отступает на второй план — столь типичная для повестей Бестужева любовная интрига в «Адо» играет второстепен-

<sup>43</sup> Об использовании В. Скоттом традиций готического романа см.: Б. Г. Рейзов, Вальтер Скотт и проблема исторического романа в первой трети XIX в., «Литерат. учеба», 1935, № 4, стр. 48—50.

ную роль да и она подчинена основному: показу мужественной борьбы древних эстонцев за свободу своей родины. При этом, хотя героическая борьба эстонцев и приобретает отчётливо декабристский смысл, но прямых аллюзий её описание не содержит.

Кюхельбекер не знает всё же свойственной в какой-то мере Бестужеву романтической идеализации средневековья<sup>44</sup> (быть может, единственное исключение — образ певца, но он в произведении, в первую очередь, носитель лирического авторского начала, авторских представлений о поэте и поэзии, и интересен главным образом с этой стороны). Рыцари предстают в «Адо» лишь как жестокие и коварные поработители. Авторское обобщение — «Посреди каждого двора рыцарского находились плаха и топор. Каждый помещик, не относясь ни к кому, мог без всякого суда предавать смерти любого своего подданного, навлекшего на себя его негодование»<sup>45</sup>, — относится не только к «плохим», но и ко всем рыцарям. Нет в «Адо» и попытки воссоздать «рыцарский» колорит — романтику замков, турниров, пиров и тайных судилищ.

Зато в произведении ярко — сравнительно с «ливонскими» повестями Марлинского — выдержан национальный колорит. В этом отношении «Адо» развивает дальше то, что было только намечено в «Гуго фон Брахте» Н. А. Бестужева. Впрочем, этот национальный колорит опять же носит, в основном, внешний характер — он сводится к попыткам отобразить, в первую очередь, этнографическую сторону жизни древних эстонцев. Проблема национального характера в «Адо» в общем-то ещё не стоит. Но существенно уже стремление Кюхельбекера ввести в произведение древний эстонский фольклор, кое-какие черты мифологии эстонцев былых времён, их религиозных представлений и т. д. Правда, если при воссоздании одежды, мифологии и географии древней Эстонии автор основывается на фактах, заимствованных им или из исторических источников или из собственных наблюдений над жизнью современных эстонцев, то при попытках дать образцы эстонского фольклора он больше полагается на собственную фантазию. Но это не должно помешать нам увидеть то действительно важное и ценное, что несли эти образцы вместе с этнографическими подробностями жизни и облика древних эстонцев, с описанием их религиозных представлений, — попытку воссоздать облик эстонской народности, определённый национальный колорит. Этому должны были способствовать и отдельные эстонские слова, вводимые в произве-

<sup>44</sup> На это указала А. В. Архипова в своей кандидатской диссертации «Творчество В. К. Кюхельбекера (до 14 декабря 1825 г.)», Л., Ленинградск. гос. пед. институт им. А. И. Герцена, 1960, стр. 338.

<sup>45</sup> Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика. Составил Вл. Орлов, М.—Л., Гослитиздат, 1951, стр. 369.

дение, и эстонские географические названия, усиливающие ощущение подлинной исторической и национальной оригинальности описываемого. Именно в попытках Кюхельбекера создать представление о национальной специфике эстонцев, дать местный колорит в его национальном аспекте и заключается, в первую очередь, значение повести «Адо» в эволюции ливонской темы у декабристов, в развитии декабристского историзма.

Не случайно именно Кюхельбекер сделал шаг вперёд в этом направлении. Он примыкал к тому течению декабристской литературы, к которому примыкали так называемые архаисты — П. А. Катенин и др. — и в котором принцип народности с самого начала стал ведущим. Здесь ранее, чем в другом ответвлении декабристской поэзии, стал наблюдаться интерес к фольклору, к отображению национальных особенностей в литературе, ранее выработалось декабристское понимание народности. А. А. Бестужева, напр., без сомнения, эти проблемы стали волновать позже. Это же объясняет тот факт, что в воссоздании национальных особенностей эстонцев, в плане романтических представлений о специфике определённых наций вообще, Кюхельбекер шёл впереди Бестужева.

В «Адо» Кюхельбекера мы видим и дальнейшее формирование декабристской концепции истории Прибалтики. Здесь особенно важно впервые намеченное ещё Бестужевым утверждение о тесных дружественных связях, существовавших между русскими и эстонцами в древности, об их совместной борьбе с немцами-рыцарями, о помощи, которую пытались оказать русские своим поработённым соседям. Вся немецкая прибалтийская историография с древних времён до наших дней решительно отрицает эти положения.

До недавнего времени была неизвестна вторая редакция повести «Адо», созданная Кюхельбекером уже в 1840-е гг., в Сибири, на поселении. А. В. Архипова первая в своей диссертации обратила внимание на этот вариант повести, текст которого хранится ныне в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Москве<sup>46</sup>. Архипова пришла к выводу, что Кюхельбекер подверг текст произведения главным образом стилистической переработке: язык стал естественнее, проще; Кюхельбекер отказывается от славянизмов, сокращает «высокие» лирические места в повести (в частности, выбрасывает лирическое вступление) и т. д.<sup>47</sup>. Но Архипова не обратила внимания на одну, правда, малозаметную особенность новой редакции «Адо». Кюхельбекер постарался в ней ещё более усилить охарактеризованный выше национальный колорит. Сделать это ему было не легко — оторванный от Эстонии, не имев-

<sup>46</sup> РО. ГБЛ, ф. 218, оп. 361, № 17.

<sup>47</sup> См. А. В. Архипова, ук. диссерт., стр. 353—355.

ший возможности воспользоваться печатными трудами, посвященными народам и истории Прибалтики, Кюхельбекер вынужден был, в основном, полагаться на те сведения и воспоминания об остзейском крае, которые сохранила его память. Много же их, конечно, не могло сохраниться — ведь Кюхельбекер с 1811 г. жил вне Прибалтики, кратковременное путешествие по краю во время поездки за границу и годы пребывания в сравнительно строгом одиночном заключении в Динабурге и в Ревеле мало что могли дать ему в этом отношении. Поэтому вставок и дополнений, характеризующих его стремление усилить национально-исторический колорит произведения, немного, но они всё же есть, и это показательно. Кюхельбекер стремится более точно локализовать действие повести — он подчёркивает, что обиталище эстонских кудесников было вблизи озера Пейпус, что Ульви, куда немцами был послан кубьясом Сур, находится «на запад от Авинорма», что Адо, скрываясь от захватчиков, поселился «на холме, опоясанном Авинорою извилистой»<sup>48</sup> и т. д. Повествуя о тайном совещании порабождённых эстонцев на городище Лоресарском, где решено было начать восстание против немцев, Кюхельбекер дополняет перечисление тех, кто здесь собрался — «еманды, исанды, кубьясы»<sup>49</sup>. Рассказывая о радостном возвращении Нора после встречи с князем к своему гостеприимному хозяину, автор замечает, что эстонец «обоими руками обнял колена и облобызал полу одежды его», в новом варианте эта фраза дополняется словами — «по обычаю своего народа»<sup>50</sup>. Новгородского князя Нор называет здесь не «великим государём», а «Кунига Эрра». При этом к данному выражению сделано обширное и очень любопытное подстрочное примечание: «*Кунига* — то же, что норманское: Конунг, князь; *Эрра* — норманское Герра; *Исанд* — старшина, почти тоже, что монгольское слово Тойон или турецкое Эфенди. *Эманд* собственно слово не эстонское, а латышское, но употребительное между маймесаами и значит звание выше *Исанда* (Исанд происходит от *Иса* — отец). Эманд в Лифляндии называют иногда и женщин, которых хотят почтить. — *Кубьяс* — староста, наставник. — Кстати, объясним ещё несколько эстонских и латышских слов, которые встречаются в нашем рассказе: *армолико* — милосердый, ласковый, милостивый; Юмала — прежнее название Чудского Зевса, присвоенное ныне истинному Богу; *Кура*т — дух ада, ныне дьявол; Тор — норманское и германское божество, которому поклонялись и эсты. — Паргола — ад.

*Перкун* или Перкунос, *Потримбо*с и *Пикола* или Пиколос, латышская триада, их Брама, Вишну и Сива. — Урочища, о

<sup>48</sup> РО ГБЛ, ф. 218, оп. 361, № 17, лл. 1, 2.

<sup>49</sup> Там же, л. 3 об.

<sup>50</sup> Там же, л. 5.



которых говорим, действительно существуют на запад от Пейпуса»<sup>51</sup>.

Кое-что из этого подстрочного примечания встречалось уже и в первом варианте, но большая часть слов и наименований введено в произведение или объяснено впервые. Небезынтересно, что объяснённое здесь слово «армолико» в тексте повести ни в одном из вариантов не встречается; видимо, Кюхельбекер думал его куда-либо вставить для усиления национального колорита. Не все объяснения правильны, но всё же они делают понятными даже ошибки писателя-декабриста, вызывавшие порою недоумение исследователей, — напр., странное употребление слова «Эманд» («госпожа», «хозяйка» в значении «старшины») <sup>52</sup>.

Высшим достижением прозаиков-декабристов в разработке ливонской темы, без сомнения, была повесть А. А. Бестужева «Ревельский турнир». В этом произведении, написанном в 1824 г. и опубликованном в следующем году в «Полярной звезде», значительно углубляется историзм, в полной мере раскрывается местный колорит, лишь намеченный или слабо разработанный в предшествующих произведениях декабристов, посвящённых Прибалтике (последнее относится даже к «Адо» Кюхельбекера). «Ревельский турнир», во многом, носит новаторский характер, по-новому освещает остзейское средневековье. Этот новый взгляд писателя на прошлое Прибалтики подчёркнут и эпиграфом к повести: «Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман старины и поэзии. Теперь я отворю вам дверь в их жилище, я покажу их вблизи и по правде» (98<sup>53</sup>).

Это усиление историзма в новой повести Бестужева, более глубокое восприятие им сущности исторических процессов, было связано с общей тенденцией развития декабристской идеологии, постепенно приближавшейся к пониманию закономерностей истории, противоречивости общественной жизни в прошлом и настоящем. Но не подлежит никакому сомнению, что важную роль в укреплении и углублении бестужевского историзма сыграло творчество Вальтера Скотта, опыт которого использовал писатель-декабрист.

Как известно, В. Скотт оказал колоссальное влияние на развитие всех европейских литератур, способствовал росту в них

<sup>51</sup> Там же, лл. 5—5 об.

<sup>52</sup> По-видимому, объяснения происхождения этого странного слова, не встречающегося у латышей, надо искать в названии одной из популярнейших книг Г. Меркеля «Ваннем Иманта» — Эманд от Иманта. На это обратил наше внимание В. Т. Адамс.

<sup>53</sup> Все цитаты даются по тексту «Сочинений в двух томах», т. I, М., 1958, с указанием страниц в скобках.

реализма и созданию новой историографии. Французские историки 1820-х гг. — Тьерри, Вильмен, Барант, Гизо, Минье, Тьер и др. — многим были обязаны именно В. Скотту<sup>54</sup>. При этом влияние шотландского романиста, использование его достижений, было творческим процессом, не сводившимся к подражательности. Воздействие творчества В. Скотта способствовало развитию национальных литератур, усиливало порою самобытные начала в них. Современный исследователь французского исторического романа с полным основанием пишет: «Влияние это, как бы оно ни было велико, конечно, нисколько не подавляло национальной самобытности французской литературы, а напротив, стимулировало её развитие и утверждало её своеобразие. И чем глубже проникал В. Скотт во французское сознание, тем самостоятельнее была реакция на него и оригинальнее возбуждаемое им творчество»<sup>55</sup>. Это относится и к воздействию В. Скотта на творчество русских писателей<sup>56</sup>.

К сожалению, вопрос о влиянии В. Скотта на русскую литературу нельзя считать до сих пор до конца разрешённым. Есть немало исследований, посвящённых воздействию В. Скотта, как исторического романиста, на творчество отдельных русских писателей, но, как правило, исследователи стремились обнаружить влияние в сходстве отдельных сюжетных мотивов, некоторых приёмов композиции, в известной общности в обрисовке персонажей, чисто внешних приёмов повествования. Этим грешат не только книга Алексея Веселовского<sup>57</sup>, но даже и исследования советских учёных 1920—30-х гг., в том числе и таких крупных, как акад. А. С. Орлов<sup>58</sup> и Д. П. Якубович<sup>59</sup>. Более же глубокие основы влияния В. Скотта на русскую литературу, влияния, сказавшегося прежде всего в использовании осново-

<sup>54</sup> См. об этом в книге: Б. Г. Реизов, Французская романтическая историография.

<sup>55</sup> Б. Г. Реизов, Французский исторический роман в эпоху романтизма, Л., Гослитиздат, 1958, стр. 86.

<sup>56</sup> Характерно в этом плане признание В. А. Жуковского в недатированном письме к А. П. Елагиной, где речь шла о сыне последней Ване, из которого мог бы получиться писатель: «Пускай учит Россию и учится у Вальтера-Скотта изображать верно отечественное». И дальше: «Учись у Шекспира и Вальтера-Скотта» («Татевский сборник», под ред. С. А. Рачинского, СПб., 1899, стр. 72).

<sup>57</sup> См. Алексей Веселовский, Западное влияние в новой русской литературе, 5-е издание, М., 1916, стр. 155—156, 174—175, 176, 180 и др.

<sup>58</sup> См., напр., А. С. Орлов, Вальтер Скотт и Загоскин, «Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности. Сборник статей», Л., изд. АН СССР, 1934, стр. 413—420.

<sup>59</sup> Это особенно относится к таким статьям Д. П. Якубовича, как «Предисловие к «Повестям Белкина» и повествовательные приёмы Вальтера Скотта» («Пушкин в мировой литературе. Сборник статей», Л., 1926, стр. 160—187) и «Трагедия В. Скотта «Дом Аспенов» и пушкинский романс о рыцаре бедном» («Сб. статей к 40-летию ученой деятельности акад. А. С. Орлова», Л., 1934, стр. 449—458).

полагающих художественных принципов его романов, тесно связанных с глубоким историзмом шотландского романиста, до сих пор не выяснены. Это затрудняет и анализ не подлежащего сомнению воздействия творчества В. Скотта на А. А. Бестужева.

«Ревельский турнир» Бестужева был написан в 1824 г. Но ещё в 1823 г. П. А. Вяземский убеждал писателя обратиться к опыту В. Скотта и по образцу его исторических романов создать самобытную русскую повесть: «Старинная прозаическая повесть (речь идёт, по-видимому, о «Романе и Ольге» — С. И.) прелестна, — писал он 23 января. — Если мои советы могли бы иметь влияние, то я стал бы убеждать любезного автора её пристраститься к этому роду. В нём, кажется, развернётся его дарование во всей силе своей. Пускай засядет он за нашу старину, напится ею и Вальтером Скоттом и дарит нас историческими романами, подобными Кенильвортскому замку и проч., разумеется, не перекладывая английского на русские нравы, но заимствуя от исторического живописца дар быть современным нравов старины, а нас делать их свидетелями»<sup>60</sup>.

Интересно при этом, что Вяземский был убежден — именно «романтический» Ревель и его прошлое могли бы дать материал для русской исторического романиста. В «Старой записной книжке» он несколько позже записал: «Русский Вальтер Скотт мог бы избрать окрестности Ревеля сценою своих рассказов».<sup>61</sup>

Мы не знаем, оказали ли советы Вяземского влияние на Бестужева. Но на начало 1824 г., действительно, падает увлечение писателя-декабриста творчеством В. Скотта. В его «Памятной книжке» за февраль-май 1824 г. сохранилось много записей, свидетельствующих об интенсивном чтении им романов В. Скотта, в том числе «Аббата» и «Пуритан»<sup>62</sup>. При этом романы В. Скотта Бестужев читал на языке оригинала, что, кстати, было сравнительно редким явлением в среде русских читателей, как показал Д. П. Якубович<sup>63</sup>, чаще всего пользовавшихся французскими переводами произведений шотландского романиста. Именно с начала 1824 г. и начинается живой интерес Бестужева к творчеству В. Скотта. В этом же году он переводит из «Edinburgh review» рецензию на роман «Кенильворт» («Соревнователь», 1824, ч. XXVI, стр. 325—330). В 1825 г. появляется в его переводе статья Арто «О духе поэзии XIX века» из «Revue Encyclopedique» («Сын отечества», № 4), где дана между прочим верная и довольно тонкая характеристика творчества В. Скот-

<sup>60</sup> «Русская старина», 1888, ноябрь, стр. 312.

<sup>61</sup> П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 91.

<sup>62</sup> См. «Памяти декабристов», I, стр. 63—66.

<sup>63</sup> См. Д. Якубович, Роль Франции в знакомстве России с романами Вальтера Скотта, «Язык и литература», т. V, Л., 1930, стр. 137—184.

та<sup>64</sup>. Восторженное отношение Бестужева к В. Скотту сквозит и в ряде более поздних писем и статей декабриста, напр., в его знаменитой статье «О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем»»<sup>65</sup>.

И как раз на период наибольшего увлечения Бестужева В. Скоттом падает создание им «Ревельского турнира». В «Памятной книжке», между записями о чтении им романов В. Скотта, 13/25 марта помечено: «Начал главу из неизвестного романа»<sup>66</sup>. 7-го же мая 1824 г. он писал П. А. Вяземскому: «Накидал повестишку в рыцарском, забавном роде, но ещё не сосланил (!) её»<sup>67</sup>. Здесь, без сомнения, речь идёт о «Ревельском турнире», завершённом Бестужевым, видимо, уже в конце 1824 г.<sup>68</sup>

Вопрос об использовании Бестужевым в этой повести достижений В. Скотта ставился в литературе. Первым, кто обратил на это внимание, был А. С. Пушкин, писавший Бестужеву в конце мая — начале июня 1825 г.: «Твой Турнир напоминает Турниры W. Scott'a».<sup>69</sup> Но это указание Пушкина не привлекло к себе внимания последующих исследователей. О влиянии В. Скотта почти ничего не говорится в единственной в дореволюционном литературоведении книге о Марлинском Н. Котляревского «Декабристы кн. А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский, их жизнь и литературная деятельность» (СПб, 1907). Это влияние прямо отрицалось в известном исследовании И. И. Замотина «Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе»<sup>70</sup> и в упомянутой выше статье Н. Коварского «Ранний Марлинский»<sup>71</sup>. Н. Л. Степанов был первым, кто обратил серьёзное внимание на факт использования Бестужевым в «Ревельском турнире» опыта исторического романа В. Скотта<sup>72</sup>. Вслед за ним мысль о влиянии шотландского романиста на творчество Бестужева повторяется и в других работах<sup>73</sup>. Но сколько-нибудь подробно эта проблема ни разу не рассматривалась в исследовательской литературе. Поэтому мы считаем необходимым особо остановиться здесь на вопросе о влиянии

<sup>64</sup> См. «Сын отечества», 1825, № 4, стр. 392. Здесь же упоминания об «Истории герцогов Бургундских» Баранта и о готовящейся к изданию книге О. Тьерри «История завоевания Англии».

<sup>65</sup> См. А. А. Бестужев-Марлинский, Сочинения в двух томах, т. II, стр. 593—594.

<sup>66</sup> «Памяти декабристов», I, стр. 65.

<sup>67</sup> ЛН, т. 60, кн. I, 1956, стр. 218.

<sup>68</sup> Такой вывод, по-видимому, можно сделать из упоминания о подготовке «Полярной звезды» к изданию в письме к сёстрам от 8. IX. 1824 — см. «Памяти декабристов», I, стр. 47.

<sup>69</sup> Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 13, М.-Л., изд. АН СССР, 1937, стр. 180.

<sup>70</sup> См. И. И. Замотин, ук. соч., т. II, СПб.-М., 1913, стр. 221, 243.

<sup>71</sup> См. сб. «Русская проза», стр. 153.

<sup>72</sup> См. «Литерат. учеба», 1937, № 9, стр. 39—40.

<sup>73</sup> См., напр., Н. И. Мордовченко, вступит. статья к книге: А. Бестужев-Марлинский, Полное собрание стихотворений, стр. 35.

В. Скотта на Бестужева в повести «Ревельский турнир» и, в связи с анализом данного вопроса, постараемся показать рост историзма писателя-декабриста в этом произведении. Но мы не будем выискивать отдельных параллелей в сюжете и в обрисовке некоторых персонажей в романах В. Скотта и у Бестужева, хотя здесь и можно было бы найти порою соблазнительные черты сходства (напр., в описании рыцарского турнира в «Айвенго» и в «Ревельском турнире»). Основное внимание мы уделим тому, как писатель-декабрист использовал основополагающие принципы художественной системы и исторического мышления В. Скотта<sup>74</sup>.

Сюжет романов В. Скотта обычно строится вокруг большого исторического события, при этом даётся широкая картина целой эпохи в переломный исторический момент.

В. Скотт воспринимает историческую эпоху как борьбу противоположностей. Исторический процесс, с его точки зрения, это борьба общественных сил. Понять этот процесс значит осознать глубокие внутренние конфликты общества.

Для В. Скотта и школы французских историков 1820-х гг. характерна своеобразная философия истории, связывающая прошлое с будущим. В каждой исторической эпохе скрыты следы предыдущих и элементы будущих эпох. Понять определённый период в истории можно, лишь осознав перспективу движения, место данного периода в ряду других.

Все эти основополагающие принципы романов В. Скотта во многом, хотя и не полностью, усвоены Бестужевым в «Ревельском турнире». Бестужев не случайно останавливается на XVI в. в истории Прибалтики. Это была действительно переломная эпоха в истории края — век окончательного разложения рыцарства и гибели господствовавшего в Прибалтике в течение трёх с лишним веков Ливонского ордена, век резко обострившейся борьбы между феодалами и бюргерскими элементами города, с одной стороны, и между феодалами и крестьянами, с другой, век религиозных смут. Показывая в своей повести широкую картину эпохи, Бестужев прекрасно видит её глубокие внутренние противоречия. Основным конфликтом своего произведения он сознательно делает столкновение между рыцарями и горожанами. Главное же внимание Бестужев уделяет раскрытию картины разложения рыцарства. Не подлежит сомнению, что этот процесс был характерной чертой истории Прибалтики XVI в.

Но, быть может, самым важным художественным достижением В. Скотта было его умение раскрыть в романе средствами художественного слова све-

<sup>74</sup> Для их характеристики мы воспользовались выводами Б. Г. Рейзова в работах: «Вальтер Скотт и проблема исторического романа в первой трети XIX в.» («Литерат. учеба», 1935, № 4), «Вальтер Скотт» (вступит. статья к первому тому «Собрания сочинений» В. Скотта, М.-Л., Гослитиздат, 1960) и «Французский исторический роман в эпоху романтизма» (глава II). В дальнейшем, в каждом отдельном случае, при изложении основополагающих принципов творчества В. Скотта, ссылок на данные работы мы давать не будем.

образе каждой эпохи. В. Скотт первым глубоко понял, что надо раскрыть эпоху со всех сторон, в том числе и с «домашней», показать её отличительные черты в их единстве. Здесь ничто не будет лишним — быт, нравы, обычаи, одежда и жилище, этнографические подробности жизни, точно локализованная топография с определённым пейзажем, верность исторических деталей — всё это с необходимостью должно войти в исторический роман. Отсюда знаменитый местный колорит, в котором видят теперь основное средство верной и глубокой обрисовки эпохи. При этом местный колорит понимается широко — это не только быт, исторические детали, это даже, быть может, в большей степени нравы народа, народное сознание, «мнения» массы, вся сумма её понятий, верований и мечтаний. Местный колорит воссоздаётся и через действия и через диалоги и, в особенности, через описания. Хотя В. Скотт, в первую очередь, стремится к детализованным «живописным» описаниям с этнографическим уклоном, но он не чужд и обобщающих характеристик определённых эпох. Для В. Скотта, как тонко подчеркнул Б. Г. Рейзов<sup>75</sup>, местный колорит это и художественный элемент, и момент исторического познания и философии истории. Под влиянием В. Скотта даже историки, в особенности О. Тьерри, широко используют в своих трудах местный колорит.

Если историзм «Замка Нейгаузен» был близок к той ступени исторического сознания, которая характеризует взгляды Сисмонди, то «Ревельский турнир» Бестужева близок по общей исторической концепции, в нём выраженной, к системе исторических воззрений О. Тьерри, хотя о влиянии последнего в данном случае говорить нельзя — непосредственное знакомство Бестужева с трудами французских романтических историографов произошло позже, в конце 1820-х — начале 1830-х гг.

В «Ревельском турнире» Бестужев в полной мере использует местный колорит для обрисовки эпохи. При этом писатель-декабрист, как и В. Скотт, достаточно широко понимает «местный колорит». Он не ограничивает его лишь подробной, детализированной характеристикой внешней стороны прибалтийского средневековья. Правда, в повести есть и подробное описание обстановки средневекового дома (98—99), и описание одежды людей той поры (Эдвина — 105—106, гермейстера — 119—120) и т. д. Но существеннее другое. Посмотрим, например, каким путём, с помощью каких образов и картин, рисует Бестужев процесс разложения рыцарства.

Для его изображения Бестужев прибегает к обобщающей характеристике эпохи. Такой обобщающей характеристикой является небольшая VI глава.

Разложение рыцарства, идущего к гибели, даётся через образы отдельных рыцарей — Буртнека и Доннербаца. Особенно характерен Доннербац — необразованный, хвастливый, чаще всего пьяный, прекрасно разбирающийся только в лошадях. О его рыцарстве напоминают лишь шпоры, которыми он любит позванивать.

Для раскрытия облика рыцарского средневековья Бестужев

<sup>75</sup> См. Б. Г. Рейзов, Французский ист. роман в эпоху романтизма, стр. 100.

в духе романтизма нередко прибегает к авторской характеристике отдельных его моментов. Таково, например, ироническое авторское описание подготовки к турниру и выбора первой красавицы, к которой герольды обращаются с «пышно-бестолковым» приветствием (109—110).

Но чаще всего картину разложения рыцарства Бестужев раскрывает с помощью тщательно выписанного местного колорита в различных его проявлениях. Эта картина создаётся и через рассказ доктора Лонциуса о грозных некогда ревельских укреплениях, ныне поросших травой и ставших неприступными лишь «для самого гарнизона, потому что все всходы обрушены» (100). Данный рассказ дополняет издевательское замечание Лонциуса о рыцарской храбрости: «Велика очень храбрость залезть в железную скорлупу да и стоять в битве наковальной» (100). О разорении рыцарства говорят в повести и паутины в доме Буртнека, и бестолковый мужик-эстонец в роли слуги вместо красивенького пажы или оруженосца (102). Характеристика рыцарства дополняется юмористической сценкой, нарисованной Лонциусом и раскрывающей аристократическое чванство и высокомерие рыцарей: «Я уж так привык писать рецепты спесивым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс *при смерти* не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: *для урожденной такой-то*...» (112). О разложении рыцарства говорят и сцены самоуправства рыцарей, невозможность организовать что-либо общее в среде феодалов, где каждый думает только о себе (история с мостом, 113), неправосудие магистрата (113—114), наконец, рассуждение Буртнека о том, что в феодальном мире всё решается силой, кто сильнее, тот и прав (114), и т. д.

Но наиболее ярко разложение рыцарства показано с помощью живых зарисовок турнира, который автор как бы рассматривает глазами Лонциуса и Эдвина. Гермейстер на турнире «величается гербами своими, право очень похожими на булочную вывеску» (120). Самой «светлой головой» среди ревельских рыцарей оказывается промотавшийся дворянин Люфт: «Он отдаёт её на подержание за сходную цену <...> сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак», — характеризует его Эдвин (121). Ироническое описание рыцарского турнира тоже должно подчеркнуть смехотворность и нелепость в новых условиях старых рыцарских узаконений и обычаев: «Снова звучит труба, и уже копыта ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяжести лат более, чем от силы ударов. Часто своевольные кони разносят их, и копыта поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они пу-

таются в сбруе другого и, как петухи, ловят промах врага» (122).

Таким путём создаётся картина наступающего падения рыцарства.

Вслед за В. Скоттом Бестужев любит прибегать к символическим сценам, выражающим дух эпохи. Собственно, такой сценой и является описание рыцарского турнира. Сам факт победы на турнире незнатного купца-горожанина Эдвина над «благородным» рыцарем Унгерном — центральный эпизод произведения — имеет более широкое символическое значение. Он как бы символизирует грядущую победу третьего сословия, вытеснение умирающего рыцарства с арены общественной жизни молодым классом буржуа. Молодой купец Эдвин не случайно во всех отношениях оказывается выше рыцарей — он умнее, образованнее, практичнее их, он способен на большие чувства, его характеризуют тонкие эмоции.

Это превосходство представителей третьего сословия над феодалами раскрыто и в образе умного и ядовитого доктора Лонциуса, особенно в сопоставлении его с рыцарем Буртнеком.

Конфликт между феодалами и буржуа, который, по образцу западноевропейской истории, представляется Бестужеву основным в жизни Прибалтики XVI в., показан во всей его остроте, доведён до открытого столкновения рыцарей и горожан на площади после турнира. Другое типичное противоречие той поры, которое на самом деле и было главным, — противоречие между феодалами и крестьянством — в повести Бестужева почти не нашло отражения. Об этом противоречии лишь слегка намекает сцена со слугой-эстонцем Друмме в доме Буртнека (103).

Для романов В. Скотта характерно своеобразное сочетание исторического материала с художественным вымыслом. Крупные исторические личности всегда присутствуют в романах Скотта, но он никогда не делает их главными героями своих произведений. Романическая интрига романа строится на истории любви вымышленных персонажей. Их судьба, составляющая сюжет романа, определяющая его «романический интерес», оказывается как-то связанной с фактами жизни подлинных исторических героев, с большими общественными событиями. Вымышленные герои, стоящие на первом плане, помогают В. Скотту раскрыть историю, так сказать, с её «домашней» стороны, что очень ценилось критиками и читателями той поры.

В. Скотт выдвинул также одним из первых на важное место в историческом романе проблему характера. Он стремился раскрыть в героях своих романов и их индивидуальные, личные черты и то, что порождено в них эпохой, их общественным положением. Впрочем, это относится, главным образом, к тщательно выписанным на основе разнообразных источников историческим героям, характер которых тесно связан не столько с их индивидуальной «страстью», сколько с их эпохой, политикой, системой поведения, продиктованной общественной борьбой. Это же относится к второстепенным персонажам романов, в которых часто воплощаются черты определённых слоёв общества и которые в то же время сохраняют свою яркую индивидуальность. Но, с другой стороны, образы любовников, история которых образует основную интригу романа, очень традиционны, шаблонны, воплощают в себе не столько характеры, сколько «страсть», не связаны и не



обусловлены эпохой, общественно-политической борьбой, социальным положением. Эти обычно наиболее бледно выписанные В. Скоттом сугубо положительные персонажи к тому же модернизированы, их чувства и эмоции мало чем отличаются от современных.

Объединение в романе исторических героев, образов любовников и второстепенных персонажей, олицетворяющих определённые слои общества в сочетании с ярко индивидуальными характерами, позволяет В. Скотту органически соединить в одном произведении быт, нравы и события, подлинные исторические эпизоды; любовную интригу и общественную борьбу; столкновения характеров и конфликты, основанные на исторических противоречиях каждой эпохи. Исторические романы В. Скотта носят как бы всеобъемлющий характер — в них оказываются включёнными черты всех известных до тех пор разновидностей романов да и произведений других жанров. В произведении В. Скотта органически входят и черты готического, и археологического, и любовно-психологического романов.

К такому соединению стремится в «Ревельском турнире» и Бестужев. Правда, в его повести нет крупных исторических личностей, подлинные исторические персонажи занимают достаточно скромное место. Они выступают в эпизодических ролях при описании турнира. Это гермейстер и упоминаемые в исторических хрониках и в труде де-Брэ бургомистр Фегезак и фохт фон Тулейн. Но в остальном произведение строится явно с учётом опыта В. Скотта в построении исторического романа. Составляющая сюжет произведения любовная интрига, носителями которой являются вымышленные персонажи — Эдвин и Минна, умело объединена с подлинным историческим событием — ревельским турниром, на котором купец одержал победу над рыцарем. Этот эпизод, подробно описанный Б. Руссовым<sup>76</sup>, действительно, был немаловажным событием в истории столкновений ревельского бюргерства с феодалами. Вместе с описанным в «Поездке в Ревель» эпизодом казни горожанами рыцаря Иксуля фон Ризенберга (этот эпизод упомянут и в данной повести) он привёл к значительному обострению борьбы между двумя ведущими привилегированными классами средневековой Эстляндии. У Бестужева сам любовный сюжет оказался связанным с этим противоречием тогдашней жизни Ливонии.

Писатель-декабрист проявил в повести и живой интерес к проблеме характера. Его уже интересует здесь вопрос обусловленности человеческого характера эпохой, обстоятельствами жизни, даже в какой-то мере социальным положением. Наиболее полно это проявилось в объяснении характера Буртнека — он таков потому, что рыцарь, что воспитывался в рыцарском замке, в рыцарской среде. Он, несмотря на свой природный ум, необразован, невежествен, потому что, по рыцарским представлениям, главным для феодала является физическая сила, умение владеть оружием и управлять конём, а науки, образование — это удел патеров или горожан. Не случайно Буртнек не

<sup>76</sup> См. Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, т. II, Рига, 1879, стр. 309.

любит думать: «Я терпеть не могу рассуждать головою, а не руками, — чистосердечно признаётся он Лонциусу, — и всякий раз, когда мне случится подумать, у меня так болит голова, будто с двух стоп русского меду» (104). Буртнек с детства усвоил типичное для рыцарской среды высокое представление о своём титуле, сословии, поэтому он исполнен аристократического чванства, рыцарской спеси, презрения к низшим, хвастовства. Как и прочие феодалы, он не терпит ничьей власти, считает себя полновластным хозяином своих вассалов, которому все позволено: «Ну что мне закон, когда я палахом могу отразить обвинение или смыть кровью свой же проступок! Притом без золотых очков у закона глаз нет; повешенный молчит, а живой сам петли боится. Поэтому-то мы отправляем вассалов своих точно так же, как вы больных — безответно» (103), — говорит он доктору Лонциусу. В общем, Буртнек — порождение феодализма и по-своему типичный представитель разлагающегося рыцарства

Но при этом Буртнек отличен от образов феодалов в ранних повестях Бестужева. В «Замке Венден» и «Замке Нейгаузен» перед Бестужевым ещё не стояла проблема исторической или социальной обусловленности человеческой личности. Характер человека там объяснялся его прирождёнными и неизменными свойствами. Отсюда резкое деление персонажей на две группы — с одной стороны, смелые, открытые, благородные рыцари без страха и упрека, самоотверженные защитники правды и справедливости типа Вигберта фон Серрата, с другой стороны, мрачные демонические рыцари — убийцы и бандиты, способные на любую низость и подлость, садистски жестокие, крайне эгоистичные, типа Ромуальда фон Мея. Образ Буртнека сложнее<sup>77</sup> — по своей природе он скорее добр, чем зол. Его доброта проявляется и в конечном согласии на брак дочери с Эдвином, и в его любви к Минне, и в его добродушном отношении к Лонциусу, которого он, вопреки аристократическим предрассудкам, не просто терпит, но даже по-своему любит. Но эти исконно-добрые черты в его характере соседствуют с чертами, усвоенными им из окружающей его феодальной действительности, из представлений рыцарской среды. И это соединение противоречивых черт приводит к своеобразной сложности его характера, которой не было у прежних героев Бестужева-Марлинского, как положительных, так и отрицательных. Эта сложность характера Буртнека подчеркнута уже в самом начале в авторском описании его внешности: «Черты его открытого лица показывали вместе доброте и страсти, не знавшие ни узды, ни шпоры, природное воображение и приобретенное невежество» (98).

<sup>77</sup> Кстати, эта сложность не всегда воспринимается исследователями. Так, Т. И. Михалева (ук. статья, стр. 135) явно упрощённо рассматривает образ Буртнека лишь как воплощение рыцарской заносчивости, кичливости и самодовольства.

Сложнее обстоит дело с обусловленностью характеров молодых героев-любowników. Эти герои, во-многом, модернизированы. Их чувства носят «вечный» характер — любовь и страсть современных героев в своих светских повестях Бестужев описывал точно также. Это связано с охарактеризованным нами выше представлением Бестужева о том, что чувства и страсти людей вечны и неизменны, лишь их внешнее обличье приобретает различные формы в разные эпохи, суть же их одна. Впрочем, такого рода представлений был не чужд при обрисовке образов любовников и В. Скотт. С ними связана у Бестужева и речь героев-любowników — вполне современная, лирически-возвышенная, ничем не отличающаяся от авторской. Однако в отношении второстепенных персонажей (особенно Лонциуса) писатель придерживается принципа их речевой характеристики. Это относится даже к Буртнеку. В его речи Бестужев подчёркивает оттенок простоватой грубоватости и хвастовства. Но не случайно и здесь автор не в состоянии до конца выдержать избранный им речевой колорит — в сцене из III главы разгневанный несправедливым решением магистра Буртнек неожиданно переходит к яркому обличительному монологу, напоминающему по стилю декабристское «негодование».<sup>78</sup>

Но, при всей неисторичности образов Эдвина и Минны, нельзя не отметить, что и при их обрисовке заметно некоторое стремление автора объяснить их характер. Почему Эдвин выше рыцарей, образованнее, мы бы сказали, культурнее их, тоньше и глубже чувствует, чем они? Потому, в самом общем виде отвечает автор, что Эдвин купец, а купцы «вообще класс самый деятельный, честный и полезный из всех обитателей Ливонии» (127). Правда, типично купеческих черт в характере Эдвина нет, он скорее положительный герой-любовник вообще. Попытка автора объяснить его черты социальной принадлежностью к классу буржуа носит чисто декларативный характер, не воплощённый целиком в художественную ткань образа. Но само стремление автора обусловить какими-то объективными факторами характер героя есть, и это важно. Вообще с вопросом об обусловленности характера положительного героя Бестужев на протяжении всего своего творчества испытывал большие затруднения. Отрицательные персонажи легко можно было объяснить «дурной» средой, их вырастившей и воспитавшей (образы представителей большого света в светских повестях). Но образы положительных героев такому объяснению не поддавались, и Бестужев даже и в своих более поздних произведениях их или вообще не объясняет или же объясняет чисто психологически.

Также обусловлен в «Ревельском турнире» и характер Минны. Рассказав о ливонских дворянках той поры, необразован-

---

<sup>78</sup> На это обратила внимание Т. И. Михалева, ук. статья, стр. 145.

ных, тщеславных, интересующихся лишь пересудами, нарядами да выгодным браком, и объяснив в какой-то мере причины такого развития женского характера в рыцарской среде, Бестужев переходит к образу Минны. Приведём полностью авторское разъяснение её характера, чтобы показать его обусловленность чисто психологическими да и то не очень убедительно выписанными причинами: «Она рано потеряла мать, но мать-природа о ней заботилась. Чтение не просветило её, но книга света была перед нею, и какое-то понятие, заменяющее девицам опытность, спасло невинную от приманок богатства и обольщения лести. Минна скоро заметила, что её не понимали, что её любили не так, как хотелось её возвышенному сердцу, осуждённому биться без ответа; и это невольно уединённое чувство вовлекло её в мечтательность. Воображение Минны вырывалось из скучного круга разряженных кукол, из шумных бесед рыцарских и рисовало ей светлейшие картины счастья; её сердце вздыхало о каком-то неясном, но прелестном идеале» (105). Но известный шаг вперёд здесь уже есть в самой попытке как-то объяснить характер Минны — раньше для Бестужева такого вопроса вообще не существовало.

«Ревельский турнир» Бестужева, как и романы В. Скотта, в значительной мере носит контаминационный характер. «Археологические» подробности быта и нравов при строгой локализации действия сочетаются в нём с любовной интригой, с характеристикой эпохи, с показом социальных противоречий тогдашнего общества.

Такое объединение разнородного материала требовало продуманного сюжета и ясной композиции. Для романов В. Скотта характерен стройный, последовательно развивающийся сюжет, который строится так, чтобы охватить различные социальные слои и показать общество в разрезе. Скотт был убеждён, что и композиция романов должна быть историчной, соответствовать движению жизни и в то же время основному закону искусства — закону единства. Поэтому он отказывается от лентообразной композиции старых романов и создаёт своеобразную драматическую композицию, отображающую конфликты и противоречия общества, развитие истории.

Сюжет и композиция «Ревельского турнира» носят, во многом, новый характер сравнительно с ранними повестями Бестужева. На это обратила внимание ещё Т. И. Михалева<sup>79</sup>. Действительно, сюжет в повести развивается очень последовательно, каждое последующее событие обусловлено предыдущим, нет отрывочных сцен, неожиданных романтических переходов<sup>80</sup>,

<sup>79</sup> См. Т. И. Михалева, ук. статья, стр. 138.

<sup>80</sup> Исследователи иногда относят известное высказывание А. С. Пушкина в письме к Бестужеву 1825 г. («да полно тебе писать *быстрые* повести с романтическими переходами — это хорошо для поэмы байронической. Роман требует *болтовни*; высказывай всё начисто») к «Ревельскому турниру». Контекст даёт некоторые основания для такого предположения. Но это вряд ли верно. Пушкин здесь, видимо, имеет в виду ранние произведения Бестужева.

столь характерных для «Замка Венден». Композиционно повесть очень стройна. Вставная VI глава — общая характеристика XVI в. в истории Прибалтики — помогает читателю понять социальную суть происходящих событий, создаёт необходимый фон. Конфликт не сводится к столкновению двух враждующих личностей-индивидуумов, а отражает столкновение общественных сил. Если художественная структура ранних ливонских повестей тяготела к романтической поэме байроновского типа, то система «Ревельского турнира» прямо напоминает классический тип исторического романа первой половины XIX в.

Но было бы глубоко неверным утверждать, что Бестужев в этой повести поднялся до уровня романов Вальтера Скотта, до его глубокого историзма. Не случайно уже то, что Бестужев написал *повесть*, отображающую лишь один эпизод из истории, а В. Скотт создавал *романы*, широко раскрывающие жизнь различных слоёв общества определённой эпохи и описывающие целый комплекс исторических событий. Кстати, Бестужев великолепно понимал отличие повести от романа. 9. IV. 1831 он писал А. М. Андрееву: «Иное дело повесть, иное роман. Мне кажется, краткость первой, не давая места развернуться описаниям, завязке и страстям, должна вцепляться в память остротами. Если вы улыбаетесь читая её, я доволен, если смеётесь — вдвое. В романе можно быть без курбетов и прыжков: в нём занимательность последовательная из характеров, из положений; дай бог, чтобы мой Сивка-бурка не зашалился и там. Это однако ж ещё будущее»<sup>81</sup>. Бестужев всю жизнь мечтал о создании романа, несколько раз брался за работу и так и не написал ни одного романа. Исторический роман, требовавший создания широкой картины эпохи в её социальных конфликтах, в образах людей самых различных общественных слоёв, требовавший изображения подлинных исторических героев и в то же время рядовых представителей народной массы, имел в своей основе более глубокий историзм, чем тот, который был свойственен в 1824 г. Бестужеву.

Не случайно одна из центральных проблем всего творчества В. Скотта — проблема народа, народного мнения — прошла в сущности, совершенно мимо внимания дворянского революционера Бестужева. Если В. Скотт вплотную подошёл к представлению о том, что история есть жизнь народа в его развитии и что отсюда следует — исторический романист обязан показать эту жизнь масс, вывести на сцену её представителей, показать народное мнение об исторических событиях и героях, то Бестужеву вся эта проблематика оказалась чуждой. Народа в его повести нет. Основной конфликт эпохи — феодалы — крестьяне — фактически оказался нераскрытым. Повесть «Ревельский

<sup>81</sup> «Русский архив», 1869, стлб. 608.

турнир» означает лишь приближение к вальтер-скоттовскому историзму и его художественной системе.

Бестужев не сумел полностью отказаться от старых субъективистских представлений на историю и искусство. Хотя объективное начало значительно укрепилось в произведении, но всё же присутствие автора по-прежнему ощущается в произведении. Оно чувствуется в той манере иронического повествования, к которой часто прибегает Бестужев, чтобы осмеять обречённое на гибель рыцарство (вспомним сцену турнира), в том стремлении к острословию, к каламбурам, к «блесткам», которые были в высшей степени характерны для авторского стиля и которые он считал даже неотъемлемой особенностью повести. Присутствие автора прямо подчёркивается лирическими отступлениями (104, 106 и др.) — их, правда, в повести не так много, но они характерны для неё.

В повести нетрудно увидеть и прямую связь с декабристской идеологией. Показательно в этом плане отношение Бестужева к купечеству. Он неоднократно подчёркивает превосходство купцов над рыцарями, делает купца Эдвина победителем на рыцарском турнире. Это находится в полном соответствии с его высказываниями о роли купечества в современных ему условиях. В письме к Николаю I из крепости он отмечал, что «*мещане* класс почтенный и значительный во всех других государствах» в России унижен, и выступил в защиту буржуазии<sup>82</sup>. 21. VIII. 1824 Бестужев писал матери из Риги о сословиях прибалтийского общества: «По-моему, лучший круг — есть купеческий высшего разряда — а дворяне несносны своею надутостью»<sup>83</sup>. Но в то же время отношение Бестужева, дворянского революционера, к буржуазии не могло быть до конца положительным. И это сказывается на изображении бюргерства XVI в. Хотя купцы и самый деятельный и полезный класс в Ливонии, но и они усваивают рыцарские пороки, кидаются в роскошь, стремятся стать дворянами (стр. 127). Объектом авторской иронии в картине турнира становятся не только рыцари, но и-сидящие здесь представители бюргерства вроде четы ратсгера Клауса, супруга которого «ворочает рулем нашей думы и не раз сажала наш курс на мель», по словам Эдвина (120), или четы Фегезак. В этом, конечно, отразилось сложное и противоречивое отношение декабристов к буржуазии и буржуазному прогрессу.

Но, как бы то ни было, повесть Бестужева «Ревельский турнир» была значительным шагом вперёд в развитии художественного творчества декабристов.

В этом отношении последняя из «ливонских» повестей Бестужева «Замок Эйзен», написанная им в 1825 г., в связи с подго-

<sup>82</sup> «Из писем и показаний декабристов», стр. 37.

<sup>83</sup> «Памяти декабристов», I, стр. 43.

товкой к печати альманаха «Звёздочка», так и не увидевшего света, может показаться даже известным отступлением, шагом назад от принципов, утвердившихся в «Ревельском турнире».

Действительно, местный колорит в «Замке Эйзен» значительно слабее и приобретает более внешний характер; образы героев повести лишены естественности, по-романтически искусительны и необычны, их черты, так сказать, предельно заострены, как это было и в ранних «ливонских» повестях декабристов. Но было бы упрощением объяснять это лишь отказом от принципов, достигнутых уже в «Ревельском турнире», и возвратом к художественной системе ранних повестей, как мы помним, напоминающих байронические поэмы. Дело здесь сложнее. Оно связано с новым художественным замыслом Бестужева — с его попыткой написать повесть в сказовой манере, в форме рассказа от первого лица, с установкой на стилизацию под русский фольклор и простонародную речь. В повесть введён образ рассказчика — «капитана, известного охотника до исторических былей и старинных небылиц». Бестужев утверждает, что его повесть лишь запись рассказа капитана. Это, конечно, не более, чем литературный приём. Возникает вопрос, зачем он понадобился Бестужеву?

В. Г. Базанов выдвинул вполне правдоподобное предположение, что ярко выраженный русский простонародный колорит рассказа нужен автору, чтобы показать: «Жизнь и быт Прибалтики лежат в одном измерении с жизнью и бытом русской империи <...> Свет критики феодализма распространяется и на ближайшую с Эстляндией страну, на Россию, где есть свои феодалы, свои помещики-крепостники и с русскими и с немецкими фамилиями <...> Сквозь ливонское прошлое просвечивала современная крепостническая действительность»<sup>84</sup>. Но, безусловно, Бестужева интересовала и чисто художественная сторона этого опыта. Теоретически он уже подошёл к пониманию важности фольклора и простонародных речевых элементов для литературы, но практически он ещё не пытался всерьёз использовать эти стихии в своём художественном творчестве; более того, Бестужев довольно настроженно относился к опытам использования фольклора и просторечья в творчестве Катенина. Но, видимо, в 1825 г. наступает известный перелом, позже приведший Бестужева к созданию такой исполненной фольклорной фантастики повести, как «Страшное гаданье». «Замок Эйзен» в этом плане представляет собой своеобразный художественный эксперимент.

В повесть широко введены фольклорные и простонародные выражения, слова из разговорной речи, средства художественной выразительности, заимствованные из устного народного

---

<sup>84</sup> В. Г. Базанов, Очерки декабристской литературы, стр. 325 и 327.

поэтического творчества. Фольклорный колорит и сказовая манера повествования выдержаны довольно последовательно на протяжении всего произведения. Замок Эйзен «так крепок, что ни в сказке сказать, ни пером написать; все говорили, что ему по шерсти дано имя. Стены так высоки, что поглядеть, так шапка валится» (152). Рядом с замком Русь, русское поле — «как не взманил оно сердце молодецкое добычей? Ведь в чужих руках синица лучше фазана» (153). Для коня барона Бруно фон Эйзена «в погоне река — не река, забор — не забор, и в деле словно сам черт под седлом: и ржёт и пышет, зубами ест и подковами бьёт» (153). «Вот уж стукнуло нашему барону и за сорок, а с сединой в бороду — черт в ребро» (156). И Бруно решил жениться на невесте своего племянника Луизе. «Девушка она была пышная, как маков цвет, а белизной чище первого снегу» (157). И вот уже съезжаются гости на свадьбу: «Только столом тряхни, так то и дело гляди в окошко: поезд за поездом к крыльцу, будто по них клич кликали. Ну, ведь у прежних бар не пиво варить, не вино курить; хлеб, соль не купленные» (158). Конец повести должен был подчеркнуть эту сказовую манеру повествования: «Господа! я начал за здравие, а свел за упокой; но в том не моя вина. И в свете часто из шутки выходят дела важные» (169).

Но такого рода манера рассказа явно препятствовала воссозданию местного колорита ливонской древности, крепнувшего в творчестве Бестужева от повести к повести. И в «Замке Эйзен» местный колорит явно бледнеет. Не случайно также в основу повествования здесь положен полностью вымышленный сюжет и среди персонажей нет ни одного исторического лица. Подстрочное примечание, замыкающее произведение, — «нравы и случаи сей повести извлечены из ливонских хроник» (169) — не соответствует действительности. Действие повести не приурочено даже к определенной эпохе и с равным успехом может быть отнесено как к XIII, так и к XVI веку. Топографическая локализация действия, правда, есть (замок Эйзен находится где-то в районе Вайвара-Силламяэ в 30 км от Нарвы), но она намечена в самом общем виде.

Однако сказовая манера повествования и ослабление местного колорита в повести не воспрепятствовали широкому вводу в «Замок Эйзен» типично декабристских мотивов. Даже, пожалуй, наоборот — некоторое ослабление историзма в повести как раз способствовало её декабристскому звучанию. Ни в одном другом художественном произведении Бестужева нет такой резкой и последовательной критики крепостного рабства, феодального угнетения, как в «Замке Эйзен». Характернейшие сцены жестоких притеснений крестьян, даже их убийства, Бруно фон Эйзен (стр. 155—156, 161) принадлежат к числу самых сильных страниц декабристской прозы. При этом факты



жестоких утеснений крестьян рыцарями, унижения и оскорбления личности в условиях господства феодального порядка рассматриваются теперь как характерные для эпохи в целом, для всех феодалов. «Бруно в угнетенье не отставал от своих сотоварищей» (156), — замечает Бестужев. Положительный герой — рыцарь Регинальд — правда, отказывается из гуманистических соображений стрелять в ни в чём неповинного и беззащитного мельника-эстонца, но и он вместе с дядей жёг нивы, губил в набегах старого и малого.

Особенно ясно декабристские мотивы отразились в рассказе об убийстве Бруно его племянником Регинальдом. Этот акт в какой-то мере и оправдывается (как убийство деспота и тирана) и в то же время в главном осуждается: убийство было совершено из лично-эгоистических соображений, как отмщение за личные обиды. Проблема, намеченная ещё в «Замке Венден», здесь получила дальнейшее развитие: убийство тирана, как акт личной мести, может быть даже ненужным, если оно совершено не в интересах общего дела, если оно не связано с более широким революционным движением.<sup>85</sup> Актуальный декабристский смысл повести, как нам известно из писем современников, был прекрасно ими понят — не случайно образ Регинальда ассоциировался в их сознании с Якубовичем.<sup>86</sup>

Ослабление местного колорита в повести, отсутствие в ней даже и того историзма, который был характерен для «Ревельского турнира», закономерно привели к усилению тех моментов в произведении, которые принято называть «романтическими крайностями». Садистски жестокий и бесчеловечный Бруно фон Эйзен напоминает односторонне выписанных героев ранних повестей Бестужева. Это исключительная личность, обрисованная резкими контрастными красками. В сюжете повести вновь появляются черты, которые можно возвести к готическому роману. Сам сюжет с двойной кровавой развязкой отличен от простого и естественно-логически развивающегося сюжета «Ревельского турнира».

Хотя в повести и не заметно стремление автора объяснить происхождение характера Бруно, но его можно легко вывести из окружающей фон Эйзена феодальной действительности. При попытках же объяснения характера Регинальда Бестужев столкнулся с большими трудностями. Этот образ невозможно было непосредственно вывести из окружающих условий, из представлений рыцарской среды. Бестужев уже понимал, что, без объяснения причин такого развития характера Регинальда, образ последнего будет недостаточно убедительным. И вот он пишет:

<sup>85</sup> Подробнее об этом см.: Т. И. Михалева, ук. статья, стр. 152—153.

<sup>86</sup> См. об этом: В. Г. Базанов, Очерки декабристской литературы, стр. 330—332.

«Одни добрые наклонности спасли мальчика от дурных примеров дяди, или лучше сказать, что железная лапа дяди и гнусность примера именно сделали его лучшим, потому что показали как на ладони все черные стороны злого человека и все выгоды быть добрым» (156—157). Но автор видит, что этого недостаточно для выработки положительных качеств героя. Ведь Регинальда окружала феодальная среда, его воспитывал дядя — жестокий тиран-убийца, он сам участвовал в набегах дядиной банды, пировал с ним вместе. Всё это не могло не отразиться на его характере. И Бестужеву так и не удалось свести концы с концами в образе Регинальда. Этот образ не просто противоречив, он, во многом, несмотря на частые авторские рассуждения по его поводу, неясен, как бы недописан. Мы видим, перед Бестужевым и здесь, как в «Ревельском турнире», стоит уже проблема обусловленности человеческого характера, но разрешить её, особенно в отношении положительного героя, он ещё до конца не в состоянии.

Повесть Бестужева «Замок Эйзен» продолжает ту историческую концепцию прошлого Прибалтики, которая была намечена ещё в «Поездке в Ревель» Бестужева-Марлинского, а затем развита в его же ливонских повестях, а также в произведениях Н. Бестужева и Кюхельбекера. Теперь, когда нами разобраны все произведения декабристов о Прибалтике, на этой концепции надо остановиться по-подробнее.

Ещё сравнительно недавно исследователи выражали сомнение в существовании особой декабристской концепции истории Прибалтики. Известный латышский историк Я. Я. Зутис утверждал, что Бестужев «в своих исторических романах <...> дал приукрашенное изображение ливонской старины»<sup>87</sup>. В. Г. Базанов и С. С. Волк первыми обратили внимание на своеобразие исторической концепции декабристов, на её противоположность господствовавшим в прибалтийской историографии представлениям<sup>88</sup>. Но место декабристской концепции прошлого Прибалтики в развитии местной историографии, пожалуй, до сих пор достаточно полно в исследовательской литературе не показано.

Господствовавшее в Прибалтике дворянское направление в историографии ставило своей основной целью защиту особого остзейского режима; классового господства немецких феодалов, их привилегий, их права на угнетение латышских и эстонских крестьян. Чтобы оправдать власть привилегированных немецких сословий в крае, в первую очередь рыцарства, и существование рабства, историки ссылались: 1) на право завоевателей, 2) на культуртрегерскую роль немцев в истории Прибалтики,

<sup>87</sup> Я. Зутис, Очерки по историографии Латвии, ч. I, Рига, Латгосиздат, 1949, стр. 140.

<sup>88</sup> См. В. Г. Базанов, Очерки декабристской литературы, стр. 296—302; С. С. Волк, Исторические взгляды декабристов, стр. 219—224.

якобы принесших коренному населению свет христианства и цивилизацию, 3) на особый национальный характер латышей и эстонцев, из-за которого они должны находиться в рабстве.<sup>89</sup> Особенно популярными даже и в начале XIX в. были ссылки на культуртрегерскую роль немцев-завоевателей в Прибалтике.

С критикой остзейской дворянской историографии ещё в XVIII в. выступили прибалтийские просветители — вначале И. Г. Эйзен и Г. И. Яннау, несколько позже крупнейшая фигура в истории местного Просвещения — Гарлиб Меркель и затем, уже в начале XIX в., И. Х. Петри.

Декабристы объективно выступили как продолжатели традиций прибалтийских просветителей. Они, в основном, самостоятельно (о влиянии прибалтийских просветителей на их труды можно говорить лишь с большими оговорками, главным образом, предположительно) выработали свою историческую концепцию, которая тоже была направлена против воззрений реакционных немецких остзейских историков и в основных чертах была близка к системе взглядов Меркеля и Петри. Декабристы также решительно выступали против учения о культуртрегерстве немцев-завоевателей, также доказывали, что рыцари принесли эстонцам и латышам рабство, национальное угнетение и невежество. Вместо воспевания завоевательных подвигов рыцарей мы в большинстве произведений декабристов видим критику их жестокости. Сами рыцари нередко оказываются неграмотными невежественными дикарями. Во всех произведениях декабристов видим неизменное сочувствие тяжёлой доле эстонцев и латышей. Национально-освободительная борьба древних эстонцев вызывает искреннее восхищение декабристов. Они стремятся понять и национальные особенности коренного населения, игнорировавшие в трудах старых хронистов. Правда, руссоистские представления о древних прибалтийских народах нашли лишь слабое отражение, главным образом, у Кюхельбекера и лишь частично у Бестужева. Чаше декабристы говорили о дикости и невежестве древних эстонцев и латышей, но и это должно было служить критике особого остзейского режима, сохранившего и даже усугубившего отсталость коренного населения. Декабристы с сочувствием рисовали и борьбу прибалтийского третьего сословия против феодалов в средние века. Они даже ещё более последовательно и энергично подчёркивали старинные дружественные связи между прибалтийскими и русским народами, говорили о помощи русских эстонцам и латышам в их борьбе с рыцарями-завоевателями. Вся эта система взглядов в целом представляет собой законченную историческую концеп-

---

<sup>89</sup> См. Я. Зутис. Основные направления в историографии Восточной Прибалтики (XIX—XX вв.), М., изд. АН СССР, 1955 [Доклады советской делегации на X международном конгрессе историков в Риме], стр. 7—13.

цию, близкую к системе воззрений прибалтийских просветителей, хотя и уступающую ей и в отношении аргументированности отдельных положений, и, пожалуй, в отношении радикализма — никто из декабристов не доходил до признания допустимости массовой революции для свержения феодализма.

Конечно, надо учитывать и другой фактор: не все писатели-декабристы были до конца последовательны в своём отношении к прошлому Прибалтики. Декабристы, как правило, не имели возможности критически проверить материал тех источников, которыми они пользовались. Иногда волей-неволей реакционные идеи остзейских историков всё же проникали на страницы декабристских произведений о Прибалтике. К тому же многим декабристам и, в частности, Бестужеву-Марлинскому, свойственен был сложный взгляд на рыцарское средневековье, в духе романтических представлений об этой эпохе, допускавший и идеализацию отдельных её сторон. Это же вело к искажению правды истории. Романтические представления об искусстве (напомним, что историческая концепция декабристов выражена в художественных произведениях), преувеличение роли субъективного авторского начала, наконец, ограниченность *дворянских* революционеров — всё это также накладывало печать на концепцию декабристов, не позволило им подняться до уровня прибалтийских просветителей типа Меркеля и Петри. Но все эти факты не должны закрывать для нас главного и основного в их исторической концепции, ведущей тенденции её. Она же ведёт нас, с одной стороны, к просветителям XVIII — начала XIX в., а с другой, к историческим трудам эстонских и латышских буржуазных историков периода развития национальных движений прибалтийских народов.

Латышские и эстонские писатели и историки, начиная с 1840-х гг. (Ф. Р. Фэلمان, Ф. Р. Крейцвальд и др.), особенно в 1860—70-е гг., будут развивать положения, близкие к декабристским. Они также будут отрицать культу́ртрегерскую роль немецких завоевателей в Прибалтике, будут также обличать рыцарей и установленный ими строй духовного угнетения и рабства, будут подчёркивать совместную борьбу русских, эстонцев и латышей с немцами, старинные дружественные связи между этими народами<sup>90</sup>. Правда, в данном случае нельзя говорить о влиянии декабристов на историческую концепцию латышских и эстонских деятелей 1840—70-х гг. Произведения декабристов большинству из них не были известны, они, в основном, следовали традициям Меркеля и Петри, а решающую роль в формировании их убеждений сыграла сама общественная обстановка

<sup>90</sup> См. общую характеристику их воззрений в докладе: Я. Зутис, Основные направления в историографии народов Восточной Прибалтики (XIX—XX вв.), стр. 21—31.

Прибалтики, общественная борьба, связанная с развитием национального движения прибалтийских народов. Но тот факт, что концепция декабристов и не оказала прямого влияния на систему воззрений эстонских и латышских историков следующего этапа, не снимает вопроса о значении и месте этой концепции в развитии прибалтийской историографии. Объективно декабристская концепция продолжает борьбу просветителей против реакционных воззрений остзейских феодалов и бюргеров на прошлое края. Значение этой борьбы тем более велико, что в 1820-е гг. в самой Прибалтике просветительские теории перестали уже развиваться, а эстонская и латышская научная историческая мысль ещё не народилась. Декабристская система взглядов на прошлое Ливонии не исчезла без следа, не пропала. Она была усвоена многими авторами второй половины 1820-х — 1830-х гг. и возродилась несколько позже в статьях Герцена и Огарёва.

## В. П. БОТКИН — ЛИТЕРАТОР И КРИТИК

Б. Ф. Егоров

### Статья 2

Как уже говорилось,<sup>1</sup> Боткин смертельно испугался и европейской революции 1848 г., и репрессий, предпринятых царским правительством против свободомыслящих сил внутри России. Эти причины, а также намечавшаяся уже ранее (с 1847 г.) эволюция Боткина от проповеди общественных идеалов к «бесцельности» и «артистичности» искусства, способствовали смене акцентов и даже изменению критического метода. Показательно, что кроме дописываемых последних глав «Писем об Испании», в которых тоже отразилась указанная эволюция,<sup>2</sup> Боткин в первые два послереволюционных года (т. е. в 1849 и 1850) почти исключительно пишет музыкально-критические статьи (см. №№ 56, 57, 59 росписи<sup>3</sup>). Главный их пафос — защита романтизма и лирики — свидетельствует о быстрой восприимчивости Боткина духа времени, тяжелых годов «мрачного семилетия». Страшной и жестокой действительности противопоставляется внутренний мир «сердца и чувства», где можно спрятаться и пережить бурю: «высокое назначение» музыки «и заключается в том, чтобы, трогая и потрясая чувства наши, отрывать нас; хотя на минуту, от ежедневной, скучной и сухой прозы жизни, пробуждая в душе нашей иные, может быть и несбыточные, но тем не менее более близкие, более сладостные сердцу стремления» (III, 74). Боткин как бы возвращается к своей романтической юности, к своим ранним музыкальным статьям. Недаром он по поводу оперы Чимарозы «Тайный брак» делает следующее лирическое отступление: «оперу Чимарозы, нам кажется, можно сравнить с веселою, старинною сказкою, которую мы когда-то

<sup>1</sup> См. статью 1, «Ученые записки ТГУ», вып. 139, Тарту, 1963, стр. 65.

<sup>2</sup> Там же, стр. 65—72.

<sup>3</sup> Там же, на стр. 72—78 приведена библиография сочинений В. П. Боткина. В дальнейшем при упоминании трудов Боткина указывается номер этой росписи. В случае цитирования статей, содержащихся в «Сочинениях В. П. Боткина», тт. I—III, СПб., 1890—1893, ссылка дается сокращенно, в скобках, с указанием тома и страниц.

слышали в детстве, среди игр и смеха; возмужав и удрученные опытом жизни, мы вновь печально слышим эту веселую сказку, с удивлением вслушиваемся в нее <...>, смутно вспоминая и наше беззаботное детство, и то, как немного нужно было тогда, чтоб сделать нас довольными и счастливыми».<sup>4</sup> И месяцем раньше, почти в тех же выражениях: «О, фантастический Гофман! о романтизм! сколько наслаждений принесли вы душе! Мир, навсегда исчезнувший <...> Слово недостаточно было для выражения того, что происходило тогда в душе <...> Мир исчезнувший и невозвратимый!» (III, 60).

Романтизм для Боткина — не исторически определенный этап в развитии мирового искусства, а типологическая характеристика возвышенной поэзии чувства, причем чувства свободного и в то же время неясного. зыбкого, туманного; всякая ясность — уже порядок, норма, следовательно, разрушение романтизма: «По существу вещей, каждый романтизм, стареясь, становится в свою очередь классицизмом, то есть являясь сначала как безотчетное стремление, он постепенно уясняет себе свои требования, принимает определенную форму, наконец, устанавливается в непременную систему» (III, 63). В этом — причина столь высоких отзывов Боткина о Шопене, которого он назвал гениальным: «Фортепьяно заговорило у него языком поэзии и какого-то грустного-страстного романтизма. Его оригинальные мелодии — меланхолические и несколько туманные, облечены у него всегда в какой-то вечерний полусумрак, сообщаемый им облекающей их прозрачно-величавой гармонией» (III, 71—72).

Но, с другой стороны, либеральное мышление Боткина противилось всякому экстремизму, обострению, поэтому сильный трагический пафос Шопена, его новаторство, острота и неожиданность мелодических движений, свободное использование хроматических ходов — пугало Боткина и он говорил уже о Шопене так: «стремясь иногда к какой-то ложной и изысканной оригинальности, он впадает из романтической туманности своей в совершенно непроницаемый мрак безвыходного хаоса. Странное расположение к излишней хроматичности увлекает его иногда в хаос, и именно эта излишняя хроматичность составляет темную сторону его гениального дарования» (III, 72). А двумя страницами выше Боткин хвалил Бетховена за значительные отступления от классических контрапунктных норм! Прав Ю. Кремлев, что «Боткин оценивает музыкальные явления по преимуществу мерилом Бетховена»<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> «Современник», 1850, № 2, отд. VI, 2-я паг., стр. 87.

<sup>5</sup> Ю. Кремлев, Русская мысль о музыке, т. 1. Л., 1954, стр. 130. К сожалению, русская музыкальная критика часто не понимала новаторов-современников: Боткин все же почувствовал гениальность Шопена, хотя и не все в нем оценил, а в те же годы известный А. Д. Улыбышев писал книгу о Бетховене, совершенно «разного» характера: Улыбышев остановился «на уровне» Моцарта!

Зато в статье «Н. П. Огарев» (№ 58 росписи) содержатся исключительно похвалы поэту: у Огарева Боткин не нашел недостатков Шопена (действительно, Огарев не был, подобно Шопену, новатором или поэтом трагического звучания), но лишь достоинства; он сопоставил стихи Огарева с «очаровательными мелодиями мазурок Шопена и его гениальными этюдами» (III, 349). Уже в очерке «Об эстетическом значении новой фортепьянной школы» Боткин подчеркивал, что ему очень нравятся небольшие лирические пьесы Шопена. В статье об Огареве он всячески пытается доказать сходную с Шопеном камерность, а также «субъективность» (противопоставляя ее «объективности», отделению поэта от своих образов), «музыкально-лирическую туманность» стихов соратника Герцена: «ни у одного из пишущих теперь поэтов не заключается столько музыкальности в ощущениях и никто не выражает так эту беззвучную музыкальность чувства, как г. Огарев. Мы разумеем под этими словами то состояние души, когда она, вся погруженная в свои внутренние явления, отдается им вполне, не разбирая их значения, не стараясь сосредоточить их в какую-либо определенную мысль, — когда она передает эти затаенные движения чувства в том самом виде, как проходят они в сердечной глубине, во всей их безыскусственности и искренности» (II, 337). Дальше снова подчеркивается «музыкальная неопределенность», «неопределенная воздушность», «фантастическое», «какая-то тайная, томная сила, которая в иные минуты мгновенно овладевает нами, пробуждая в душе иногда сладкое, иногда томительное, гнетущее чувство, в котором мы не можем дать себе отчета» (II, 338, 340—341). И наконец: «Для тех, которые ищут в поэзии только мыслей и образов, стихотворения г. Огарева не представляют ничего замечательного; их наивная прелесть понятна только сердцу» (II, 342).

Итак, Боткин, тонко уловив присущие стихам Огарева черты романтической неопределенности, музыкальности, «сердечности», тем не менее совершенно умолчал о рефлексии Огарева, о поэзии мысли (интересно, что из «Монологов» Боткин цитирует лишь третий<sup>6</sup>, ни слова не сказав о двух других), о стихах о народе («Дорога», «Кабак», «Изба» и др.)<sup>7</sup>. Так легко можно

<sup>6</sup> Стихотворение «Чего хочу?.. Чего?.. О! так желаний много». В журнальной публикации («Современник», 1847, № 6) оно было вторым по счету, т. е. второе стихотворение цикла («Скорей, скорей топи...») не было тогда опубликовано. Боткин мог не знать, что всего в «Монологах» четыре стихотворения и что одно не напечатано.

<sup>7</sup> Показательно, что дальнейшая эволюция Огарева-поэта к реалистическому методу, к объективной эпичности вызвала недовольство Боткина, который писал Некрасову 24. XI. 1855: «Читал он (Огарев. — Б. Е.) мне свои новые стихи — есть очень хороши, но прежней теплоты и задушевности нет в них. Он вдался теперь в поэзию описательную» («Голос минувшего», 1916, № 9, стр. 174).



было дойти до противопоставления чувства и мысли, что привело бы Боткина к храму «чистого искусства»; он, однако, несколько раз отметил, что ратует за «содержательную» поэзию: «форма непременно обуславливается внутренним содержанием»; публика равнодушна «к таким стихам, которые отличаются хорошою формой. Стихи привлекают к себе только <...> оригинальностью содержания <...> Самое лучшее доказательство этому Кольцов, стихи которого, при всей недостаточности и слабости своей внешней отделки и формы, нашли себе такой сильный отзыв в публике» (II, 335, 336). В проповеди подобных идей сказалась закваска сороковых годов, Белинского, — но хвалимое содержание, как видно, Боткин сузил до «музыкального» романтизма, до туманного чувства. Надо сказать, что в этом не было прямого противопоставления чувства и мысли. В одном случае, процитированном выше, Боткин отмечает, что Огарев не анализирует свои «сердечные глубины», в другом — повторяет то же самое (II, 343), но здесь же поясняет: «Явления жизни и картины природы, изображаемые им, постоянно сливаются у него с душевными ощущениями и становятся предметом его вдумчивости». В этом видна скорее борьба (подобная пафосу Ап. Григорьева) за «мысль сердечную» против «мысли головной»<sup>8</sup>, чем принижение мысли за счёт чувства. Но при этом сильно сужается поэтический облик Огарева, а в перспективе видно и противопоставление.

Несмотря на это, Боткин 1850-го года, в отличие от защитников «искусства для немногих», явно жаждет приобщения к искусству широких масс читателей и слушателей. Одна из главных идей статьи «Об эстетическом значении новой фортепьянной школы» — фортепьянная музыка в процессе развития за последние полтора века становится все более демократичной (точнее — более массовой). «Может быть, близко то время, — мечтал Боткин, — когда музыка вступит в свою истинную сферу, когда сделается она выражением дум сердечных и нашей душевной жизни; язык ее станет ясен и понятен каждому живому чувству» (III, 84). Несколько иначе эта мысль повернута в статье об Огареве. В начале сороковых годов, говорит Боткин, стихотворения Огарева на фоне яркой поэзии Лермонтова не

<sup>8</sup> В духе же Ап. Григорьева Боткин борется против искусственной «сочиненности», «сделанности» художественных произведений, только в объектах критики они частенько расходились. Например, Боткин в письме к Тургеневу от 27. II <1852> очень резко отзывался о «Бедной невесте» Островского, находя в ней «холодный и сухой колорит», «бедность фантазии», «пахнет сочинительством» («Переписка В. П. Боткина и И. С. Тургенева», М.-Л., 1930, стр. 22). Ср. в письме Боткина к Тургеневу от 18. VI. 1853: «у Мендельсона было больше науки и соображения, нежели фантазии и изобразительности» (там же, стр. 44). Зато «Не в свои сани не садись» удостоилась высшей похвалы Боткина (там же, стр. 34—36; в дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: Б и Г, 34—36).

были замечены, т. к. «по характеру своему доступные лишь весьма тонкому эстетическому чувству, не имея блестящей, художественной формы, — они, как всякое сердечное слово, не могли быть замечены большинством публики. Теперь они вернее могут быть оценены» (II, 351). Эту мысль можно понимать двояко: то ли стихи Огарева обратили на себя внимание читателей из-за отсутствия на небосклоне более яркой поэтической звезды, то ли публика духовно выросла за десятилетие. Может быть, Боткин хотел сказать и то, и другое. В любом, однако, случае отмечается более глубокое понимание читателями поэзии, т. е. Боткин жаждет расширения, массовости искусства не за счет его «опрощения», а за счет воспитания более глубокого и тонкого эстетического чувства у массы.

Размышления Боткина о популярности поэзии и музыки несколько смягчают и сужают на первый взгляд парадоксальный диапазон между его апологией музыкально-туманного искусства сердца и одновременным вниманием к проблеме народности искусства, точнее — к проблеме национального характера. В решении этой проблемы Боткин ничего не смог дать нового в сравнении с Белинским, он даже не дошел до всех важных и глубоких выводов покойного товарища в этой сфере, т. к. и не ставил своей задачей серьезную, радикальную разработку вопроса. Просто он (очевидно, одновременно с раздумьями о национальном характере в «Письмах об Испании») не только проповедовал таинственную музыкальность и лиричность Шопена и Огарева, но и обращал внимание на совершенно другие (с его точки зрения) явления. Для Боткина, вероятно, все, связанное с возвышенным, лирическим, субъективным, было как бы наднациональным, космополитическим, в объективных же категориях жизни и искусства содержались национальные черты. По крайней мере, в обзоре «Итальянская опера» (№ 59 росписи) Боткин дал такую формулировку: «Трагическое и лирическое сходны более или менее у всех народов, и только в одном комическом обнаруживается все резкое различие национальностей»<sup>9</sup>. Поэтому, считал он, народный юмор так труден для перевода и понимания другими нациями. Как одно из главных достоинств Боткин отмечал в художественных произведениях отражение национального колорита: «Рыбаки» Григоровича — «превосходный этюд народного быта», оригинальность Мендельсона «состоит в мотивах еврейского характера» (Б и Т, 44, 45). Подобных замечаний у Боткина немного; в отличие от Белинского или Ап. Григорьева, национальная категория в эстетике не слишком серьезно его интересовала (например, высокую оценку комедии «Не в свои сани не садись» Боткин дал не за «народность», а за «благодущие» и «растроганность», которая «облаго-

<sup>9</sup> «Современник», 1850, № 2, отд. VI, 2-я паг., стр. 87.

раживает сердца»<sup>10</sup>). Но сам факт внимания к проблеме показывает нам несколько иного Боткина начала 1850-х годов, чем принято его рисовать в традиционной литературе<sup>11</sup>. По крайней мере, он заставил его задуматься над важной стороной критического метода, метода уже научного, а не художественного. Здесь оказывалась немыслимой защита романтической «музыкальности», наоборот, Боткин так критикует метод исследования историка П. Н. Кудрявцева: «мистицизм и некоторая романтическая туманность, лежащая в его сознании, много повредят ему в исторических трудах, потому что отдалят его от практического взгляда на людей и события <...> В книге его не чувствуется русского ума и русской манеры — так, как, например, чувствуется английский ум и английская манера в Макколее <...> надо стремиться к национальности и в науке <...> Только в искусстве русский ум отделался от чуждых ему элементов благодаря Пушкину и Гоголю»<sup>12</sup>. Жаль, что эта мысль была схоронена в частном письме к Анненкову: выскажись Боткин публично, он бы на 5 лет опередил жаркий спор славянофилов и западников о народности в науке, разгоревшийся в 1856 году в русской прессе. Опять же может показаться несколько парадоксальным, что Боткин выступил чуть ли не предшественником славянофилов по этой проблеме, но в общей системе его взглядов требование национальной специфики в науке (разумеется, в гуманитарных науках) не выглядит неожиданным<sup>13</sup>.

Закономерным также в свете вышесказанного представляет внимание Боткина к трудам известного немецкого историка и литературоведа Гервинуса, стремившегося к историзму (насколько он был доступен буржуазному исследователю середины

---

<sup>10</sup> Б и Т, 35. Но в то же самое время, в начале 1853 года, Боткин работал над статьей «Литература и театр в Англии до Шекспира», где, очевидно, имел в виду драмы Островского, когда писал: «сцена наша начала принимать преимущественно русский, национальный характер», «русская публика <...> так должна была обрадоваться появлению наконец своих родных, так близких, понятных ей и так прекрасно написанных произведений» (II, 64—65).

<sup>11</sup> Поэтому в свете приведенных материалов не заслуживает доверия известный рассказ А. Я. Панаевой о разговоре между Некрасовым, Тургеневым и Боткиным в начале 50-х годов, где собеседники Некрасова выведены довольно примитивными эстетам, «формалистами» и космополитами, презиравшими русский народ (см. А. Панаева, Воспоминания, Л., 1928, стр. 433—438). Между тем, этот безответственный рассказ неоднократно цитировался и цитируется в исследовательской литературе без всяких оговорок.

<sup>12</sup> П. В. Анненков и его друзья, СПб., 1892, стр. 567.

<sup>13</sup> Нужно при этом учитывать, что сама постановка вопроса о национальном не была редкостью, в условиях «мрачного семилетия», наоборот, это одна из животрепещущих проблем той поры. Внимание к ней привлекалось и усиленной пропагандой «официальной народности» со стороны правящих кругов и продажной прессы, и, с другой стороны, закономерными в любую тяжелую для родины эпоху раздумьями передовой интеллигенции о судьбах нации и народа. В этом заключена, может быть, главная причина внимания Боткина к национальным проблемам.

прошлого века), к рассмотрению литературных явлений на фоне жизни нации данной эпохи. Поводом к изучению Гервинуса послужило, очевидно, предложение редакции «Современника» написать серию очерков о состоянии английской драматургии в XVI—XVII вв., о чем было сообщено в объявлении от редакции в декабре 1850 года<sup>14</sup>. Поэтому Боткина и привлек четырехтомный труд Гервинуса о Шекспире<sup>15</sup>, который он впоследствии решил популярно изложить на русском языке, как сообщил А. А. Краевскому 15. II. 1853: «Я принялся теперь за ряд статей об этом предмете, пользуясь английскими и немецкими источниками и преимущественно Гервинусом. Всего, думаю, будет статей пять или шесть. Первая статья у меня уже готова <...> В статье войдет критическое изложение *всех* произведений Шекспира в том порядке, как сочинял их автор, вместе с указаниями на его личность, жизнь и источники, которыми он пользовался»<sup>16</sup>. Этот грандиозный план Боткин надеялся осуществить в течение года и постоянно печатать статьи уже не в «Современнике», а в «Отечественных записках», т. к., очевидно, в это время он к Краевскому и его журналу стал относиться более благожелательно, чем к издателям «Современника»<sup>17</sup>. Но Некрасов, узнав о новых планах Боткина, написал ему в сентябре 1853 г. упомянутое письмо, где ультимативно разъяснил адресату, что т. к. статья заказана редакцией «Современника» (речь шла о первой статье цикла) и материалы Боткин также получил из редакции, то опубликование статьи в «Отечественных записках» «сопряжено с такими обстоятельствами, которых <...> несравненно благоразумнее избежать». Боткин вынужден был извиниться перед Краевским и отдать свою статью («Литература и театр в Англии до Шекспира») в «Современник», где она и появилась в ноябре 1853 года, без имени автора (точнее — переводчика). В утешение Краевскому Боткин сообщил, что дальнейшие статьи шекспирова цикла он не будет писать по недостатку времени<sup>18</sup> (действительно, весной 1853 года умер его отец, и Василий Петрович вместе с братьями был очень занят торговыми делами отцовской чайной фирмы). Но затем

<sup>14</sup> См. Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. XII, М., 1953, стр. 160. В объявлении нет указания на предполагаемое авторство Боткина, но это выясняется из письма Некрасова к Боткину от сентября 1853 г. (там же, т. X, М., 1952, стр. 195—196).

<sup>15</sup> G. Gervinus, Shakespeare, Bd. 1—4, Leipzig, 1849—1850. Подробнее об изучении Боткиным Шекспира см.: J. D. Levin, Die westeuropäische Shakespeare-Forschung in Rußland und ihre Popularisierung durch V. P. Botkin, "Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik", 1964, Heft 3, SS. 278—296.

<sup>16</sup> «Отчет ИПБ за 1889 год», СПб., 1893, Приложения, стр. 101.

<sup>17</sup> См., напр., резкий отзыв о Панаеве в письме к Тургеневу от 17. II. 1853: «Новый поэт более и более обнаруживает такую всяческую ничтожность, что даже совестно читать» (Б и Т, 37).

<sup>18</sup> «Отчет ИПБ за 1889 год», СПб., 1893, Приложения, стр. 103.

происходит постепенное сближение Боткина с редакцией «Современника», и хотя он и не завершил весь цикл, но следующую статью-компиляцию «Первые драматические опыты Шекспира» (№ 63 росписи) через год написал и отдал в «Современник». Интересно, что в период «мрачного семилетия» Боткин долго колебался между Краевским и Некрасовым и даже предпочитал первого, но фактически за 1848—1855 годы в «Отечественных записках» он опубликовал всего одну статью, а в «Современнике» — четырнадцать. В 1855—1856 годы он настолько сближается с кругом «Современника», что участие в журнале Краевского становится просто невозможным. Даже когда Краевский обратился к Боткину с льстивым предложением написать статью о Фете (вместо Тургенева, обещавшего, три месяца тянувшего и наконец отказавшегося<sup>19</sup>): «журнал подарите лучшей оценкою Фета, какой бы только я мог желать <...> с воззрением вашим на Фета, сколько вы помните из наших о нем разговоров, я совершенно симпатизирую», — Боткин отказался, т. к. уже обещал подобную статью в «Современник»<sup>20</sup>. На этом и закончились всякие отношения Боткина с редактором-издателем «Отечественных записок», если не считать обмена письмами за два месяца до смерти Боткина, в августе 1869 года<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Очевидно, Тургенев ограничился краткой рецензией на «Стихотворения А. А. Фета» («Отеч. записки», 1856, № 5); см. публикацию: А. Б а т ю т о, Неизвестная рецензия И. С. Тургенева, «Вопросы литературы», 1957, № 3, стр. 195—202.

<sup>20</sup> Письмо А. А. Краевского от 25. VI. 1856, Рукописный отдел Гос. музея Л. Н. Толстого в Москве (в дальнейшем — ГТМ), 2 А. Бот. 39. Ответ В. П. Боткина от 29. VI, «Отчет ИПБ за 1889 год...», стр. 109.

<sup>21</sup> Поводом послужил следующий эпизод. В «СПб. ведомостях» (1869, №№ 187, 188, 10 и 11. VII) было опубликовано письмо Белинского к Боткину от 4—8. XI. 1847 под заглавием «Письмо Белинского к его московским друзьям», где содержалась убийственная характеристика Краевского-издателя. Умирающий Боткин, которому прочли эту публикацию, откликнулся «Письмом к редактору» («СПб. ведомостей»: см. № 79 росписи), где подтвердил, что письмо Белинского — подлинник, написано ему, Боткину, и благодарил за напечатание письма в газете. Краевский страшно уязвленный публикацией враждебного ему письма Белинского и уже поместивший печатный ответ — оправдание («Голос», 1869, № 204, 26. VII), получил от боткинского «Письма к редактору» дополнительный удар по своему престижу, поэтому обратился к Боткину с умоляющим письмом, где оправдывался и доказывал свою «честность» в отношениях с Белинским и просил Боткина напечатать еще раз разъяснение, что письмо Белинского «было результатом болезненного раздражения» (ГТМ, 2 А. Бот. 39; письмо от 6/18. VIII. 1869). Дипломатичный (даже сходя в могилу!) Боткин согласился с Краевским, похвалил его ответ в «Голосе», но, очевидно, для печати никакого дополнительного объяснения не подготовил (письмо к Краевскому от 25. VIII. 1869; ИРЛИ, ф. 452, № 20), не имея к этому ни морального побуждения, ни физических сил.

Обе статьи Боткина — «Литература и театр в Англии до Шекспира» и «Первые драматические опыты Шекспира» (см. №№ 62—63 росписи) — представляют собой сокращенный перевод пяти первых глав книги Гервинуса<sup>22</sup> и интересны в первую очередь тем, что Боткин не только существенно упростил, как он выразился, «высокопарный» язык Гервинуса, но и опустил все туманные и «романтические» мысли немецкого источника. Например, Гервинус так объясняет «загадочность» Шекспира для Европы XVII—XVIII вв.: «причина медленного уяснения нашего поэта состоит прежде всего в том, что он — именно чрезвычайное явление, тогда как только простое понимается быстро и только обычное — без промахов и заблуждений. А другой ответ на этот вопрос — в истории»<sup>23</sup>. Боткин же оставляет, даже подчеркивая ее, лишь вторую часть фразы: «Такое странное обстоятельство можно объяснить только из литературной истории Англии» (II, 70). Боткина привлекли в книге Гервинуса широкий исторический фон, пафос «естественности и правды», «простоты и искренности», исследование связей шекспировской драматургии с народным творчеством. Во введении к первой статье, сочиненном самим Боткиным, также подчеркивается, что «сцена наша начала принимать преимущественно русский, национальный характер», русская публика «так должна была обрадоваться появлению, наконец, своих родных, так близких, понятных ей и так прекрасно написанных произведений <...> Личное и свое интересует всегда гораздо более, чем общечеловеческое» (II, 64—65). Эта фраза свидетельствует о новом этапе в мировоззрении Боткина, о новом разумении им пьес Островского (ибо о каких же еще прекрасных драмах можно было говорить в 1853 году?). Возможно, что в этой эволюции, наряду с воздействием эпохи, оказала какое-то влияние и книга Гервинуса о Шекспире. Показательно, что в своем введении Боткин противопоставил ее французским трудам: книгам Гизо<sup>24</sup> и Шаля о Шекспире, статье В. Кузена о французском искусстве XVII века, написанном, считал он, «в духе общего французского воззрения на искусство, ищущего в нем не действительности, природы и жизни, а отвлеченных идеалов или поощрительных примеров. На этом же воззрении запуталась и Жорж Санд» (II, 67).

<sup>22</sup> G. G. Gervinus, Shakespeare, Bd 1, 2-te Auflage, Leipzig, 1850, SS. 7—263.

<sup>23</sup> Там же, стр. 6.

<sup>24</sup> Несмотря на весьма низкое мнение о книге Гизо (см. II, 66), Боткин извлек оттуда для своей статьи очерк английской народной поэзии, сильно его, впрочем, сократив (ср. II, 70—72 и Guizot, Shakespeare et son temps, Paris, 1852 pp. 36—55), но ни словом не упомянув об источнике.

В этой тираде звучит полемика и с утопическим социализмом, и вообще с утопизмом как антиреалистическим мышлением.

Некоторая эволюция Боткина в сторону, условно говоря, «реализма» (мысли о массовом искусстве, относительное внимание к объективности и народности) в какой-то степени подготовила сближение Василия Петровича с Некрасовым, относящееся к лету 1855 года. Совместная жизнь на даче под Москвой (в Петровском парке) не только подружила двух литераторов<sup>25</sup>, но и способствовала дальнейшей эволюции Боткина. Мягкий и половинчатый, он не мог не попасть под влияние редактора «Современника» (впрочем, и он, несомненно, оказал на колебавшегося в то время Некрасова свое, либеральное влияние — см. об этом ниже). Не без воздействия Некрасова, например, Боткин защищает диссертацию Чернышевского от нападок Тургенева (отвергая лишь определение искусства как «суррогата действительности»): «Прежде противопоставляли природу и искусство; теперь природа стала фундаментом искусству <...> Что такое собственно поэзия, как не прозрение в сокровеннейшую сущность вещей? т. е. действительности» (Б и Т, 62). Это не помешало, впрочем, ему после того, как Тургенев стал настаивать на отрицательной оценке диссертации именно за «суррогат», уклончиво согласиться с оппонентом: «я, разумеется, в сущности согласен. Чернышевский не прав только в том случае, когда дело идет о поэзии, т. е. о самой существенной и идеальной стороне искусства; но зато произведения Писемских<sup>26</sup> и *tutti quanti* — по-моему, как нельзя лучше подходят под определение: суррогат действительности — не более» (Б и Т, 69). Как будто Чернышевский ругал «суррогат» вообще и творчество Писемского в частности!

Двойственность Боткина особенно наглядно проявилась в споре о назначении искусства, о Пушкине и о Гоголе. Весной 1855 года главный идеолог «чистого искусства» А. В. Дружинин опубликовал статью «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений»<sup>27</sup>, где выступил против «натуральной школы», «сатирического направления», из-за которого «словесность изнурена, ослаблена», и противопоставил этой линии «неумеренного под-

<sup>25</sup> См. подборку взаимных уверений в любви из переписки Некрасова с Боткиным 1855—1856 гг.: В. Евгеньев-Максимов, Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. II, М.-Л., 1950, стр. 340—341. Некоторые новые данные по теме «Некрасов и Боткин», выявленные в архивах (частично они приведены ниже), опубликованы мною: «Вопросы литературы», 1964, № 9, стр. 252—253.

<sup>26</sup> Боткин очень не любил произведений Писемского за «даггеротипность», т. е. за натурализм; см. его письма к Тургеневу (Б и Т, 69, 72) и Некрасову («Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 85—88). Некрасов оказался солидарным с Боткиным в отрицательной оценке «Плотничьей артели» (Полн. собр. соч., т. 10, М., 1952, стр. 247—248).

<sup>27</sup> «Библиотека для чтения», 1855, № 3, отд. III, стр. 41—70; № 4, стр. 71—104.

ражания Гоголю» поэзию Пушкина, где «все глядит тихо, спокойно и радостно»; Дружинин опирался при этом на мнение «одного из современных литераторов» (как оказалось, Тургенева), желавшего противовеса гоголевскому направлению<sup>28</sup>. Тургенев в письме к Боткину от 17. VI. 1855 похвалил в целом статью Дружинина, признался, что автор сослался на него, но выразил недовольство односторонностью Дружинина: «о Пушкине он говорит с любовью, а Гоголю отдает только справедливость»; здесь же Тургенев написал известную фразу: «Бывают эпохи, где литература не может быть *только* художеством — а есть интересы, высшие поэтических интересов» (Б и Т, 54—55). Боткин в письме к Дружинину от 27. VI. 1855 процитировал весь отзыв Тургенева о статье адресата и добавил от себя, что «оба направления», Пушкина и Гоголя, «необходимы», а в следующем письме от 6 августа пояснил: «Нам милы ясные и тихие картины нашего быта, но они могут быть для нас только кратковременным отдыхом, потому что в сущности мы окружены не ясными и не тихими картинами. Нет, не протестуйте, любезный друг, против Гоголевского направления — оно необходимо для общественной пользы, для общественного сознания»<sup>29</sup>.

Более того, в перерыве между этими двумя письмами, Боткин в соавторстве с Некрасовым составляет для «Современника» обзор «Заметки о журналах за июль месяц 1855 года» (см. № 64 росписи). Несомненно, соавторы оказывали влияние друг на друга, и хотя по сохранившейся рукописи можно четко отделить части, написанные Некрасовым и Боткиным, но они, «очевидно, обсуждались и писались совместно»<sup>30</sup>. Так, в неумеренной похвале статье Дружинина о Пушкине, от которой, по словам Некрасова, веет «прекрасной любовью к родному слову, к искусству»<sup>31</sup>, чувствуется не только дипломатический расчет (Некрасов в 1855 году не желал еще рвать со своими либеральными друзьями по периоду «мрачного семилетия»), но и мягкая деликатность Боткина. И наоборот, в части, написанной рукой Боткина, имеется скрытая полемика со статьей Дружинина, наверняка подсказанная Некрасовым: «Нет науки для науки, нет искусства для искусства, — все они существуют для общества, для облагораживания, для возвышения человека, для его обогащения знанием и материальными удобствами жизни; и вопреки Пушкину, «чернь» всегда вправе сказать поэту и ученому:

<sup>28</sup> А. В. Дружинин, Собр. соч., т. 7, СПб, 1865, стр. 59—60.

<sup>29</sup> Письма к А. В. Дружинину, М., 1948, стр. 35, 37.

<sup>30</sup> См. Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. 9, М., 1950, стр. 748 (комментарии А. Я. Максимовича и М. М. Гина).

<sup>31</sup> Там же, стр. 291.



Нет, если ты небес избранник, <...>  
Ты можешь, ближнего любя,  
Давать нам смелые уроки —  
И мы слушаем тебя»<sup>32</sup>.

Дружинин, конечно, не знал, что обзор журналов, опубликованный в августовском номере «Современника», принадлежит Некрасову и Боткину, но на частные письма последнего он ответил 19. VIII. 1855: «*неодидактическое* направление словесности, то есть усилия к исправлению нравов и общества, может быть полезно для житейских дел, но никак не для искусства <...> Гоголь, по моему мнению, есть художник чистый, только его последователи сделали из него какого-то страдальца за наши пороки и нашего преобразователя. Чуть Гоголь сам вдается в дидактику, он вредит себе». Однако главный смысл своего недовольства Дружинин раскрыл в конце письма: «юноши жаждут попасть в русские Бёрне и Гервеги, презирая всю осмотрительность. Если мы не станем им противодействовать, они наделают глупостей, повредят литературе и, желая поучать общество, нагонят на нас гонение и заставят нас лишиться того уголка на солнце, который мы добыли потом и кровью!»<sup>33</sup> Потрясающая откровенность трусливого либерала: прогрессивный пафос литературы вызовет, видите ли, правительственные репрессии — так как бы нам не пострадать!

Но Боткин нисколько не возмутился таким оборотом мысли. Он процитировал в письме к Некрасову почти весь дружининский отзыв о Гоголе и дидактике и добавил от себя: «все это, по моему мнению, совершенно справедливо. Кто не согласится с тем, что дидактика доказывает только совершенное бессилие творчества. Но в словах Дружинина есть недоговор: плоха дидактика, — но еще хуже ее то пустое направление литературы, стремящейся забавлять публику, представляющей ей произведения, чтение которых походит на переливание из пустого в порожнее. Дидактическими делает произведения не направление, а тупая мысль, или придуманная мысль, резонерский ум, холодное чувство, бесталанность. Истинный, поэтический талант никогда не сделает свое произведение дидактическим»<sup>34</sup>. Иначе отнесся к идеям Дружинина Некрасов, ответивший Боткину 16. IX. 1855: «прочел я, что пишет тебе Дружинин о Гоголе и его последователях, и нахожу, что Друж. просто врет и врет безна-

<sup>32</sup> Там же, стр. 296.

<sup>33</sup> Письма к А. В. Дружинину, стр. 41.

<sup>34</sup> «Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 83. Письмо относится к началу сентября. Письма Боткина к Некрасову опубликованы В. Е. Евгеньевым-Максимовым с большим количеством неточно или неверно прочитанных слов. Все цитаты поэтому сверены и исправлены по рукописям, хранящимся в ИРЛИ.

дежно, так что и говорить с ним о подобных вещах бесполезно». И далее Некрасов сформулировал свою программу: «люби истину бескорыстно и страстно <...> станешь ли служить искусству — послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу — послужишь и искусству»<sup>35</sup>. Лишь тогда Боткин в ответном письме Некрасову от 19. IX согласился с такой оценкой идей Дружинина и даже добавил, что бороться за «теплое местечко на солнце» — «значит противодействовать с полицейской точки зрения»<sup>36</sup>.

Однако совсем другое он написал Дружинину. Он сошелся и с ним (в который уже раз!) в ненависти к дидактике, понимаемой как неталантливая тенденциозность, идейность: «На этом споткнулись Бёрне и Гервег и вся юная Германия: их погубила бездарность. Не имея поэтического таланта, они силились заменить его политическими идеями — этой могилой искусства, — а в Германии доходило это до того, что в начале 40-х годов некоторые философы провозглашали ненужность, бесполезность поэзии для нашего времени. То же самое, только в более пошлой форме, проповедовали французские социалисты». Так Боткин решительно расставался со своими «заблуждениями» сороковых годов: начав фразу с ругани в адрес бездарности, кончил он, уже совершенно в духе «искусства для искусства», отказом политическим идеям в художественной значимости. А дальше мы читаем еще более поразительные строки: «Зачем, любезный друг, ограничивали вы гонение на дидактику в одном только Гоголевском направлении, — надобно гнать ее везде, начиная с некоторых стихотворений Некрасова, который, кажется, начинает впадать в дидактический тон»<sup>37</sup>. Наше время как-то осо-

<sup>35</sup> Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. 10, стр. 247.

<sup>36</sup> «Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 89.

<sup>37</sup> Отношение Боткина к творчеству Некрасова в 1855—1856 гг. было двойственным. См. еще его отзывы в письмах к Тургеневу: «[Скажи Некрасову спасибо за стихи «Памяти приятеля». Они во всех отношениях превосходны.] «Маша» — мысль хороша, — да не вытанцовалась — и вообще пьеса вышла как-то угловата» (12. III. 1855; в печатной публикации — Б и Т, 51 — из зачеркнутого приведено лишь второе предложение; из первого в неверном прочтении опубликованы два первых слова; мне удалось расшифровать всю фразу по рукописи [— ИРЛИ, 5799. XXX б. 89, л. 37 об.; Боткин очень густо зачеркнул ее, т. к., очевидно, испугался своей похвалы в адрес стихотворения, посвященного памяти Белинского; он не без оснований мог опасаться перлюстрации своих писем — ведь он еще находился под полицейским надзором]; «Я не люблю дидактических стих. Некрасова» (10. VII. 1855); «Некрасов последнюю строфу своего прекрасного стихотворения «К своим стихам» <«Праздник жизни — молодости годы»>, с которого я взял у тебя список, — переменял. Вышла дидактика, к которой он стал так склоняться теперь» (5. VIII. 1855; Б и Т, 51, 63, 69); в письме к Д. П. Боткину от 15—20. III 1856: «Вот тебе одно из последних стихотворений Некрасова; оно мне очень нравится:

Внимая ужасам войны <...>»

(ИРЛИ, 9029, LI б. 66, л. 37).

бенно склонно к дидактике»<sup>38</sup>. Как будто Дружинин отрицал причастность Некрасова и других писателей «нашего времени» к гоголевской школе! Единственное, в чем Боткин «возразил» Дружинину — это повторение (буквальное) фразы из письма к Некрасову от начала сентября (а, может быть, наоборот, в этом письме повторена фраза из письма Дружинину!), что не направление делаает произведение дидактическим, а тупость, холодность, бесталанность.

Таким образом, двойная игра Боткина не была грубой ложью, его колеблющийся, мягкий, половинчатый либерализм в общении с полярно противоположными по взглядам корреспондентами оборачивался разными сторонами; в письмах к Некрасову Боткин акцентировал одно и замалчивал другое, а к Дружинину — наоборот. Еще пример. В письме к Некрасову от 22. IX. 1855 Боткин защищает Чернышевского от оскорбительных нападок Григоровича: «Я убежден, что Черныш. честный и хороший человек, хотя я незнаком с ним. Из всего, что он пишет, виден честный человек»<sup>39</sup>. И в то же время Дружинину он сообщил совсем другое: «Искусство нашего времени, в самом деле, делается *суррогатом* природы, по определению диссертации Чернышевского, который не находил другого значения искусству вообще»<sup>40</sup>.

Некрасов, конечно, не мог не видеть такой половинчатости Боткина. Но, во-первых, он сам в 1855 году был «колеблющийся» и относительно терпимо относился к своим либеральным товарищам, во-вторых, Боткин выступал перед Некрасовым с наиболее выгодной, чуть ли не демократической стороны. Благодаря дружественному сближению летом 1855 года с Некрасовым Боткин очень подобрел к «Современнику». Он оказал журналу существенную материальную помощь<sup>41</sup>, иногда правил статьи сотрудников, как настоящий редактор<sup>42</sup>. Письма Боткина к Некрасову той поры проникнуты заботой об успехе «Современника». То, что это не было лицемерием, подтверждает

<sup>38</sup> Письма к А. В. Дружинину, стр. 39—40. Письмо от 4. IX. 1855.

<sup>39</sup> «Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 92.

<sup>40</sup> Письма к А. В. Дружинину, стр. 40.

<sup>41</sup> «Современники <Некрасов и Панаев> были оба здесь летом <...> с Василия Петровича, снова пылающего любовью к литературе, сорвали 2000», — писал Т. Н. Грановский к Е. К. и А. В. Станкевичам 5. IX. 1855 («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, М., 1897, стр. 306).

<sup>42</sup> См. в письме Боткина к Некрасову от 15. V. 1856: «Сегодня посылает-ся к тебе с тяжелой почтой статья Бодиско, мною просмотренная и по возможности выправленная. В конце ее я сделал выноски от редакции. Если не найдешь ее нужною, то выкинь» («Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 94). Речь, очевидно, идет о третьей статье В. К. Бодиско «Из Америки» («Современник», 1856, № 6, отд. I, стр. 237—262). Действительно, в конце статьи имеется редакционное примечание, объясняющее причины прекращения печатания цикла:

ся письмом Боткина к брату Дмитрию от 2. XII. 1855: «Надо поддержать бедный «Современник». Теперь новый московский журнал <«Русский вестник»> породил сильную конкуренцию между журналами, да и цензура стала полегче. Я впрочем не столько хлопочу из любви к «Соврем.», сколько из любви к Некрасову, с которым мы в последнее время очень сошлись»<sup>43</sup>.

Некрасов в свою очередь активно помог Боткину подготовить и издать «Письма об Испании» отдельной книгой (фактически Некрасов был издателем книги). Думается, что именно по просьбе Некрасова Чернышевский подготовил такую хвалебную рецензию на «Письма об Испании» («Современник», 1857, № 2, отд. III, стр. 43—72); считалось даже, что Некрасов принял в ней участие в качестве соавтора Чернышевского и написал, как можно якобы судить по черновику, несколько страниц рецензии своей рукой<sup>44</sup> — это часть, посвященная кратко изложению истории Испании<sup>45</sup>. Уже априорно, впрочем, казалось удивительным, что Некрасов стал специалистом по европейской истории (к тому же как мог Некрасов помогать Чернышевскому, если он уже полгода тому назад уехал за границу?). Обращение к рукописи рецензии подтверждает правомерность такого сомнения: комментатор статьи Н. М. Чернышевская странным образом ошиблась, т. к. эти страницы в действительности написаны почерком Боткина, который существенно отличается от почерка Некрасова.<sup>46</sup> Любопытный факт: Боткин оказался соавтором Чернышевского, да еще в 1857 году! Очевидно, Чернышевский, плохо осведомленный в подробностях испанской истории, попросил Боткина самому написать эту часть — получилось нечто вроде авторецензии, вернее — авторезюме. Этот факт еще больше заставляет думать, что статья Чернышевского написана по просьбе Некрасова<sup>47</sup>.

Возможно, под влиянием же Некрасова написана Чернышев-

<sup>43</sup> ИРЛИ, 9029, LI б. 66, л. 18 об.

<sup>44</sup> См. об этом: Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, М., 1948, стр. 924—925.

<sup>45</sup> Там же, стр. 224—226.

<sup>46</sup> ЦГАЛИ, ф. 1, оп. 1, № 115, лл. 2—3.

<sup>47</sup> Ведь по-настоящему Чернышевский совсем не апологетически относился к Боткину, наоборот: «Флюгера, флюгера, и Ваш Боткин первый и самый вертящийся из этих флюгеров, — он хуже Панаева — трус, и больше нежели трус — жалчайшая баба» (Полн. собр. соч., т. XIV, М., 1949, стр. 333; письмо к И. С. Тургеневу от 7. I. 1857). Ср. отзыв Добролюбова в письме к Чернышевскому от III. 1858 в связи со статьей А. Б. Лакиера (Конгресс в Вашингтоне в 1857 году): «полюбуйтесь на эту ерунду, превосходящую все, о чем вы имеете понятие из «Писем об Испании». Как бы хорошо было из первого листа вычеркнуть страниц 15!» («Лит. наследство», т. 67, М., 1959, стр. 273). Очевидно, Добролюбов знал об истинном отношении Чернышевского к книге Боткина ...

ским (если только Чернышевский действительно автор! <sup>48</sup>) хвалебно-рекламная рецензия на возобновленный «Журнал садоводства», издававшийся зятем Василия Петровича (мужем его сестры) П. Л. Пикулиным <sup>49</sup>.

### 3.

Совместная с Некрасовым статья «Заметки о журналах за июль месяц 1855 года» явилась для Боткина кульминацией его связей с демократической эстетикой того времени. Затем началось постепенный отход на враждебные позиции. Первым симптомом явилось увлечение Боткина творчеством Карлейля, относящееся, вероятно, еще к лету 1855 года (см. Б и Т, 62). Ему удалось «заразить» и Некрасова, который так приветствовал начало публикаций в «Современнике» глав из цикла Карлейля «О героях и героическом в истории» в переводе Боткина: «А что это за чудесный мастер Карлейль, так и говорить нечего, — я еще раз, читая в корректуре, истинно им наслаждался»<sup>50</sup>.

Может показаться странным, что когда только что ушла в прошлое жестокая и помпезная эпоха Николая I, Боткин вдруг увлекся культом героев. Но в этом был глубокий смысл. Общественный подъем, возникший в России, выдвинул на первое место ряд крупных социально-политических проблем, которые, казалось многим, будут вскоре решены самыми радикальными способами; искусство объявлялось передовыми идеологами служителем в решении этих задач, на первом плане оказывались

<sup>48</sup> Автограф рецензии не сохранился; в собственноручных списках статей Чернышевского рецензии тоже нет; впервые рецензия появилась во 2-м томе полного собрания сочинений критика (1906), подготовленного сыном, М. Н. Чернышевским, по указаниям А. Н. Пыпина (см. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, стр. 837; т. XVI, М., 1953, стр. 637, 641—643, 745—748).

<sup>49</sup> Рецензия опубликована в мартовском номере «Современника» за 1856 год. Боткин, несомненно, ждал ее появления, т. к. Некрасов специально извещал его в письме от 7. II. 1856, что рецензия будет опубликована в № 3 (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. 10, стр. 264). «Журнал садоводства» — совершенно забытый орган, он даже не включен в справочник «Русская периодическая печать (1702—1894)», М., 1959. А между тем благодаря связям П. Л. Пикулина с московской интеллигенцией и помощи Боткина, привлеченного к журналу довольно широкий круг литераторов, здесь печатались статьи (не считая самих Пикулина и Боткина) А. М. Бутлерова, И. Е. Забелина, Б. Н. Чичерина, известного ботаника Н. И. Анненкова; очевидно, при посредничестве Боткина в журнале участвовали Н. М. Щепкин (сын актера), переводчики А. Е. Мин, Н. Х. Кетчер, Е. Ф. Корш. С. А. Венгерову, составившему подробную библиографию трудов А. В. Дружинина, осталась неизвестной статья последнего «Заметки о садоводстве в Петербургской губернии» («Журнал садоводства», 1856, № 12, стр. 328—337).

<sup>50</sup> Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. 10, стр. 252. Письмо к Боткину от 4. X. 1855.

принципы идейности и полезности искусства. Все это не могло не испугать Боткина, как убежденного сторонника золотой середины, противника крайностей, радикальных мер. Если в сороковых годах он на многие месяцы мог увлекаться прогрессивными идеями времени, то теперь его едва хватило на лето 1855 года. Уже осенью он весь погрузился в мир Карлейля, найдя в английском мыслителе родственную душу: ведь Карлейль тоже с тревогой смотрел на исторический путь XIX века, в революционных переворотах видел только хаос и низменность, а спасение искал в сильных и возвышенных личностях, способных вести за собой восторженную массу людей; Карлейль был учеником и последователем идеалистической немецкой философии, исключительно высоко оценивавшим роль искусства в жизни человека и роль поэтов, как проповедников добра и красоты, в противовес низменным, «материальным» интересам; отсюда главное в искусстве — искренность, воодушевление, духовность, музыкальность, проникновение в «божественную тайну» мира, в целом недоступную человеческому познанию.

Интенсивное увлечение Боткина Карлейлем было очень результативным: он перевел две главы из цикла очерков Карлейля о героях («Скандинавская мифология» и «Дант. Шекспир»), написал предисловие к этим переводам, а также дал развернутую характеристику Карлейля, вошедшую в обзор Некрасова «Заметки о журналах. Декабрь 1855 и январь 1856 года» (см. №№ 65, 67—69 росписи).

Боткин очень хорошо понимал связь Карлейля с системами немецких идеалистов и сам видел в учении последних противовес веяниям эпохи: «Карлейль, по своему воззрению и по идеям, принадлежит немецкой философии и поэзии <...> Дух времени теперь отвернулся от немецкой философии; но каковы бы ни были стремления нашего времени к положительности и материальным интересам, немецкая философия останется навсегда одним из величайших и благороднейших проявлений ума человеческого. Да, мы живем в эпоху совершенного преобладания материальных интересов <...> Очевидно, что искусство в Европе утратило свое прежнее значение. Скажем более: мы даже замечаем в Европе упадок эстетического вкуса и эстетических понятий. Лучшим доказательством слов наших может служить то, что направление политическое и дидактическое стало теперь господствующим в литературных произведениях иностранной словесности»<sup>51</sup>. А в письме к П. В. Анненкову от 7. VI. 1856 Ва-

<sup>51</sup> «Современник», 1856, № 2, отд. V, стр. 206—207. Ср. II. 3—4. Отныне до своей смерти Боткин будет горячим защитником немецкого идеализма, как бы окончательно замкнув круг и вернувшись к увлечениям юности. Любопытно, что в дальнейшем Боткин воедино сочетает немецкую философию и искусство ... с мещанскими идеалами бюргерства — см. в его письме к бра-

сий Петрович со слов брата Сергѣя (будущего врача) сообщает, что в философских аудиториях германских университетов «едва находятся по два, по три слушателя, уж истинно последних могикан! Аудитории наук естественных, напротив, переполнены. Но мы все-таки умрем могиканами!»<sup>52</sup>

И вот Боткин, как бы возвращаясь к своим музыкальным статьям, настраивается в отзывах о Карлейле на возвышенно-романтический лад, полностью погружается в мир идей и в стилистическую структуру трудов английского писателя, и даже сама немецкая философия рассматривается сквозь карлейлевы очки: «Восторженность лежит в основе мыслей всякого глубокого мыслителя, всякого истинного поэта <...>. Гегель, обыкновенно называемый холодным мыслителем, исполнен восторженности, хотя и в высшей степени сосредоточенной <...> Придет время, когда в Гегеле оценят великого писателя и поэта»<sup>53</sup>.

Увлечение Карлейлем отразилось вообще на всех эстетических суждениях Боткина конца 1855 — начала 1856 годов<sup>54</sup>, на-

ту Дмитрию от 27. VIII. 1862: «я очень люблю Берлин. Здесь чувствуешь себя как-то sehr behaglich zu Muthe, во-первых, потому, что немцев люблю я более всех, а, во-вторых, потому, что весь процесс моего духовного развития примыкает к Германии. Здесь чувствуешь внутреннее сродство со всем, и с музыкою немецкою, и с поэзиею, и с формою мысли; люблю я и эту скромную, отчетливую аккуратность немецкую, и это простодушное довольство малым соединенное с неутомимой пытливостью ума» (ЛБ, М. 6614. 7).

<sup>52</sup> «П. В. Анненков и его друзья», СПб., 1892, стр. 571.

<sup>53</sup> «Современник», 1856, № 2, отд. V, стр. 206. Еще раньше, в июле 1855 г., Боткин изложил эту идею в письме к Тургеневу (Б и Т, 62).

<sup>54</sup> А двумя годами позднее, отправляясь в Лондон, Боткин заручился рекомендательным письмом И. С. Тургенева, познакомившегося с Карлейлем в 1857 году и намеревался лично представиться английскому мыслителю; Боткин нанес визит Карлейлю 11. VII. 1858, однако не застал его дома. Рекомендательное письмо Тургенева к Карлейлю, посвященное характеристике Боткина, как поклонника и переводчика адресата, опубликовано: И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем, Письма, т. III, М.-Л., 1961, стр. 199. Там же (стр. 551) см. библиографию источников об этом визите (Боткин беседовал с женой писателя). Миссис Карлейль, очевидно, рассматривала Василия Петровича как нечто среднее между марсианином и новозеландцем, т. е. следующим образом описала этот визит в письме к мужу: «Был Боткин (ну и имя!), твой русский переводчик <...> Он совсем другой тип, чем Тургенев, хотя такой же высокий. Должно быть, он казак — хотя я никогда не видела казака и не слышала, чтобы кто-либо его описывал; был лишь инстинкт. У него гладкие щеки с широкими скулами; нос, приплюснутый к концу; узкие, очень черные, глубоко сидящие глаза, с тонкими полукруглыми бровями; большой и тонкий рот; цвет лица бледный; кожа на лице выглядела такой толстой, что из нее можно было сделать седло! Он не владел собой, как Тургенев, а кивал и жестикулировал, как француз.

Он ворвался в комнату с диким выражением «своего восхищения мистером Карлейлем». Я предложила ему сесть, а он провозглашал, что «мистер Карлейль именно тот, кто нужен России». Я пыталась снова и снова организовать разумный разговор, но ничего не могла добиться, кроме рапсодий о тебе на ужаснейшем английском языке, который я когда-либо слышала из человеческих уст! Можно надеяться, что (как он мне говорил) он читает

пример, на его статье «Выставка в императорской Академии художеств» (№ 66 росписи). Он начал с диалектики национального и общечеловеческого в искусстве и с похвал выставке за то, что фантазия художников «строго держится действительности и природы, не старается прикрашивать их фразой и театральностью», а затем, несомненно имея в виду диссертацию Чернышевского, стал возражать: «никогда самое отчетливое, самое рабское подражание природе не может заменить этого поэтического отражения ее»; и дальше прямо по Карлейлю: «корень» мастерства заключен «в душе художника»; это — «тайна», «потому что не знаем пути к ее достижению», «она дается как красота, как грация, а не приобретается», «это та самая тайна, которую люди условились называть поэзией» (III, 124—125).

Отсюда — прямая дорога к статье Боткина о Фете, которую он напишет через год. А в течение этого года (1856) Василий Петрович продолжал эволюционировать. Летом на даче в Кунцево он живет уже не с Некрасовым, а с Дружининым — это не могло не отразиться на его взглядах. На глазах у Боткина Дружинин здесь писал известную программную статью «Критика Гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения», направленную против идей Чернышевского и в защиту «чистого искусства». «Статья отличная и умная», — охарактеризовал ее Боткин в письме к Анненкову от 7. VI. 1856<sup>55</sup>. Несколько позже, в письме к Дружинину от 9. X, он похвалил рецензию адресата на «Метель» и «Два гусара» Л. Толстого<sup>56</sup>. Многие принципы Дружинина отразятся в статье Боткина о Фете.

В течение 1856 года Боткин сближается с Ап. Григорьевым, который стал посещать его и которого он начал снабжать деньгами и книгами<sup>57</sup>. Эта дружба вполне закономерна в период,

---

по-английски много лучше, чем говорит, иначе он сделал бы невообразимый перевод «Культа героев». Так или иначе, но «большая делегация петербургских студентов» ожидала его (Боткина), чтобы благодарить его в самых высоких выражениях за то, что он перевел для них «Культ героев» и познакомил их с Карлейлем. И молодые русские дамы теперь читают «Культ героев» и вполне понимают. Он был в испарине, когда ушел, и я тоже!

Мне хотелось задать ему несколько вопросов; например, как он познакомился с твоими трудами (он сказал, что выписывал их из Англии «по самой высокой цене»), но это все равно, что спрашивать водопад! Самое большее, что я могла для него сделать, это дать ему твою фотографию, которую я запаковала, чтобы он носил ее в тулье своей шляпы!» (J. W. Carlyle, *Letters and Memorials*, London, 1883, vol. II, pp. 355—357). Охарактеризован Боткин не очень лестно, но по крайней мере не так, как этот эпизод рассказан Феокистовым (см. Е. М. Феокистов, *Воспоминания*, Л., 1929, стр. 9—10).

<sup>55</sup> П. В. Анненков и его друзья, стр. 571—572.

<sup>56</sup> Письма к А. В. Дружинину, стр. 50. Ср. подробный отзыв самого Боткина о «Двух гусарах» в письме к Некрасову от 15. V. 1856 («Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 94—95).

<sup>57</sup> Б и Т, 92; Письма к А. В. Дружинину, стр. 49; «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», Петроград, 1917, стр. 51, 159.



когда Боткин был так увлечен Шеллингом и Карлейлем. Если под влиянием Дружинина Боткин переходил к защите «искусства для искусства», то Григорьев несомненно усиливал «романтическую» сторону его эстетических суждений<sup>58</sup>. Обе эти линии сливались теперь воедино. Например, в письме к Тургеневу от 10. XI. 1856 Боткин положительно оценивает в повести «Фауст» именно «субъективность» автора, «лиризм», «искренность», «романтизм чувства», проповедует, что Тургенев — писатель для «избранной части общества» и не создан для «большинства» (Б и Т, 101—103).<sup>59</sup>

Но Боткин, как уже много раз говорилось, был сторонником золотой середины. Он не желал экстремизма ни Дружинина, ни Григорьева. Интересно, что когда редакция «Современника» уполномочила Боткина вести переговоры с Ап. Григорьевым об участии его в журнале, то последний предъявил ультиматум «об изгнании г. Чернышевского», «потому что два медведя, т. е. два воззрения, в одной берлоге, т. е. в одном журнале, не уживаются»<sup>60</sup>; но Боткин в письме к Некрасову от 19. IV. 1856 начал увильгивать от прямой оценки альтернативы Григорьева: «На это кажется едва ли можно согласиться: положим, что Григорьев несравненно талантливее Черныш., — но последний несравненно дельнее. Он готов даже переехать в СПб. Что ты на это скажешь? При твоём контроле Григорьев был бы кладом для журнала: это единственный человек, у которого есть то, что нужно для журнала и чего, кроме него, нет ни у кого. Притом он ко всем нам несравненно ближе Чернышевского. Переговори-ка об этом с Тургеневым, — а право об этом стоит по-

---

<sup>58</sup> Не под влиянием ли Ап. Григорьева Боткин стал положительно отзываться о славянофилах? Например, посмертную статью И. Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии» он назвал «необыкновенно глубокомысленной», хотя и отмечал ее «утопичность» (Б и Т, 92—93; Тургенев и круг «Современника», М.-Л., 1930, стр. 378). С другой стороны, Боткин стал критиковать исторические взгляды Б. Н. Чичерина: «никто на свете не уверит меня, чтобы общественное владение было плодом позднейшего законодательства, а не нравов, которые, напротив, перепутывают у нас всякое законодательство» (П. В. Анненков и его друзья, стр. 571).

<sup>59</sup> Нужно, однако, учитывать, что дипломатичный и осторожный Боткин далеко не всегда высказывался до конца. Если в письме к близкому для Тургенева Д. Я. Колбасину он также подчеркивал, что «Фауст» — лучшая повесть Тургенева, т. к. автор — «лирик и романтик», а «объективность не в характере таланта Тургенева» (Б и Т, X), то в письме к И. И. Панаеву от 15. X. 1856 он сделал целый ряд «объективных» замечаний по поводу «Фауста», при учете которых катастрофа Веры выглядела бы «естественнее» (Тургенев и круг «Современника», М.-Л., 1930, стр. 392); еще более резко, хотя и не слишком конкретно, обругана повесть в письме Боткина к Д. В. Григоровичу от 29. X. 1856: «Тургенев испортил своего «Фауста» — кунштуками. Не может этот человек обойтись без того, чтоб не козырнуть чем-нибудь — и всегда выходит неудачно» (ГПБ, ф. 222, № 4, л. 2 об.).

<sup>60</sup> «Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 134.

думать»<sup>61</sup>. Но или Некрасов не принял ультиматума и ответил на это исключаящим всякие сомнения отказом<sup>62</sup>, или сам Боткин не решился настаивать далее<sup>63</sup> — во всяком случае подробное письмо Григорьева к Боткину с перечислением всех требований и с приложением двух теоретических сочинений («Нечто о православии и о желаемых к нему отношениях журнала», «Нечто о русской истории, о русском быте и о желаемых к оным отношениях журнала») сохранилось в архиве Боткина (Гос. музей Л. Н. Толстой в Москве), т. е., очевидно, не было переслано Некрасову, хотя Григорьев и просил об этом в конце письма<sup>64</sup>.

Более того, Некрасов, уезжая в августе 1856 года за границу, оставил своим заместителем именно Чернышевского, поручив ему не только заведовать отделом критики и библиографии, но и заменять себя «во всем, касающемся выбора и заказа материалов для журнала, составления книжек, одобрения или неодобрения той или другой статьи и т. д.»<sup>65</sup> Боткин не мог не знать об отношении Некрасова к Чернышевскому, это в какой-то степени отражалось и на его в целом положительных оценках деятельности критика «Современника»<sup>66</sup>.

Наверное, 1855—1856 гг. — наиболее противоречивый период во всей творческой биографии Боткина: он мог почти одновременно защищать и искусство для жизни и искусство для искусства, народность — и литературу для избранных, одновременно хвалить и ругать Чернышевского; находиться в дружбе с

<sup>61</sup> Там же, 1916, № 10, стр. 93.

<sup>62</sup> Ср. с этим следующий эпизод. Когда Некрасов узнал, что Островский недоволен резким отзывом «Современника» о Т. Филиппове, то он ответил Боткину (письмо от 16. VI. 1856), что журнал «не будет холопом своих сотрудников, как бы они даровиты ни были» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. 10, стр. 279).

<sup>63</sup> Впрочем он еще обратился с недошедшим до нас письмом к Тургеневу по тому же вопросу; Тургенев после этого в свою очередь предлагал Некрасову посредничество в приглашении Григорьева, но вел ли он переговоры с Григорьевым — неизвестно. См. И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем, Письма, т. II, М.-Л., 1961, стр. 345—347; см. также В. Е. Евгеньев-Максимов, «Современник» при Чернышевском и Добролюбом, Л., 1936, стр. 73—74.

<sup>64</sup> Письмо и приложения опубликованы С. Мельгуновым: «Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 129—134.

<sup>65</sup> Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. 10, стр. 288.

<sup>66</sup> «Очень хороша и значительна для нас статья Чернышевского: она впервые высказала знание Надеждина в русской критике»; «Библиография Соврем. решительно начинает блистать. Чернышевский очевидно идет вперед; статьи его становятся не только дельны, — это в них всегда было, — но характерны. На них теперь обращено внимание всех, кто сколько-нибудь интересуется рус. литературой. С большим участием прочел я последнюю статью его о Гоголевск. периоде» (письма к Панаеву от 14. IV. и 21. XI. 1856; Тургенев и круг «Современника», стр. 372, 385); «Библиография Чернышев. решительно начинает обращать на себя внимание» (Письмо к Тургеневу от 24. XI. 1856; Б и Т, 93).

Дружининым, Ап. Григорьевым и Некрасовым. Но такой период продолжался недолго. Стоило Чернышевскому в «Очерках гоголевского периода русской литературы» вплотную приступить к анализу журналов Белинского и упомянуть в числе «главных сотрудников» «Московского наблюдателя» г. Боткина» (да в соседстве с многозначительным намеком: «мы еще пропустили некоторые имена, еще более выразительные»<sup>66а</sup>, — т. е. имелся в виду эмигрант М. А. Бакунин, один из руководителей журнала), как Василий Петрович встревожился. Очевидно, его самолюбие было и польщено таким упоминанием, но, с другой стороны, будучи после смерти отца главою крупной чаеоторговой фирмы и весьма заметной фигурой на фоне московского купеческого мира<sup>67</sup>, он не был заинтересован в упоминании своей фамилии в ряду крамольных литераторов<sup>68</sup>. Поэтому в письме к И. И. Панаеву по поводу пятой главы «Очерков», где Чернышевский назвал его, Боткин заметил, что «нужно обращаться осторожно и не употреблять имена часто всеу»<sup>69</sup>.

Тем не менее Чернышевский в черновике следующей, шестой главы «Очерков» назвал Боткина первым соратником Белинского: «сподвижниками Белинского, Грановского и других были г. Боткин, г. Галахов...» Однако в журнальном тексте фраза была несколько видоизменена<sup>70</sup> (Чернышевский? Панаевым?) и то ли по вине наборщика<sup>71</sup>, то ли сознательно (учитывая недовольство Боткина упоминаниями его имени) фамилия Боткина исчезла. Со своей стороны, опасаясь задеть и самолюбие сотрудника, Панаев как бы извинился перед Боткиным: «В статьях о Гоголевском периоде пропущено твое имя, по случайным обстоятельствам, которые я тебе сообщу» (ничего впрочем не сообщил!). Вначале Боткин не придал этому эпизоду должного внимания. Похвалив в ответном

<sup>66а</sup> Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М., 1947, стр. 197.

<sup>67</sup> Любопытно, что в связи с коронацией Александра II Боткин в ряду других именитых московских людей, пожертвовавших крупные суммы во время войны, был пожалован императором в августе 1856 г. «золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее, на Аннинской ленте» (ЦГАЛИ, ф. 54, оп. 1, № 62).

<sup>68</sup> В другой раз, когда он узнал, что в игривом фельетоне Дружинина будет упомянуто его имя, то он тотчас же послал в Петербург телеграмму, а затем — письма Краевскому и Дружинину, где умолял не называть его (Письма к А. В. Дружинину, стр. 37, 87; Отчет ИПБ за 1889 год, СПб., 1893, Приложения, стр. 107).

<sup>69</sup> Тургенев и круг «Современника», стр. 378.

<sup>70</sup> Н. Г. Чернышевский, т. III, стр. 826, 223.

<sup>71</sup> Е. Я. Колбасин писал Тургеневу 18. X. 1856: «Вообразите, какой вышел изумительный случай, спасший редакцию «Современника» от окончательного яда Василия Петровича: при наборе, как-то нечаянно, выпало его имя, и таким образом, к величайшей радости Панаева, Василий Петрович не поименован» (Тургенев и круг «Современника», стр. 284). Разумеется, Панаев мог нарочно распространить версию о случайной ошибке.

письме Панаеву от 21. IX. 1856 статьи Чернышевского, он равнодушно отнесся к пропуску («я в этом ровно ничего не вижу»<sup>72</sup>). Но когда вся либеральная Москва со страхом заговорила о том, что Чернышевский использовал в статье недавно опубликованные Герценом главы из «Былого и дум» («Полярная звезда», кн. 1, 1855), то Боткин не на шутку испугался и стал отзываться о шестой части «Очерков» Чернышевского в самых раздраженных тонах<sup>73</sup>. Откровенно обывательскую позицию занял Боткин и в истории с цензурными запретительными мерами, принятыми после опубликования стихотворения «Поэт и гражданин». Е. Я. Колбасин так описывал Тургеневу реакцию Боткина: «Когда случилось это неприятное происшествие, то Василий Петрович вышел из себя и зашипел: «и чего еще нужно этому Некрасову? разве ему мало — имеет квартиру, экипаж, задает обеды, — и чего еще ему нужно?»<sup>74</sup>

Эти, казалось бы, незначительные факты тем не менее были вполне закономерными в условиях постепенного «поправления» Боткина, а может быть они явились и своеобразными толчками, продвигавшими его вправо. Внешне все выглядело благопристойно<sup>75</sup>, но Василий Петрович уже писал статью о Фете<sup>76</sup>, должную быть ответом и противовесом эстетике Чернышевского. Нужно сказать, что ему в этом активно помогал И. И. Панаев, который так внушал Боткину главный смысл его труда: «статья твоя крайне важна для публики, ибо в сию минуту никто не может лучше тебя растолковать публике о том, что такое поэзия, и указать на нее в Фете, Огареве и др. поэтах. Об Огареве Чернышевский сказал только с одной стороны в библиогр., а в конце этой статейки я *прибавил*, что мы вскоре надеемся сказать и о поэтич<еской> деят<ельности> Огарева<sup>77</sup> — это именно намек на твою статью, ибо другой не предвидится, а я знал, что ты в статье о Фете будешь говорить и об

<sup>72</sup> Тургенев и круг «Современника», стр. 384, 386.

<sup>73</sup> Он просил, например, Дружинина в письме от 9. X. 1856 передать Панаеву, «чтоб он остановил Ч. от дальнейшего развития последней статьи его. Здесь все возмущены ее несвоевременностью и ребяческой откровенностью, служащей комментариями к воспоминаниям другого автора. Это не хорошо и вредно» (Письма к А. В. Дружинину, стр. 50—51). В тех же выражениях он описывает этот эпизод Тургеневу (Б и Т, 104—105).

<sup>74</sup> Тургенев и круг «Современника», стр. 299. Письмо от 2. XII. 1856.

<sup>75</sup> Чернышевский писал Некрасову 5. XII. 1856: «Боткин по-прежнему благоволит ко мне, чему я рад» (Н. Г. Чернышевский, ф. XIV, стр. 330).

<sup>76</sup> Замысел статьи возник, очевидно, еще весной 1856 г. (см. Б и Т, 84), писал ее Боткин летом и осенью (см. его письма к Дружинину и Панаеву), закончил же непосредственно к набору январского номера, т. е. в декабре 1856 г.

<sup>77</sup> И. И. Панаеву принадлежит последний абзац в рецензии Н. Г. Чернышевского «Стихотворения Н. Огарева», о чем свидетельствует и отсутствие этого абзаца в рукописи (см. Н. Г. Чернышевский, т. III, стр. 568, 846).

Огареве<sup>78</sup> <...> Черн<ышевский> не может оценивать поэтическую сторону; вследствие этого его разборы о поэтах односторонни<sup>79</sup>.

4

Статья Боткина о Фете (№ 70 росписи) — самая крупная из его оригинальных литературно-критических работ. И последняя в то же время. На ней фактически закончилась публичная деятельность его как литературного критика. Зато он и постарался вложить в нее все свои идеи той поры и всю свою душу. В письме к Тургеневу от 3. I. 1857 он так характеризовал свою статью: «Тебе верно не понравится восторженный тон ее, — да и мне самому противен он, — но я решительно не могу, говоря о поэзии и искусстве, не выйти из обыденного тона. Говоря откровенно, мне самому хотелось дать себе посильный отчет о том, что такое искусство, что такое поэзия? Ответов на это я не находил ни у кого, или находил их в таких сложных построениях, в таких отвлеченностях, что невозможно было схватить предмет в его общечеловеческом виде. Некоторый толчок дан мне был общими идеями Карлейля; из всего этого составилось посильное решение» (Б и Т, 110).

Опирался Боткин не только на Карлейля: он использовал идеи Шеллинга, Гете, некоторые мысли заимствовал у Дружинина. А главное — он давал бой теории Чернышевского (об этом он умалчал в письме к Тургеневу). Начал Боткин хитро: с прославления «практического направления нашего века» (II, 355), которое «поведет за собою и возвышение нравственных потребностей» (II, 353); «общество человеческое живет и движется только нравственными идеями», а «главным и самым сильным орудием» нравственных идей «служит искусство» (II, 354). После этого можно бы ожидать просветительских выводов о преобразующей, активной роли искусства в жизни — и в самом

<sup>78</sup> Действительно, первоначально статья была замыслена и написана под заглавием «Фет и Огарев» (см., Н. Г. Чернышевский, т. XIV, стр. 330). Но по каким-то причинам в печатном тексте ни слова не говорится об Огареве. Возможно, что Герцен опубликовал в «Полярной звезде» на 1856 г. (вышла в апреле 1856 г.) главу из «Былого и дум» о юношеской дружбе с Огаревым, зашифрованным под прозрачным «Н» (да еще Чернышевский в рецензии на «Стихотворения Н. Огарева» уже почти совершенно открыто намекал на эту дружбу, назвав Огарева Патроком и процитировав его стихотворение «Старый дом», которое в «Полярной звезде» было напечатано и прокомментировано Герценом как поэтическое воспоминание друга об их юношеских встречах — см. С. А. Рейсер, II. П. Огарев, — в кн.: Н. П. Огарев, Стихотворения и поэмы. Л., СП., 1956, стр. 24), — знавший все это Боткин вполне мог струсить и нарочно умалчать об Огареве.

<sup>79</sup> Тургенев и круг «Современника», стр. 389.

деле, дальше будет речь о том, что искусство входит «в практику нашей жизни, становится действующим ее элементом и часто оказывает несравненно большее и глубочайшее практическое действие, нежели тысячи явлений, по привычке называемых практическими» (II, 355). Здесь действительно Боткин следует, очевидно, по старой привычке, просветительским принципам, идеалистическим в основе, но в домарксов период единственно прогрессивным по своему общественно-активному, революционизирующему характеру. Но это заявлено вскользь, Боткина больше интересует другое, прямо противоположное просветительским идеям: «Полагать, что наше время потому только, что оно имеет практическое направление, должно изменить коренные свойства человеческой природы, — значит совершенно односторонне понимать ее. При всех временных преобладаниях различных стремлений, которыми исполнена история народов, — основные свойства человеческой природы постоянно одинаковы во все времена»<sup>80</sup> (II, 354).

Если же сущность человека не изменяется (следовательно, и общественные преобразования бесплодны), если «все в мире совершается по неизменным законам, сущность которых лежит вне нашего познания» (II, 352), то искусству отводится только улаживающая функция, роль сладкого блюда: «Поэтическое чувство можно бы назвать шестым и самым высшим чувством в человеке. Это какое-то невыразимое наслаждение, мгновенно одухотворяющее весь физический организм человека, сообщаящий ему бесконечную полноту блаженного духовного упоения жизнью» (II, 363). Так чувствует воспринимающий искусство, подобно же ощущение у творцов; например, Гоголя в «Ревизоре» «прежде всего восхищала комическая сторона его героев» (II, 367). Если еще год назад Боткин проповедовал, что философская мысль поэтична (см. прим. 53), то теперь, говоря о поэзии, он всячески оберегает ее от мысли, многократно повторяет, что истинное искусство бессознательно, таинственно (якобы поэтому «сознательный» Гете слабее Шекспира — II, 365); он

<sup>80</sup> Ср. в письме Боткина к Е. Б. Грановской от 18. VI. 1852: «Читаю теперь письма Цицерона к Аттику <...> Что там ни говорить, — а люди не изменились ни на волос, поизмельчали и поистаскались только. Да никогда и не изменятся — а только переменяют платья и названия вещей» (Отдел писем. Источников Гос. исторического музея, ф. 345, № 32, л. 155 об.).

Но Боткин сам себе противоречит, когда, отрицая «полезные цели» искусства и возможность изменить человека, в то же время подчеркивает, что «духовное наслаждение» от искусства делает человека «лучшим», «исцеляет его от загроубелости нрава, черствости чувств, эгоизма <...> Вот в чем заключается благотворное действие литературы на общество» (II, 392—393). Впрочем, это не личное противоречие Боткина: это парадоксы целого течения в русской общественной мысли от Карамзина до Достоевского, представители которого утверждали неизменность и низменность человеческого характера, но верили в возможность нравственного возрождения.

прямо, откровенно полемизирует с Чернышевским и Некрасовым: «У нас и в прозе, и в стихах сочиняли, чем должен быть поэт; особенно любят изображать его карателем общественных пороков, исправителем нравов, проповедником так называемых современных идей. Мнение совершенно противоречащее и сущности поэзии, и основным началам поэтического творчества»; по Боткину, «поэт под одеждою временного имеет в виду только вечные свойства души человеческой» (II, 367).

Естественно, что Боткин уничижает «дидактическую», «утилитарную теорию, которая хочет подчинить искусство служению практическим целям» и противопоставляет ей «теорию свободного творчества»: он не решился сказать «искусство для искусства» (термин слишком скомпрометированный в условиях общественного подъема в России после Крымской войны), поэтому хотя и привел эту формулу в качестве синонима «свободного творчества», но добавил, что «искусство для искусства» — «весьма сбивчивое название» (II, 362).

Таково теоретическое введение к статье о Фете, в котором Боткин явно стал отказываться от либерального принципа «золотой середины», все более и более сближаясь с Дружининым в защите «свободного творчества».

В оценке поэзии Фета Боткин также во многом следует за Дружининым, статьей которого о Фете («Библиотека для чтения», 1856, № 5) Василий Петрович заинтересовался вскоре после ее опубликования<sup>81</sup>.

У нас нет данных, читал ли в эти месяцы Боткин статьи Ап. Григорьева о Фете<sup>82</sup>, пожалуй, самого глубокого истолкователя творчества поэта в русской критике 1850-х годов. Но в свое время он, конечно, прочел их. Несомненно, изучал их и Дружинин, который заимствовал у Григорьева многие главные идеи своей статьи<sup>83</sup>. Тезисы Дружинина (взятые у Григорьева): Фет «уясняет нам мимолетные порывы собственных сердец наших», «В нем не имеется драматизма и ширины воззрения, его мирозерцание есть мирозерцание самого простого смертного»; стихи Фета как «музыкальные *potturno*»; он — поэт «антологической древности», «прелестей природы» и «сельского спокойствия»<sup>84</sup> — будут через несколько месяцев развиты Боткиным. В целом, однако, структура мышления последнего существенно

<sup>81</sup> Письма к А. В. Дружинину, стр. 47.

<sup>82</sup> «Стихотворения А. Фета. М., 1849» («Отечественные записки», 1850, № 2, отд. V, стр. 49—72) и раздел о Фете в статье «Русская изящная литература в 1852 году» («Москвитянин», 1853, № 1, отд. V, стр. 41—57).

<sup>83</sup> Зависимость отзывов Дружинина и Боткина от идей Григорьева отмечена в статье: П. П. Громов, А. А. Фет, — В кн.: А. А. Фет, Стихотворения, М.—Л., СП., 1963, стр. 33, 46.

<sup>84</sup> А. В. Дружинин, Собр. соч., т. 7, СПб., 1865, стр. 121, 125, 129.

разнится с дружининской, тянется непосредственно к Григорьеву (причем не столько к прежнему, сколько к современному<sup>85</sup>). Чуть ли не главная мысль Дружинина в статье о Фете заключается в следующем: Пушкин якобы создает стих «небольшим числом штрихов», для Лермонтова характерна субъективность, а Фет, в отличие от них, «как бы отрешается от своей личности и воссоздает поразившую его картину, не выпуская из нее малейшей подробности»<sup>86</sup>. То, что в какой-то степени типично для некоторых антологических стихов Фета, Дружинин называет самой специфической особенностью всей его поэзии. Боткин, наоборот, идя за Григорьевым в подчеркивании субъективизма Фета, отмечает в первую очередь романтическое слияние чувства, «души» поэта с внешним миром — и отрывочно-абрисный характер рисунка: «Г. Фет не старается описывать природу, не вдается в подробности; две, три черты схвачены из общей картины «милого лица», — но всегда такие, которые тотчас передают тон, пробуждаемый ею в душе: душевное ощущение гармонически сливается с природою» (II, 384). И в другом месте: Фет «уловляет не пластическую реальность предмета, а идеальное, мелодическое отражение его в нашем чувстве» (II, 378). Поэтому и читатель, отмечает Боткин, должен для восприятия стихов Фета обладать «фантазией, легко отделяющейся от практической действительности» и «романтическим расположением духа» (II, 388). Давнишняя тяга Боткина к романтическому субъективизму в период апологии «свободного творчества» стала особенно заметной.

Однако, во многом Боткин, аналогично своей оценке Шопена, остается при анализе стихотворений Фета традиционалистом, не понявшим всего нового, внесенного Фетом в историю русской поэзии (это частичное непонимание делили с ним другие единомышленники: и Дружинин, и Тургенев, и даже в какой-то мере Ап. Григорьев). Боткина (как и Дружинина<sup>87</sup>) смущает, что Фет свой поэтический мотив выражает «не только в смутной, запутанной форме, но иногда даже в таком странном наборе образов и сравнений, что читатель решительно имеет право считать

<sup>85</sup> Конечно же, от Григорьева (и от их общего учителя Карлейля) идет пафос «искренности» и «правдивости» в статье Боткина (см. II, 374—375). Ср. незадолго перед тем напечатанную в «Русской беседе» (1856, № 3) статью Ап. Григорьева «О правде и искренности в искусстве».

<sup>86</sup> А. В. Дружинин, ук. том, стр. 124.

<sup>87</sup> Дружинин, впрочем, лишь «под занавес» своей рецензии бегло сказал «о некоторой туманности и неправильностях в языке нашего автора» (ук. том, стр. 130), а в целом он приветствовал «сумрачно-неуловимое» и «блуждающее» в поэзии Фета (стр. 127, 128). Любопытно также, что, цитируя стихотворение «Полуночные образы реют», которое Боткин приводил как пример «бессмыслицы» и «хаоса» (II, 376), Дружинин оправдывает его, т. е. после прочтения содержание его кажется критику «и точным и понятным» (стр. 127).



всю пьесу за бессмыслицу»; талант автора «более походит на талант импровизатора», «строгое, художественное чувство формы, не допускающее ни одной смутной черты, ни одного неточного слова, ни одного шаткого сравнения, редко посещает его» (II, 376, 377). Как к Шопену Боткин подходил с мерой Бетховена, так теперь он судит о Фете нормами пушкинской эпохи! Он ценит «сложность» и «неуловимость» у Фета лишь когда они сочетаются с «яркостью» и «определенностью» (II, 377). Впрочем, *яркость*, вообще — интенсивность переживания — не в духе Боткина. Поэтому он применяет этот эпитет только по отношению к двум стихотворениям Фета: «О, долго буду я, в молчанье ночи тайной» и «Я пришел к тебе с приветом» (II, 377, 391). В других случаях критик предпочитает говорить о «тихих, глубоких ощущениях», «уединении и молчании», «необыкновенной тишине и спокойствии», «тихом, кротком течении звуков», «бледнеющей постепенности вечерних тонов природы, тихо, незаметно переходящих в ночные тона», «светлых, кротких, наивно-радостных движениях души» (II, 383, 385, 386, 389). Именно эти качества больше всего привлекают Боткина в поэзии Фета.

В этой же связи ратует он за «обыденность» в стихах (II, 379); черта, уже отмеченная до Боткина и Григорьевым, и Дружининым, особенно тесно и четко вписывается в круг идей нашего критика: он противопоставляет эту обыденность, домашность описаниям «сильных, эффектных явлений природы» и тем самым сближает со всеми теми свойствами, которые процитированы в предшествующем абзаце. Из этой же «тихой, кроткой» обыденности (а не из стремления к объективности!) выводит Боткин тягу Фета к «простодушному чувству», к «первобытному» взгляду на вещи, т. е. антологическим стихам (II, 379), которые так привлекательны для критика: «чарующее эхо этой младенческой эпохи человечества до сих пор обаятельно отзывается в нас и всегда будет сладостно человеку, как сладостно ему смутное воспоминание о его младенческих годах» (II, 381). Многие мыслители (в том числе и Маркс) сравнивали интерес людей новой эры к античности с памятью о наивном, чистом, прекрасном детстве. Но никто, пожалуй, так не подчеркивал, как Боткин, *сладостность* этого чувства! В статье о Фете особенно ярко проявилось «гурманское» отношение критика к искусству. Боткина радует «безотчетное наслаждение жизнью», при созерцании природы он ощущал «сладчайшие струи, заливавшие» его «грудь невыразимым блаженством» (II, 379, 383). Поэтому и поэзию Фета он прославляет как «звук светлого, праздничного чувства жизни» (II, 393). Но праздничность, приподнятость создается «в какой-то отрешенности от всех житейских тревог» (II, 393). В этом же смысле истолковывает Боткин цитату из книги Гете о Винкельмане, которой заканчивается статья, как и

вообще образ Гете служит в статье примером служения «чистому искусству»<sup>88</sup>.

Таким образом, Боткин в общем верно определил многие особенности таланта Фета, но его творчество было безмерно апологетизировано критиком и, несмотря на все декларации о «высочайшем блаженстве» искусства, отрешенного от жизни, послужило самым наижитейским целям: возведению на пьедестал «чистой поэзии» и «развенчанию» поэзии «дидактической». Статья была вызывающе направлена против идей Чернышевского. Последний, несмотря на большие полномочия, предоставленные ему Некрасовым, очевидно, был вынужден согласиться под давлением Панаева на публикацию статьи в «Современнике» (это — после «Очерков гоголевского периода русской литературы», после некрасовских «Заметок о журналах»!). К тому же Чернышевский должен был считаться (да он и сам тогда частично разделял эту иллюзию) с тактическими намерениями Некрасова привлечь на свою сторону передовых либеральных писателей и критиков. Во всяком случае он не только не возразил Боткину<sup>89</sup>, но даже в следующем (февральском) номере «Современника» опубликовал свою хвалебную рецензию на «Письма об Испании». Это не означает, что Чернышевский смирился с враждебной пропагандой. Нет, статья Боткина оказалась последней публикацией «Современника», направленной против лагеря революционных демократов.

Уже в апрельском номере «Современника» Чернышевский в рецензии на «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского дал бой дружининским идеям (отрицая защиту «дидактической» литературы и показывая критическую близорукость апологета «чистого искусства» в оценке художественных произведений). Интересно, что И. И. Панаев в письме к Боткину от 31. III. 1857 хвалит статью Чернышевского и бранит Дружинина-критика<sup>90</sup>.

<sup>88</sup> См. А. В ем, Goethe im Briefwechsel V. P. Botkins und I. S. Turgenevs, «Germanoslavica», Jahrgang I, 1931—1932, Heft 3, S. 489—491; В. М. Ж и р м у н с к и й, Гете в русской литературе, стр. 382—384, 654. Эту же цитату (не в переводе, как в статье, а в подлиннике) приводит Боткин в письме к Тургеневу от 29. IX. 1856 и истолковывает ее в том же духе: он доволен, что Тургенев окружен «бездной духовных наслаждений», подчеркивает в цитате, что «счастливый человек» должен «бессознательно радоваться своему существованию» и призывает адресата быть «хоть на краткое время растением» (Б и Т, 94—95).

<sup>89</sup> Зато студент Добролюбов, не связанный журнальной дипломатией, прочтя боткинскую статью, написал ядовитый памфлет, направленный и против Боткина, и против Фета. Наивно полагая, что такой текст сможет опубликовать враг «Современника» Краевский, он отнес статью в редакцию «Отечественных записок» (Н. А. Д о б р о л ю б о в, Полн. собр. соч. в 6 тт., т. 6, М., 1939, стр. 452, 455). Разумеется, Краевский и не подумал печатать антиботкинскую и антифетовскую статью, и она затерялась; в бумагах Добролюбова сохранился лишь начальный отрывок в несколько строк (Н. А. Д о б р о л ю б о в, Собр. соч. в 9 тт., т. 1, М.—Л., 1961, стр. 309).

<sup>90</sup> Тургенев и круг «Современника», стр. 417—418.

А через несколько месяцев в журнал был приглашен Добролюбов и с тех пор критический отдел оказался вообще полностью в руках круга Чернышевского.

Боткину пришлось искать другой полигон для стрельбы по революционным демократам. Любопытно, что следующий залп был им произведен со страниц журнала своего зятя, П. Л. Пикулина — «Журнала садоводства», где в апрельском номере за 1857 г. была опубликована его (точнее, переведенная им с немецкого) статья «Об употреблении розы у древних» (см. № 71 росписи). Залп этот был, конечно, косвенный: просто в обстановке обостренной социальной борьбы Боткин с удовольствием излагает, как «римляне любили и умели доводить до тонкости всякое наслаждение жизнью» (II, 331) и как они использовали розы для приготовления венков, ковров, духов, пищи, вина и т. д.

При этом Боткин пытается сохранить объективность. Конечно, ему, в отличие от Панаева, очень нравится Дружинин-критик. Как раньше он хвалил дружининские статьи о Фете, Огареве, Толстом, так и теперь — о Тургеневе<sup>91</sup>. Но, с другой стороны, он считает «очень хорошей» и рецензию Чернышевского на стихотворения Н. Ф. Щербины и готов бы признать «замечательной» статью Чернышевского «Собрание писем царя Алексея Михайловича», «если б она не была так пропитана желчью и остервенением»<sup>92</sup>.

По-прежнему всякая крайность вызывает в Василии Петровиче раздражение. Ему не по душе все разгорающиеся в России политические страсти. Настоящим побегом в «мир искусства» явилась его поездка за границу, предпринятая вместе с Дружининым в апреле 1857. года<sup>93</sup> (он вернется в Россию лишь в

<sup>91</sup> Письма к А. В. Дружинину, стр. 50, 56.

<sup>92</sup> Тургенев и круг «Современника», стр. 409. Несомненно, рецензия на стихи Щербины Боткину понравилась не из-за похвал Чернышевского в адрес поэта (Боткин, конечно, не мог сочувствовать автору, написавшему на него весьма ядовитые сатиры в стихах и прозе — см. Н. Щербина, Альбом ипохондрика, Л., 1929, стр. 65, 136) или из-за недовольства антологическими стихами Щербины, а за пафос свободы поэтического таланта от навязанных извне принципов. А «желчь» Чернышевского в статье об Алексее Михайловиче была направлена против славянофильского приукрашивания допетровской Руси — это в 1856—1857 годах не могло вызвать восторга Боткина, наоборот, в это время, в период «обновления» славянофильских теорий, он весьма положительно отзывался о статьях И. Киреевского и Н. Крылова в «Русской беседе» и в споре о народности в науке и допетровском законодательстве был на стороне «Русской беседы», а не Чичерина (Б и Т, 92—93; П. В. Анненков и его друзья, СПб., 1892, стр. 571; Тургенев и круг «Современника», стр. 378, 409; Письма к А. В. Дружинину, стр. 55).

<sup>93</sup> См. в письме Боткина к Л. Толстому от 17 (29) VI. 1857: «Из этого современного политического и религиозного хаоса одно только спасенье — в мире искусства» (Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями, М., 1962, стр. 144). Любопытная характеристика Боткина дана в письме И. С. Тургенева к П. В. Анненкову от 31. X (12. XI). 1857: «эпикурец в нем то и дело пишит и киснет; очень уж он заразился художеством» (И. С. Тургенев. Поли. собр. соч. и писем, Письма, т. III, М.—Л., 1961, стр. 161).

сентябре 1858 года с тем, чтобы летом 1859 снова отправиться в дальние странствия вплоть до мая 1862): Вдали от родины он укрылся от самых бурных волнений, которые только переживала страна на его веку. Правда, он следил за событиями и сам иногда увлекался «политикой» — но между прочим, эпизодически.

## 5.

Живя, главным образом, в Италии, Боткин погрузился в изучение живописи, причем живописи старой, периода раннего Возрождения. Она привлекает его как безвозвратно ушедшая в прошлое эпоха красоты и душевной чистоты, непосредственности, наивности, веры в идеал, и противопоставляется не только современности, но даже классическому искусству итальянского Ренессанса XVI века: «Здесь, в этих уединенных горах (Умбрии — Б. Е.) зародилось и выросло то мистическое созерцание, тот поэтически-религиозный идеал мадонны, которому, несмотря на всю нашу философию, неверующие, до сих пор удивляемся мы <...> наивность чувства — вот что пленительно в этой религиозной школе. Точно так, как восхищает нас старая, средневековая мелодия<sup>94</sup> <...> Что мне за дело, что рисунок у них не имеет никакой правильности, что сочинение ужасно бедно и

Боткин давно уже порывался поехать за границу, но ранее выезд ему был запрещен по следующей причине. В 1852 г. он содействовал опубликованию в «Московских ведомостях» известного некролога Тургеневе о Гоголе, навлекшего на автора правительственный гнев и репрессии. Было обращено внимание и на Боткина. Московский военный генерал-губернатор граф А. А. Закревский доносил о нем в III отделение: «хотя принадлежит к купеческому сословию, но торговли не производит, занимается литературою и знакомство ведет с иностранцами, учеными людьми и профессорами. Во время жительства в Москве известного Бакунина Боткин был с ним в дружеских отношениях и, как говорят, даже помогал ему деньгами. Ведет он себя довольно скромно, но образа мыслей свободного» (опубликовано Ю. Г. Оксманом в кн.: Е. М. Феоктистов, Воспоминания, Л., 1929, стр. 40). В результате над Боткиным был установлен полицейский надзор, снятый лишь 1. XI. 1856 (см. публикацию: Н. Ф. Бельчиков, К истории «Письма из С.-Петербурга о смерти Гоголя», в кн. «Центрархив. Документы по истории литературы и общественности. Вып. 2. И. С. Тургенев», М.—Пг., 1923, стр. 163—164).

<sup>94</sup> Ср. в письмах к А. А. Фету этого периода противопоставление современной французской музыки — произведениям XVIII века, а также восторги в адрес старой немецкой музыки: «Смотрел «Жоконду», старинную французскую оперу Nicolo — человека с большим мелодическим даром <...> Французы потеряли музыкальное чувство с тех пор, как стали забираться в чужую, не свойственную им высшую музыкальную сферу; как противны они в своей Большой опере, так милы в своей старой музыке, совершенно соответствующей их национальному характеру»; «Несколько дней назад слышал «Орфея», оперу Глюка, которая доставила одно из высочайших удовольствий, какие я имел только в жизни моей» (А. А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, М., 1890, стр. 210—211, 314).

однообразно: — но такова сила чувства, — она прорывается сквозь всю бедность и однообразие форм. Эти люди верили в то, что писали, — и вера без их ведома разлила внутреннюю поэзию в их произведениях»;<sup>95</sup> «Глубокая набожность, чистота и наивность чувства в этих христианских мастерах — приводят меня в умиление <...> Это выражение поэзии в осязательной, или наглядной форме необыкновенно странно и удивительно; и тут указать, назвать, определить ее невозможно, как запах цветка, — но и тут она так же редка, как и в литературе. В этом отношении 15 век составляет какое-то чудо: он насквозь проникнут поэзией. Правда, что его поэзия имеет глубоко религиозный, даже мистический характер — так; — но тем не менее, это глубокая поэзия чувства. По мере того как Европа делается более и более скептической, рационалистом и атеистом — эти времена безграничной веры, религиозного экстаза, христианского умиления — получают величайший интерес и, каюсь в том, — всю симпатию мою. Навсегда, навсегда прошли они, навсегда прошло это умиление для Европы. — Подобно тому как ты ругаешь Рим, ты скажешь — и слава богу, что прошли эти времена невежества! Но мне это «невежество» умиляет душу. — Для России не прошло еще то светлое время — там еще искренно верят, там есть мученики»;<sup>96</sup> «живопись 15 века была самым лучшим, самым пышным цветом христианского искусства. Какая-то глубокая и тихая задумчивость лежит на всех произведениях этой эпохи, — увы! столь краткой»;<sup>97</sup> «С 16 века прекращается идеальное направление в искусстве и странно, вместе с ним испаряется в нем и поэзия. Исчезло, безвозвратно исчезло внутреннее, безотчетное чувство религиозности»<sup>98</sup>.

Этими идеями Боткин будет теперь жить все свое последнее десятилетие. Даже за год до смерти он будет повторять то же самое: «Заметь, что первоначальные памятники Возрождения несравненно изящнее памятников уже полного Возрождения. Уже с начала 16 века <нет> той чарующей фантазии, того поэтического обаяния, которыми дышат первые произведения Возрождения. В начале 15 века художники впервые почувствовали красоту произведений античного мира и обомлели от восторга. Я, разумеется, говорю о массе, — редкие, отдельные художники уже в конце 14 века начали понимать красоту его. Но они понимали скорее умом, а не чувством, не сердцем. Вот

<sup>95</sup> ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, № 68, лл. 37 об. — 38. Письмо к Д. Боткину от 3. IV. 1858.

<sup>96</sup> «Сборник Библиотеки СССР им. В. И. Ленина», II, М., 1928, стр. 75. Письмо к Фету от 14. III. 1858.

<sup>97</sup> «Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 161. Письмо к М. Боткину от 11. III. 1859.

<sup>98</sup> ЛБ, ф. 315, картон 6, № 25. Письмо к Фету от 31. III. 1858.

отчего в произведениях художников 15 века чувствуется такой полет фантазии. 15 век был эпохой первой любви, — а 16-й — эпохой счастливого супружества, конечно, прекрасного, — но несколько прозаического»<sup>99</sup>.

Таким образом, искусство раннего Возрождения для Боткина стало своеобразной аналогией поэзии Фета, точнее — его отношение к тому и другому было подобным и описывалось даже в сходных выражениях; только о религиозности Фета не говорил он, потому что о таковой не могло быть и речи. Впрочем, и религиозность итальянских художников для Боткина является скорее синонимом веры в идеал, наивной экзальтации, чем истинной религиозной убежденностью, концепцией верховного существа. Он многократно подчеркивал, что Возрождение ценно именно разрушением средневековых принципов христианства, снижением и превращением божественного в человеческое<sup>100</sup>: «Любопытно проследить, каким образом итальянское искусство, принявши идеал этот от византийского искусства в суровом, величавом, символическом виде, постепенно перерабатывает, преобразует его, постепенно приближая его к человеческой природе»;<sup>101</sup> «византийские идеалы начинают преобразовываться в общечеловеческие <...> знание человеческого тела еще младенческое, — но заметно уже стремление приблизиться к природе, стремление к выражению внутреннего чувства. Перелом совершился; символическое искусство кончилось с своими величавыми, мистически-таинственными изображениями; человек низводит эти изображения с их неприступных пьедесталов в свою родную и понятную сферу чувства и страстей; религиозные идеалы перестают быть необъятными и неисследимыми; они сделаются ими, — но уже совсем другим путем, не путем символа, а путем глубокого человеческого чувства, души, которая со временем вся выльется в изображении и тем сообщит ему уже не внешнюю, а внутреннюю необъятность и неисследимость»<sup>102</sup>; «все идеалы христианства, бывшие долгие времена такими суровыми, неприступными, повелительными — вдруг исполняются сердечностью, становятся просто людьми, — или нет, не просто людьми, а лучшими, прекраснейшими из людей и даже более: у Перуджино они проникаются таким романтическим и мечтательным характером, до какого не достигали литературные про-

<sup>99</sup> ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, № 9, л. 105. Письмо к М. Боткину от 24. VIII. 1868.

<sup>100</sup> Ап. Григорьев, который, как и Боткин, провел несколько месяцев 1857—1858 гг. в Италии, более сложно относился к очеловечиванию религиозных мотивов в живописи. См. его письма к Ап. Майкову от 24. X и 29. XI. 1857 («Уч. зап. ТГУ», вып. 139, 1963, стр. 345—347).

<sup>101</sup> ЛБ, ф. 315, картон 6, № 25. Письмо к Фету от 31. III. 1858.

<sup>102</sup> ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, № 68, л. 40 об. Письмо к Д. Боткину от 21. IV. 1858.

изведения современной нам романтической школы в Германии»<sup>103</sup>.

В этих суждениях сплетаются интерес Боткина к земному, чувственному началу, столь характерному для Ренессанса, с шеллингово-карлейлевыми идеями о возвышенном, романтическом искусстве, создаваемом и постигаемом «неисследимо», интуитивно. Романтизм понимается Боткиным, подобно прежним его высказываниям, как духовное, возвышенное начало, отнюдь не противостоящее естественному и реальному, а вытекающее из последних, но вбирающее лишь идеальную сторону; оно как бы возносит житейское до идеального и одновременно обмирщает идеальное, т. е. диалектически соединяет «человеческое» с «божественным»<sup>104</sup>. Опять же происходит удивительное слияние ранних романтических принципов утопического социализма (вера в гармонические, идеальные личности и тяга к ним), реалистических традиций 40-х годов, идей Шеллинга и Карлейля, более поздних учителей Боткина, и — желание укрыться в светлом и возвышенном мире искусства от «грязи» повседневности.

---

<sup>103</sup> «Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 161. Письмо к М. Боткину от 11. III. 1859.

<sup>104</sup> Большой интерес в этой связи представляет черновой набросок письма Боткина к Фету (очевидно, не отправленного), относящегося к весне 1858 года. Письмо написано из Мюнхена, где Боткин был с 25. IV по начало мая. Вот что он говорит о мюнхенской школе живописи и романтизме в искусстве: «Романтизм, бывший таким живым источником для нашего века, снявший с наших глаз завесу, которая закрывала от нас душевную жизнь человека, тот романтизм, который пробудил в современных нам поколениях омертвевшие струны поэзии — этот романтизм здесь, в Мюнхене, сосредоточился в художественную деятельность. Но не надо забывать, что романтизм имел два направления — пантеистическое и католическое. Пантеистический романтизм выразился в поэзии — католический в живописи. Если в последнее время в Германии католицизм имел некоторое внутреннее обновление, доходившее даже до энтузиазма, — то он этим обязан был единственно романтизму. И замечательно, что этот энтузиазм вышел вовсе не из духовенства и не из церкви, а из литературы и науки. Значит, что основа его была живая и действительная. Много в то время ученых и литераторов из протестантов сделали католиками. Но этот воскрешавший католицизм был совсем особенного, невиданного рода. Прежде возникновение его всегда опиралось на фанатизм, невежество, гонения. Теперь не то: Шеллинг в Мюнхене читал лекции своей «Философии откровения»; почти все, что Германия имела в себе поэтических талантов, — посылало свой привет и симпатию новому движению; один Гете остался в стороне от него и за это прозван был «великим язычником». Тогда в первый раз почувствована была поэзия средних веков с их уединенными замками, миннезингерами, монастырями и готическими соборами. Энтузиазм ли, чудеса ли искусства, порожденные католицизмом — естественно должен был <так!> породить и энтузиазм к источнику, из которого вышло это искусство. Самое изучение древних искусств под этим влиянием романтизма получило сильное движение и приняло небывалый до толе поэтический характер, вместо прежнего сухого и буквального. Статья Шеллинга о греческой мифологии и искусстве — обратила этот предмет в живую и глубокую поэзию. Я не говорю о второстепенных именах. По счастью нашелся человек, который все это духовное движение Герма-

Показательным в этом отношении является углубленное внимание Боткина к художественной деятельности А. А. Иванова. Василий Петрович познакомился со знаменитым живописцем в Париже в сентябре 1857 года<sup>105</sup>, а затем в зимние месяцы 1857—1858 годов неоднократно встречался с ним в Риме и видел его картину. К идейным исканиям Иванова последних лет его жизни Боткин отнесся сдержанно и, как обычно в то время, противопоставлял искусство идеологии: «Человек он весьма умный и мыслящий, но, сколько мне кажется, более мыслящая, нежели художническая натура, и потому более ищущая, нежели производящая»; «это был человек более труда, нежели творчества. В последние же годы он до такой степени вдался в книги, что живопись оставалась почти в стороне, и от этого техника его начала сильно ослабевать»<sup>106</sup>. И в то же время, характеризуя картину «Явление Христа народу» в письме, опубликованном в «Современнике» (см. № 73 росписи),<sup>107</sup> Боткин, слегка критикуя художника («Иванов не колорист и не дана ему тайна гармоний красок»), превозносит в ряду других достоинств именно идею: «Но глубина мысли, но характеристика лиц, но правда выражения, но высокое благородство стиля — все эти достоинства картина Иванова имеет в высочайшей степени»<sup>108</sup>. Отмечая «духовность» картины (не в религиозном, конечно, смысле!) и «рафаэлевскую грацию» некоторых фигур, Боткин, однако, главный акцент ставит на жизненном, реалистическом воплощении замысла; как уже говорилось, он соединяет романтическую, идеальную одухотворенность с земным, естественным и временным: «Величайшую задачу задал себе художник: изобра-

нии — сосредоточил в Мюнхене: это был король Людвиг — энтузиаст, романтик, католик и страстный любитель искусства. Лицо необыкновенно замечательное. Благодаря ему можно теперь изучать это время в произведениях, которыми выразилось оно и изучение это представляет величайший интерес».

Далее Боткин приходит к правильной идее, что возрождение в XIX веке художественного мышления позднего средневековья носит все же искусственный характер, «головой, ученый, отвлеченный, более критический, нежели наивный и свободный» (ГТМ, 3 А. Бот. 99).

<sup>105</sup> См. письмо Боткина к Фету от 21. IX. 1857 (А. А. Фет, Мои воспоминания, 1, М., 1890, стр. 211).

<sup>106</sup> Письма к Фету от 21. IX. 1857 и 22. VIII. 1858 (там же, стр. 211, 274).

<sup>107</sup> Недавно мне удалось обнаружить автограф этого письма. Василий Петрович писал Д. П. Боткину из Рима 24. I 1858: «Если Панаеву хочется напечатать то, что я писал тебе о картине Иванова, — то дай ему» (ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, № 68, л. 3 об.). Отрывок этого письма, опубликованного в «Современнике», хранится: ГТМ, 3 А. Бот. 92. В текст «Современника» внесены лишь небольшие исправления. Таким образом, И. И. Панаев опубликовал в «Заметках Нового Поэта» письмо В. П. Боткина к брату Дмитрию от ноября-декабря 1857 г.

<sup>108</sup> Ср. аналогичный отзыв в письме И. С. Тургенева к П. В. Анненкову от 31. X (12. XI). 1857 (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем, Письма, т. III, М.-Л., 1961, стр. 160).



зять удивительнейшее религиозное явление в исторической, человеческой сущности. И зритель чувствует, что на этой общечеловеческой почве совершается что-то необычайное и изумительное; словно стоишь перед тою гранью, где человеческое преобразается в божественной, а не в сверхъестественное и мифическое»<sup>109</sup>. В период сложной эволюции Боткина истинной находкой было для него знакомство с гениальной картиной Иванова, сложность и многогранность аспектов которой в какой-то степени соотносилась им с «многоликостью» своего сознания. Со своей стороны Василий Петрович, как и его брат Николай (познакомившийся с Ивановым еще в конце 1840-х годов<sup>110</sup>), много помогал художнику своими советами, книгами и т. д. По возвращении в Петербург в 1858 году, где к тому времени умерла вся его родня, Иванов жил в квартире М. П. Боткина, тогда студента Академии художеств<sup>111</sup>. Скоропостижная смерть

<sup>109</sup> «Современник», 1858, № 3, отд. II, стр. 84, 85.

<sup>110</sup> См. М. Боткин, А. А. Иванов. Его жизнь и переписка 1806—1858 гг., СПб., 1880, стр. 266 и след.

<sup>111</sup> Там же, стр. I—II. Василий Петрович очень хотел, чтобы его младший брат Михаил стал учиться у Иванова и поехал бы с ним в Италию. Очевидно, между В. П. Боткиным и Ивановым велась по этому поводу переписка, из которой сохранилось интересное письмо художника, посланное им 14. VI. 1858, т. е. за 20 дней до своей неожиданной смерти:

«Милостивый государь, Василий Петрович. Не желая нисколько стеснять ни собственной моей и ничьей свободы, я здесь предлагаю вопрос, весьма занимательный для Вашего семейства и в особенности для Вас, как старшему в роде и важнейшему по образованию. Ехать ли Михаилу Петровичу со мной всюду или оставаться в Академии для довершения курса?

Вы недавно из России и следовательно не имеете надобности отбирать от меня сведения об Академии. Вы сами ее разглядывали, я только должен Вам сказать, что посреди ее упадка я вижу превосходное владение красками, равняющееся которому угодно из европейских, если еще не превосходящее: этюды с натуры нагой фигуры и ландшафта в самом деле замечательны. Эти данные конечно ведут на первую степень самостоятельности, т. е. на *Tableaux de genre*, где талантливый художник, не нуждаясь в учении литературной и усвоении высокого стиля в исполнении, может удовлетворять публику и скоро и выгодно для себя. По-моему однако ж *Tableaux de genre* в России есть совершенное разрушение наших лучших сил или лучше: размен всех сил на мелочи и вздоры в угодность развратной публике, получившей свое легкое образование в упадающей теперь Европе. Я не берусь все это опрокинуть и потому при первом случае тотчас же завернусь опять в ту улитку, в которой так спокойно зрели в продолжение 8-ми лет мои новые думы и к олицетворению которых еще нужно по крайней мере года четыре римской жизни. Улитка моя также священна, как недра матери рождающей. Полюбопытствовать, что там, значит нанести ему и ей смерть. Вот почему я могу быть полезен Михайлу Петровичу только как школьный учитель. Впрочем, жертвование с Вашей стороны покоем, знаниями, неусыпными трудами могут выкликнуть меня на большее участие.

Петербург.  
14 июня 1858.

Вас искренно уважающий  
Александр Иванов.  
(ГТМ, 2 А. Бот. 32).

А. А. Иванова разрушила творческие связи художника с братьями Боткиными.

Серьезное увлечение живописью побудило Василия Петровича снова взяться за перо. Еще в 1857 году он задумывает написать руководство к истории мировой живописи для студентов Академии художеств и начинает усиленно готовить материалы к труду<sup>112</sup>. Спустя два года, как видно из его письма к М. Боткину от 23. IX. 1859, он уже решил ограничиться переводом известной книги Ф. Куглера<sup>113</sup> с некоторыми переделками и добавлением исторических обзоров<sup>114</sup>. В конце 1860 года он кончил раздел о древнехристианском искусстве, но дальше работа не двинулась из-за болезни глаз Боткина и из-за бурных социально-политических событий в России; в начале 1862 года он окончательно отказался от продолжения труда<sup>115</sup>.

Эти занятия, однако, не прошли даром. Они породили многочисленные высказывания Боткина о живописи в его письмах (некоторые из них были процитированы выше). Они заставили его по-новому понять развитие искусства нового времени и соотнести современную живопись с прошлым. К началу 1860-х годов Боткин, не переставая восхищаться романтической живописью минувших веков, по отношению к современному искусству несомненно применяет реалистические критерии. Чрезвычайно показательна поэтому весьма сочувственная оценка Боткиным статей В. В. Стасова, боровшегося с академической рутинной за утверждение реалистических принципов в русской живописи. Вот что писал Боткин брату Михаилу 3. I. 1862: «туман, который лежал на русской художественной критике, начинает рассеиваться, и Брюлов нашел наконец себе дельную оценку. В «Русском вестнике» за сентябрь Влад. Стасов поместил большую статью под названием «О значении Брюлова и Иванова в русской живописи». Я прочел пока <...> первую статью о Брюлове. Статья мастерская. Брюлов рассмотрен со всех сторон и отдана ему справедливость, как удивительному рисовальщику и превосходному технику. После легкомысленных восторгов и тупых удивлений, какими осыпали Брюлова при жизни, наступила, наконец, пора здравомыслящей оценки. И боже мой! В какого простого смертного превратился этот бывший титан! Конечно, все это для нас не ново; мне помнится даже, что мне самому приводилось спорить с Вл. Стасовым о Брюлове и года 4 назад

<sup>112</sup> Б и Т, 129. Ср. письма к Д. Боткину от 1. VIII. 1857, 14. III. и 3—4. IV. 1858 (ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, № 68, л. 34. об., ИРЛИ, 9029. LI, б. 66, лл. 94, 113 об.).

<sup>113</sup> «Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 164. Источник перевода: F. T. Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte, Stuttgart, 1841—1842.

<sup>114</sup> Об этом Боткин сообщал в 1864 г. Е. Ф. Коршу («Уч. зап. ТГУ», вып. 139, 1963, стр. 79).

<sup>115</sup> «Лит. мысль» ..., стр. 165—166; ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, № 9, л. 40 об.

он еще был энтузиастом Брюлова. Стасов разбирает «сочинения» Брюлова в историческом, религиозном и мифологическом роде и в результате оказывается, что Брюлов все понимал весьма слабо и поверхностно. В религиозном он не заходил далее Болонской школы, в истории он брал одну театральную сторону, а мифологию понимал по детским руководствам»<sup>116</sup>. И в другом письме к Михаилу от 9—18. XII. 1862: «А Стасов, по свойственной ему увлекательности, несколько пересолит, нападая на историческую живопись. Но он прав, по моему мнению, придавая большое значение жанру. Жанр должен служить подножием, пьедесталом исторической живописи. Конечно, может случиться, что у иного народа все ограничится одним жанром и исторической живописи вовсе не будет, — как случилось с голландцами. Что делать! не всякий народ способен к исторической живописи, но из этого не следует, чтоб он отказался от того, что умеет делать. Процесс, который совершило искусство древнее и [католическое] христианское, увы! совершенно неприменим к новой Европе. Там были готовые, данные идеалы, которые все знали, в которые все верили. Теперь идеалов этих не существует. В противоположность прежним религиозным идеалам, — теперь обнаруживается стремление каждое явление жизни возводить в идеал, другими словами, в *тип*. Но заметь, что без любви общества к живописи — живопись не может существовать, как нечто самостоятельное и крепкое. Жанр в живописи — то же, что повесть в литературе. Надо бы, чтобы общество полюбило, сочувствовало живописи, а сочувствовать оно может только тому, что понимает. Жанр ему по плечу, оно понимает его, а потом это же разовьет в нем потребность в великих наслаждениях в живописи. Для России это особенно важно. У нас живопись сначала существовала как тупой, бессмысленный религиозный акт, — а потом как чисто академическое, никому не нужное явление. Ведь русское общество было совершенным дикарем относительно живописи. Теперь этому дикарю показывают картинку, на которой изображено, как пьяный квартальный или становой принимает просителя. Поверь, это для него первое откровение живописи и этим живопись впервые доставила ему удовольствие. И Стасов прав, осмеивая Академию за ее мертвые, отвлеченные тенденции. Жаль, что я не знаю статьи его. Теперь кажется, что в недрах самой Академии начинается жизнь: уже одно количество жанров, бывшее на выставке, доказывает это. Вот и Англия начала жанром и пьяными квартальными»<sup>117</sup>.

Эти интересные суждения, свидетельствующие о больших сдвигах в отношении Боткина к живописи за период 1857—1862 гг., не могли бы, конечно, возникнуть без учета событий

<sup>116</sup> ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, № 9, лл. 40 об. — 41.

<sup>117</sup> Там же, лл. 61—62.

русской жизни той поры и значительнейшего расцвета реалистического метода в русской литературе. Боткин внимательно следил и за тем, и за другим.<sup>117а</sup>

6

Эволюция Боткина — мыслителя и критика, как и вообще его личности, была весьма своеобразной. Нетипичным был приход в группу Станкевича-Бакунина-Белинского человека из самых глубин «темного царства»<sup>118</sup>, ставшего вскоре на уровень с передовыми умами 40-х годов. «Оригинальным», выделяющим Боткина в среде его друзей был его эгоизм в сочетании с культом сексуальных и гастрономических наслаждений (во второй половине жизни первый культ исчез). И никто с ним не может сравниться по числу «зигзагов», резких колебаний от демократа (чуть ли не революционного) к крайнему консерватизму, от передового публициста к защитнику «чистого искусства». Когда широкая эрудиция в разных областях искусства и тонкий художественный вкус Боткина сочетались с прогрессивными тенденциями (политическими и художественными), это давало свои ощутимые результаты. Наоборот, в соединении с реакционностью они тускнели и теряли все свои потенциальные возможности, Боткин превращался в заурядного консерватора и примитивного литературного критика.

Сам же диапазон колебаний и частая смена позиций свидетельствуют о той опасной гибкости мышления, которая легко переходит в приспособленчество перед успехом и модой. Весь творческий путь Боткина — свидетельство такого «конформизма». Кстати о *творчестве*. *Приспособление* к нуждам и стремлениям эпохи вряд ли может сочетаться с активной творческой энергией, что тоже очень наглядно демонстрируется объемом литературного наследия Боткина, где чуть ли не половину всех текстов занимают переводы или компиляции. Он сам хорошо это осознавал и подчеркивал свой «нетворческий» характер: «я не способен к практической деятельности, исключая временных напряжений и которые меня страшно утомляют. Да собственно гово-

<sup>117а</sup> По техническим причинам раздел о литературных взглядах Боткина конца 1850-х — 1860-х годов переносится в следующий выпуск «Ученых записок».

<sup>118</sup> О том, что Боткин рос в детстве именно в условиях «темного царства», свидетельствует его письмо к брату Михаилу от 26—27. XI. 1861: «Из моего детского возраста — нет отрадных воспоминаний: добрая, простая мать, которая кончила тем, что беспрестанно напивалась до пьяна, — и грубый, суровый отец. И какая дикая обстановка кругом. Но, несмотря на суровость, — отец, при всем невежестве, был очень неглуп и в сущности добр. Поверишь ли, что память моя сохранила из моей ранней молодости — исполнено такой грязи и гадости, — что даже отвратительно вспоминать себя» (ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, № 9, л. 38).

ря я ни к чему не способен. Правда, я люблю искусство, — все искусства, начиная с архитектуры и оканчивая литературой, но сам не способен произвести ничего. Я могу до тонкости, до мельчайших подробностей наслаждаться всяким художественным произведением, — но никакой внутренней потребности написать что бы то ни было»<sup>119</sup>.

Однако художественное чутье и недюжинный ум влияли на деятельность Боткина: не только «Письма об Испании», но и обычные его критические статьи написаны умно, тонко, интересно, хорошим (иногда чрезмерно гладким) литературным стилем, в котором впрочем часто отражались романтическая туманность и либеральная половинчатость (зыбкость, нечеткость фраз<sup>120</sup>, обилие вопросительных предложений и многоточий, часто встречающиеся отрицания или негативные коррективы к предыдущим фразам). Великолепное знание разных видов искусства давало Боткину интересные образные сравнения и параллели литературы и музыки, живописи и архитектуры. Несколько странными на этом эстетическом фоне выглядят «гастрономические» сравнения. Например, в статье «Об эстетическом значении новой фортепьянной школы» Боткин говорит, что схоластам не нравилась музыка Шопена, «как, например, испанцам не нравится хорошее прованское оливковое масло: они предпочитают ему свое зеленое и вонючее, к которому привыкли с детства» (III, 79). Боткин очень любил такие гастрономические примеры, особенно в частных письмах<sup>121</sup>.

В этих гастрономических сравнениях чрезвычайно ярко отражена сущность эстетического чувства Боткина: искусство воспринималось как личная, чуть ли не физиологическая радость, эгоистическое удовольствие. Показательно одно признание самого критика: «первая забота человека — должно быть его собственное маленькое Я. Я только из учтивости говорю «малень-

<sup>119</sup> ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, № 9, лл. 83 об. — 84. Письмо к М. Боткину от 11—14. VIII. 1867.

<sup>120</sup> Боткин совершенно не умел проповедовать и полемизировать, ему была противопоказана строгая энергичность мысли и стиля, он никогда не употреблял иронию и сарказм (ср. в письме к Некрасову от 22. IX. 1855: «я вовсе не смыслю в полемике и тем более в насмешке» — «Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 97).

<sup>121</sup> Отзыв о статье Герцена «Дилетантизм в науке»: «Превосходная штука — слово самая свежая, ароматная устрица»; об «Обыкновенной истории» Гончарова: «прочел ее, как будто в жаркий летний день съел мороженого, от которого внутри остается самая отрадная прохлада, а во рту аромат плода, из которого оно сделано» («Лит. мысль», II, Пг., 1923, стр. 182, 190: письма к Белинскому от 17. IX. 1842 и 27. III. 1847); «рассказы Тургенева я смаковал, как те великолепные персики Виченцы, о которых и у вас, вероятно, еще осталась память» (П. В. Анненков и его друзья, стр. 555; письмо от 17. II. 1848); о постановке «Фауста» в Берлине: «стихи Гете были перемешаны с виршами переделки; это походило на ананас, сваренный в супе» (А. А. Фет, Мои воспоминания, I, стр. 402; письмо от 28. VIII. 1862; то же в письме к Д. Боткину от 27. VIII — ЛБ, М. 6614. 7).

кое», потому что для каждого, в сущности, оно больше всего. Ведь чем больше знания, тем больше у него наслаждения; наслаждение кроется во всем.

Гонись тогда за жизнью дивной  
И каждый миг в ней воскрешай;  
На всякий звук ее призывный  
Отзывной песнью отвечай...»<sup>122</sup>

Интересно, что несколько лет назад это же четверостишие из стихотворения Д. Веневитинова «Я чувствую, во мне горит...» записал в свой дневник юноша Н. А. Добролюбов. Он тоже думал о радостях и наслаждениях, о полноте жизни. Но для него «погоня за жизнью» была тесно связана с «отзывной песнью». После стихотворной цитаты идут следующие строки: «социальные вопросы переплелись в моей голове с мыслями об отношениях моих к обществу»<sup>123</sup>.

Не только Добролюбов — подавляющее большинство критиков и публицистов 50—60-х годов (даже врагов революционной демократии!) в центр своих статей и книг ставили нравственные проблемы современности, Боткин же уходил от них в мир эстетики и наслаждения. Один из современников, узнавший Боткина в последние годы его жизни, имел все основания писать: «Мне кажется, и радость, и горе, и добро, и зло он понимал только в той мере, в какой они художественно проявлялись»<sup>124</sup>.

Когда Боткину удавалось «переплетать» эстетический пафос личного наслаждения с передовыми «социальными вопросами», он достигал большого успеха, общественного и литературного, но когда во второй половине жизни он стал все заметнее склоняться к «маленькому Я», его значение как публициста и критика упало настолько, что многие деятели 60-х годов просто забыли о его существовании, и П. В. Анненкову в некрологе «Санкт-петербургских ведомостей» пришлось напоминать современникам о роли Боткина в истории русской литературы и общественной мысли, разумеется, подчеркивая главным образом его заслуги как человека эпохи Станкевича и Белинского.<sup>125</sup>

<sup>122</sup> ИРЛИ, ф. 365, оп. 1, № 9, л. 37 об. Письмо к М. Боткину от 26—27. XI. 1861.

<sup>123</sup> Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч. в 6 тт., т. 6, М., 1939, стр. 441—442. Запись 8. I. 1857.

<sup>124</sup> В. Крылов, Воспоминания о Боткине (ГТМ, 3 А Бот. 117).

<sup>125</sup> «С.-Петербургские ведомости», 1869, 13. X, № 282.

## Дополнения к библиографии трудов В. П. Боткина

28а. <В. П. Боткин?> Некролог <И. Я. Кронеберг>. («Московский наблюдатель», 1839, ч. I, № 2, о. VII, с. 20—27).

Предположительно приписано Боткину (с допущением, что участвовал и Белинский) Ф. Я. Приймай: В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XIII, М., изд. АН СССР, 1959, с. 306. Недавно Ю. Д. Левин обнаружил в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина письмо А. И. Кронеберга (сына) к Боткину, где содержатся сведения, которые вошли в некролог с незначительными изменениями. Этот факт делает предположение об авторстве Боткина еще более вероятным.

75а. В. Боткин. Письмо из Флоренции. (В редакцию «Века») («Век», 1861, № 2, с. 59—64).

*К разделу «Ошибочно приписанные В. П. Боткину статьи», № 4.*

Рецензия на вып. 4 Шекспира в переводе Н. Х. Кетчера лишь включает письмо И. Я. Кронеберга, а принадлежит она, вероятно, В. Г. Белинскому. Впервые она была приписана Белинскому в статье: В. М. Морозов, Вновь найденные рецензии В. Г. Белинского, «Уч. зап. Карело-Финского гос. ун-та», т. IV, в. 1, 1954, с. 154—158. Аргументация В. М. Морозова с незначительными изменениями была повторена Ф. Я. Приймай: В. Г. Белинский, ук. том, с. 318—321.

## ЖУРНАЛ «ЗАГРАНИЧНЫЙ ВЕСТНИК».

П. С. Рейфман.

### Статья первая.

В 1863 г. известный книгопродавец и издатель М. О. Вольф задумал выпускать журнал переводных статей и произведений «Заграничный вестник». Разрешение на издание было получено, редактором утвержден видный педагог П. М. Цейдлер. Но еще до того, как журнал начал выходить, Цейдлер отказался от редактирования, мотивируя свой отказ поездкой за границу, а, по утверждению некоторых исследователей, просто испугавшись ответственности<sup>1</sup>. Тогда Вольф, в конце 1863 г., предложил редактировать «Заграничный вестник» П. Л. Лаврову, предоставив ему полную свободу в определении направления и в отборе материала<sup>2</sup>.

К началу издания «Заграничного вестника» общественно-политическая и философская позиция Лаврова определились весьма отчетливо. Первая половина 1860-х годов — период идейного сближения Лаврова, в то время уже видного ученого и литератора, с руководителями революционно-демократического лагеря. До 1861 г. редакция «Современника» весьма сдержанно относилась к литературным выступлениям Лаврова, видела в его взглядах «отрыжку идеализма», иногда весьма резко полемизировала с ним<sup>3</sup>. Но с конца 1861 — с начала 1862 гг. положение коренным образом меняется. Лавров сближается с Чер-

<sup>1</sup> См. С. Ф. Либрович, Петр Лаврович Лавров как редактор «Заграничного вестника», «Вестник литературы», 1913, № 11—12, стр. 296. В дальнейшем: Либрович.

<sup>2</sup> Об этом говорится и в вышеназванной статье Либровича, и в воспоминаниях Е. А. Штакеншнейдер (см. ее «Дневник и записки», М.-Л., 1934, стр. 403). Сам Лавров, во время следствия, отмечал, что в «Заграничном вестнике» «выбор статей от него зависел». (см. «Дело о полковнике артиллерии Лаврове Петре Лавровиче, осужденном за антиправительственную пропаганду и связи с Чернышевским», Центр. госуд. воен.-истор. архив, Ф. 9, II отделен., I стол, оп. 74/75, 1866, № 70, связка 68, л. 35 об. В дальнейшем: № 70.

<sup>3</sup> См., напр. М. А. Антонович, Два типа современных философов, «Современник», 1861, № 4.



нышевским, с кругом «Современника», революционные демократы начинают относиться к нему, как к единомышленнику, соратнику в борьбе против самодержавного деспотизма. В «Воспоминаниях» Л. Ф. Пантелеева рассказывается, что в 1889 г., в Астрахани, Чернышевский говорил ему о том, как в «Современнике» «прохаживались» насчет Лаврова, как Чернышевский и Лавров держались друг от друга в стороне; «но вот как-то довелось мне выходить с ним вместе из заседания комитета Фонда; извозчик сразу не подвернулся; идем мы с ним в одном направлении, разговорились; да и проходили мы по улицам Петербурга до рассвета, все друг друга до квартиры провожали, а разговор никак не кончается; наконец зашли ко мне и еще часа два проговорили. Да, — подумавши, прибавил Чернышевский, — глубочайшее уважение имею к Петру Лавровичу»<sup>4</sup>. Видимо, во время этого разговора выяснилось, что по важнейшим вопросам Чернышевский и Лавров имеют сходные точки зрения. Пантелеев вспоминает, что позднее, в Париже, он передал Лаврову рассказ Чернышевского. «Это точно, — заметил Лавров, — мы всю ночь проговорили, и тут многое разъяснилось, чего в печати не удавалось достигнуть»<sup>5</sup>. О близости Лаврова и Чернышевского в конце 1861 — начале 1862 гг. говорит и Антонович. Он вспоминает, что в это время он видел несколько раз Лаврова у Чернышевского, что тот считал Лаврова единомышленником, очень близким человеком, доверял ему, что Чернышевский «очень хорошо относился к Лаврову, и он пользовался его глубоким уважением. Более того, Чернышевский смотрел даже на Лаврова, как на человека своего лагеря в широком смысле слова, несмотря на известное расхождение во взглядах»<sup>6</sup>. Имеются разные точки зрения о времени сближения Лаврова и Чернышевского. Антонович относит это сближение, видимо, к концу 1861 г. Его утверждение разделяют П. Витязев (сб. «Народники-пропагандисты 1873—1878 гг.», Спб., 1907, стр. 54), И. С. Книжник-Ветров (Литер. наслед., 1933, № 7—8, стр. 105—106), А. Слепцов (см. А. И. Герцен, Полн. собр. соч., Петр., 1920, т. 16, стр. 74—75)<sup>7</sup>. Л. Ф. Пантелеев, полемизируя с Антоновичем, считает, что сближение произошло не ранее начала 1862 г. Однако, сам факт сближения сомнений не вызывает. И не случайно следственная комиссия в названии дела Лаврова отметила «связи с Чернышевским».

<sup>4</sup> Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, М., ГИХЛ, 1958; стр. 234. Фонд — Литературный фонд, фонд помощи нуждающимся литераторам, в деятельности которого принимали участие Лавров (был казначеем фонда) и Чернышевский.

<sup>5</sup> Там же, стр. 542.

<sup>6</sup> П. Витязев, П. Л. Лавров в воспоминаниях современников, «Голос минувшего», 1915, № 9, стр. 132. В дальнейшем обозначается: П. Витязев.

<sup>7</sup> См. примечания С. А. Рейсера к «Воспоминаниям» Пантелеева, стр. 794.

В 1861 г. Лавров был близок и с Михайловым. Поэт-революционер редактирует литературный отдел издаваемого под общей редакцией Лаврова «Энциклопедического словаря». Лавров, Михайлов и Чернышевский принимают деятельное участие в организации Шахматного клуба. Можно предполагать, что именно с этими именами связан и замысел Шахматного клуба, и идея превращения его в один из легальных центров революционной пропаганды. Во всяком случае, именно они собирают литераторов на квартире у Лаврова в связи с вопросом о создании Шахматного клуба. Так, в деле Лаврова имеется записка от Михайлова от 14 августа 1861 г., в которой сообщается, что, по желанию Лаврова, литераторы соберутся у него в следующую среду; Михайлов просит Лаврова предупредить об этом Дудышкина, Громеку, Курочкина; «остальных пригласим мы с Чернышевским», — добавляет он. «Я приеду к вам пораньше, как вам хотелось»,<sup>8</sup> — пишет Михайлов в *post scriptum*'е. Видимо, именно от лица революционной группы Лаврова ввели в легальное руководство Шахматным клубом, избрали одним из старшин (два другие старшины — И. В. Вернадский и Г. А. Кушелев-Безбородко — были весьма далеки от революционных идей).

Сближается с Лавровым и Антонович. Позднее последний вспоминал, что Лавров пригласил его сотрудничать в «Энциклопедическом словаре», задуманном для борьбы с лже-научными предрассудками и суевериями; в беседе о религии «выяснилось, что мы с ним полные единомышленники»<sup>9</sup>. В дальнейшем общении с Лавровым, по словам Антоновича, это впечатление еще более укрепилось: Лавров резко-отрицательно относился ко всяким предрассудкам, в том числе к религиозным, «ко всяким религиозным построениям»<sup>10</sup>, как раз подобное же отношение привлекло его в Антоновиче.

С 1861 г. имя Лаврова оказывается неоднократно связанным с событиями русского освободительного движения. Он принимает участие в студенческих волнениях в Петербурге. В агентурной справке 3-го отделения отмечается, что впервые Лавров обратил на себя внимание осенью 1861 г., во время студенческих волнений; «он не только сочувствовал самовольным действиям студентов, но даже присутствовал на их сходках, на университетском дворе, воодушевляя их словами и вмешательством в их буйные предприятия»<sup>11</sup>; в связи с этим вмешательством у него было столкновение с полицией, «за которое, равно как и за са-

<sup>8</sup> № 70, л. 183.

<sup>9</sup> П. Витязев, стр. 134.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Центр. Госуд. архив Октябр. револ. (ЦГАОР), фонд 109, секретн. архив, оп. I, № 223, л. 8. Агентурные донесения о Лаврове опубликованы в сборнике «Материалы для биографии П. Л. Лаврова», ред. П. Витязева, Пг., 1921.

мое присутствие его на сходках, он подвергся замечанию со стороны своего начальства»<sup>12</sup>. В справке отмечается, что Лавров принимал активное участие в подписке в пользу студентов, что у него на квартире собирались студенты университета и медицинских учебных заведений и Лавров им «читал статьи политического содержания и давал советы. С этого времени Лавров при каждом удобном случае не только выказывал свой революционный образ мыслей, но и принимал деятельное участие во всех происках, направленных против правительства»<sup>13</sup>; указывается, что он подписал адрес, составленный Чернышевским и Шелгуновым в пользу Михайлова, а также адрес о необходимости конституции, что он участвовал осенью 1862 г. в похоронах декабриста барона Штейнгеля и настаивал на том, чтобы отслужить молебен против Петропавловской крепости (такие молебны в память жертв царизма получили распространение в 1860-х гг. и служили своего рода политической демонстрацией; ср. стихотворение Некрасова «Молебен»). Справка перечисляет еще ряд поступков Лаврова, свидетельствующих об его «неблагонадежности», обращая, в частности, внимание на то, что в начале 1865 г. он в Литературном фонде «предложил выдать денежное пособие Чернышевскому и ходатайствовать у правительства о пересмотре его дела, решенного будто бы незаконно и явно пристрастно»<sup>14</sup>. В агентурном донесении агента Волокитина о беседе с редактором журнала «Рассвет» Кремпиным о Лаврове прямо говорится, как об одном из руководителей революционной партии, хотя и не главном: «на него глядят как на главу революционной партии. Конечно, вы знаете, что он играет важную роль, а все-таки не глава»<sup>15</sup>. Был как-то связан Лавров и с деятельностью «Земли и воли» 1860-х гг., о чем он сам сообщал в своей автобиографии, отмечая, правда, что «его участие в этом обществе было так ничтожно, что об этом и говорить не стоит».<sup>16</sup>

В «Воспоминаниях» Л. Ф. Пантелеева говорится о том, что осенью 1862 г. Лавров говорил с ним о необходимости революционной организации, о том, что революционеры пропустили удобный момент, который, по мнению Лаврова, был осенью 1861 г., во время студенческой сходки у Казанского собора; тогда пришло много офицеров, «чтобы примкнуть к студентам, если бы дело дошло до схватки с полицией или войсками <...> К сожалению, этот день пропущен»<sup>17</sup>. Видимо, и сам Лавров очутился на площади перед Казанским собором, предвидя возможность подобных схваток и своего участия в них. Не удиви-

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же, л. 8 об.

<sup>14</sup> Там же, л. 9 об.

<sup>15</sup> Там же, № 225, л. 2 об.

<sup>16</sup> См. «Вестник Европы», 1910, № 10; стр. 107.

<sup>17</sup> Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, М., 1958, стр. 546.

тельно, что с начала 1860-х гг. власти усиленно следили за деятельностью Лаврова, считая его одним из руководителей революционного движения. С 1861 г. он обратил на себя внимание 3-го отделения, с 20 апреля 1863 г. за ним «учреждено особенно строгое наблюдение»<sup>18</sup>, которое продолжалось до ареста Лаврова весной 1866 г., в связи с Каракозовским выстрелом. В книге «Социалисты Запада и России» отмечается, что уже в 1861 г. принц Ольденбургский говорил: стоит схватить несколько зачинщиков, в их числе Лаврова, и от революции не останется и следа<sup>19</sup>. Подобных же взглядов придерживалось 3-е отделение. Так, в декабре 1863 г. Потапов писал: «Лавров хуже всех Чернышевских, Благовосветловых, Елисеевых и проч.»<sup>20</sup> Не вызвала сочувствия властей и редакторская деятельность Лаврова. Редактируемый им «Энциклопедический словарь» вызвал ожесточенные нападки церковников, духовных журналов, в особенности «Домашней беседы» Аскоченского, «требовавшего церковной анафемы и уголовного наказания каторгою», и издание пришлось прекратить на первых же томах.<sup>21</sup> Совокупность всех перечисленных фактов, даже с учетом возможных неточностей воспоминаний, явных преувеличений агентурных донесений и т. п., позволяет утверждать близость Лаврова к революционно-демократическим кругам 1860-х гг., осознание этой близости и им самим, и властями, и общественным мнением. Не удивительно поэтому, что, когда возник вопрос о назначении Лаврова редактором «Заграничного вестника», власти решительно воспротивились этому. В статье о Лаврове как неофициальном редакторе «Заграничного вестника» Либрович высказывает предположение, что Лавров «в качестве военного и по своему официальному положению не мог быть редактором журнала»<sup>22</sup>. На самом деле вовсе не преподавательская деятельность Лаврова в артиллерийской академии закрыла ему путь к официальному редактированию. В конце 1863 г. ведутся переговоры об утверждении Лаврова редактором «Заграничного вестника», СПб. цензурный комитет запрашивает по этому поводу мнение 3-го отделения, и оттуда поступает ответ, что Лавров «не может быть редактором журнала»<sup>23</sup>. Публикуемые А. Потаповым документы отчетливо свидетельствуют, что в вопрос о назначении Лаврова редактором вмешалось 3-е отделение,

<sup>18</sup> ЦГАОР, ф. 109, секретн. архив, оп. I, № 223, л. I.

<sup>19</sup> См. Н. С. Русанов (Н. Е. Кудрин), Социалисты Запада и России, изд. 2, СПб., 1909, стр. 223.

<sup>20</sup> См. А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. 16, Пг., 1920, стр. 158.

<sup>21</sup> См. автобиографию, «Вестник Европы», 1910, № 10, стр. 109.

<sup>22</sup> Либрович, стр. 296.

<sup>23</sup> См. публикацию А. Потапова «Из материалов о П. Л. Лаврове», «Красный архив», 1923, т. 3, стр. 222. Такого же рода материалы, с прямыми указаниями 3-го отделения на политическую неблагонадежность Лаврова см. в примечаниях к Полн. собр. соч. А. И. Герцена, т. 16, Пг., 1920, стр. 158.

однако они привели исследователя к ошибочному выводу, что «таким образом мысль о редакторстве Лаврова не осуществилась» и журнал «Заграничный вестник», «заключая в себе незначительные переводные статьи, с трудом продержался три года <...> и не оставил по себе заметного следа в истории русской журналистики»<sup>24</sup>. С последним утверждением никак нельзя согласиться. Можно лишь говорить о том, что «Заграничный вестник» довольно основательно, но вряд ли правомерно забыт. Специально ему посвящена лишь небольшая статья Либровича, о которой говорилось выше (см. стр. 123). Упоминает Либрович о журнале и в книге «На книжном посту» (Пг.-М., 1916, стр. 472—473)<sup>25</sup>. Однако, сообщая ряд интересных деталей о направлении «Заграничного вестника», об отношении к нему властей и общества, о деятельности Лаврова как редактора, Либрович вовсе не ставит своей целью дать анализ содержания журнала; его короткая статья должна, по замыслу автора, лишь напомнить читателю о несправедливо забытом издании, ставшем библиографической редкостью. К сожалению, с 1913 г., когда была опубликована статья Либровича, положение не изменилось, разве что «Заграничный вестник» оказался еще более забытым.

Анализ материалов, в первую очередь исследование содержания журнала, показывает, что это забвение далеко незаслужено. «Заграничный вестник» — издание серьезное и прогрессивное, принадлежащее к лагерю демократической периодики 1860-х гг., своеобразными приемами решавшее стоящие перед ней задачи, пользующееся сочувствием демократической молодежи, лучших русских журналов и вызывавшее ненависть властей и реакционной журналистики. Вообще, следует отметить, что, при ближайшем рассмотрении, лагерь революционно-демократической и демократической периодики 1860-х гг. оказывается значительно большим, чем представляется на первый взгляд. «Современник», «Русское слово», «Искра» — наиболее значительные, но отнюдь не единственные издания этого лагеря, и для полного представления о нем нужно учитывать ряд газет и журналов, порой полузабытых и малоизученных.

Итак, вмешательство 3-го отделения исключило возможность назначения Лаврова официальным редактором. Им на некоторое время утесился Цейдлер, а затем, с 3-го выпуска 1864 г., редактором утвержден А. С. Афанасьев-Чужбинский. Однако, его

<sup>24</sup> Там же, стр. 218.

<sup>25</sup> Мимоходом о «Заграничном вестнике» говорится в «Дневнике и записках» Е. А. Штакеншнейдер (М.-Л., 1934, стр. 403; «Голос минувшего», 1916, № 4, стр. 69), в воспоминаниях Н. Мазуренко («Историч. вестник», 1901, № 12, стр. 1062—1071); документы о назначении редактором Лаврова см. в публикации Потапова («Красный архив», 1923, т. 3), в примечаниях к Полн. собр. соч. А. И. Герцена (т. 16, Пг., 1920, стр. 158).

редакторство было чисто номинальным. Фактическим редактором с 1-го выпуска (январь 1864 г.) и по 1866 г., по момент ареста, оставался П. Л. Лавров. «Когда Лаврову запретили быть редактором «Заграничного вестника», — говорится в воспоминаниях Штакеншнейдер, — Афанасьев-Чужбинский имел такт не спорить с Лавровым, довольствуясь гонорарием, если бы честь подписывать книжку, составленную Лавровым, не вознаграждала его за пассивную роль».<sup>26</sup> Штакеншнейдер замечает, что раз в месяц Чужбинскому показывали редактируемый им журнал последней страницей, на которой он должен был поставить свою подпись<sup>27</sup>. Во время следствия Лавров признавал свое руководство «Заграничным вестником», определяющую роль в подборе материалов и направлении журнала, указывал, что «все примечания и предисловия от редакции были писаны им, Лавровым».<sup>28</sup> Лавровым же написано программное заявление «От редакции», помещенное в 1-м выпуске, сразу определившее и место нового журнала в журналистике 1860-х гг. и отношение к нему различных изданий. Не случайно позднее, в связи с арестом Лаврова, следственная комиссия отметила это заявление, напомнив, что еще в 1864 г. в нем была усмотрена «общественная опасность» и на редакцию «Заграничного вестника» обратили внимание»<sup>29</sup>. Следует признать, что такая характеристика обращения «От редакции» не являлась бесосновательной. Направление нового журнала в нем определялось довольно четко. Редакция говорила о своей связи с русской жизнью, о необходимости для литературы сделаться полным выражением интересов и стремлений русского общества; здесь же осуждалась реакционная литература, литература «нечестного» направления и намекалось, что серьезно спорить с ней бесполезно и, пожалуй, небезопасно. Да и вообще «внешние и внутренние причины», по мнению редакции, мешали русской литературе стать подлинным выражением общественных интересов. В заявлении говорилось о наступлении реакции, о крушении многих былых надежд, и общественных, и литературных: «Много разочарований постигло и наше общество, и нашу литературу. Настоящее грустно; будущее не привлекательно»<sup>30</sup>. Такие «пессимистические» ноты, противопоставленные казенно-либеральному «оптимизму», нередко встречались и в «Современнике», и в других изданиях демократического лагеря рассматриваемого периода. Подобные рассуждения редакции «Заграничного вестника» раскрывали перед читателем

<sup>26</sup> Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, М.-Л., 1934, стр. 403.

<sup>27</sup> См. «Голос минувшего», 1916, № 4, стр. 69.

<sup>28</sup> № 70, л. 35 об.

<sup>29</sup> Либрович, стр. 316.

<sup>30</sup> «Заграничный вестник», 1864, вып. 1, стр. 1. В дальнейшем ссылки на «Заграничный вестник» будут отмечаться в тексте, в скобках, с указанием года, выпуска и страницы.

и необходимость постановки журналистикой, литературой важнейших русских общественных вопросов, и невозможность такой постановки в условиях наступающей реакции; они объясняли также смысл обращения редакции «Заграничного вестника» к иностранному материалу. Не уходом от интересов русской жизни определялось оно, а стремлением на этом материале с большей свободой и независимостью решать те же, важные для России, вопросы. «В разнообразии племенной и исторической обстановки, — заявляла редакция, — действуют те же неизменные законы человеческой жизни, которые выказываются и в развитии нашего отечества». (Там же, стр. 11—111). Содержание журнала раскрывало в дальнейшем весьма отчетливо, какие законы человеческой жизни, по мнению редакции, определяют развитие общества. «Заграничный вестник» не стал сборником случайных статей зарубежных авторов, может быть и интересных самих по себе, но не связанных с русской жизнью, не подчиненных рождению именно этой жизнью направлению. Уже в программном заявлении редакция подчеркивала свою партийность, отрицая мнимое беспристрастие в оценке явлений действительности: «Не обещаем беспристрастия. Лишь полный индифферентизм может относиться совершенно одинаково и к Луи Наполеону и к Гарибальди, к Вентуре и Бауеру, к Бисмарку и Фирхову, к В. Гюго и Гранье-Касиньяку, к Шталю и к Джон-Стюарту Миллю. В Европе есть партии и, с точки зрения *европейских* интересов, одни деятели могут быть признаны защитниками вредных, другие — полезных начал. Мы не отказываемся от нашего сочувствия к одним из этих деятелей преимущественно перед другими. Читатели наши, вероятно, скоро увидят, к кому обращено это сочувствие» (там же, 11). И, действительно, читатели скоро увидели, что все сочувствие редакции относится к людям типа Гарибальди, В. Гюго и т. п., деятелям прогрессивного, демократического, а часто и революционного лагеря, а политика реакции, политика Наполеона III, Бисмарка и им подобных встречает в журнале суровое осуждение. Да и в самом программном заявлении симпатии и антипатии редакции ощущались довольно отчетливо. Правда, она заявляла, что именно с точки зрения *европейских* интересов можно говорить о защитниках полезных или вредных начал, и выделяла слово «европейских» курсивом. Но речь здесь шла все же не о простом сочувствии прогрессивным зарубежным общественным и философским явлениям, а о выяснении на европейском материале того, что полезно и что вредно для развития России. Обращение к заграничному материалу для того, чтобы высказать мысли о России, которые иначе не имели бы возможности пройти сквозь цензурные рогатки, — характерный прием, широко используемый в русской литературе и журналистике демократического лагеря. Так, в отделе «Политика» 3-го № «Современника» (1863), приводя отклики иностран-

ных изданий на польские события, автор прямо заявлял, что «иногда бывает гораздо лучше и удобнее заставлять говорить других, нежели говорить самому» (стр. 308). «Заграничный вестник» служит дальнейшим развитием этой мысли. В условиях наступающей реакции, в обстановке все большего преследования передовых идей, демократический лагерь нашел новую возможность проведения этих идей через цензуру: был создан журнал, редакция которого не иногда, а всегда заставляла «говорить других», используя почтение правящих кругов к европейским авторитетам, так как самой говорить было бы опасно и даже невозможно. Определенный же подбор материала, вступительные заметки и многочисленные редакционные примечания, а иногда и собственные высказывания редакции под видом перевода создавали цельное, тесно связанное с русской действительностью и определяемое ею, направление. В воспоминаниях Либровича прямо указывается, что к переводам редакция «Заграничного вестника» прибегла из цензурных соображений: «то, что цензура не пропустила бы, как оригинальное произведение русского автора, без особых затруднений могло пройти в качестве перевода, или, по крайней мере, под видом перевода. Это давало возможность помещать статьи по таким вопросам, каких в других изданиях нельзя было затрагивать». Либрович сообщает, что, когда однажды в цензуру поступил запрос по поводу опубликования в «Заграничном вестнике» письма Луи Блана, цензор оправдывался тем, что материал переводный и к России отношения не имеет.<sup>31</sup>

Тем не менее направление «Заграничного вестника» было настолько отчетливо, что не вызывало сомнения ни у властей, ни у читателей. Четко определила свое отношение к «Заграничному вестнику» и журналистика 1860-х гг. Уже это отношение властей, читателей, различных изданий в значительной степени характеризовало направление нового журнала. Так, в агентурном донесении 3-го отделения сообщалось, что Афанасьев-Чужбинский на одном вечере осуждал Лаврова за направление, которое тот придал «Заграничному вестнику», и говорил о недовольстве властей этим направлением. Афанасьев-Чужбинский, по словам агента, отмечал, что ему «в качестве ответственного редактора «Заграничного вестника» приходится вести постоянную борьбу с известным полковником Лавровым, заведующим ученым отделом означенного журнала, потому что он делает до того либеральные примечания к статьям, что их никакая цензура не пропустит и что такое соучастие Лаврова в журнале дает ему какое-то неопределенно-фанатическое направление. За подобные примечания цензурою сделано уже несколько выговоров»<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> С. Ф. Либрович, На книжном посту, Пг., 1916, стр. 472—473.

<sup>32</sup> ЦГАОР, фонд 109, секретн. архив, оп. 1, № 223, л. 2 и 2 об.



Вряд ли можно делать на основании цитируемого донесения выводы, что роль Афанасьева-Чужбинского в определении направления «Заграничного вестника» была сколь-либо значительной. Видимо, он явно преувеличивает эту роль, говоря о себе как о фактическом редакторе и сводя деятельность Лаврова к заведованию научным отделом. Но само недовольство властей направлением «Заграничного вестника», столкновение редакции с цензурой, раздражение Афанасьева-Чужбинского, вынужденного в качестве подставного редактора отвечать за «чужие грехи», отражено в донесении весьма точно.

Характерно, что агентурное донесение помечено датой: 18 июня 1864 г. Следовательно, уже первые выпуски «Заграничного вестника» определили его направление, оправдали опасения властей и вызвали столкновения с цензурой. О таких столкновениях свидетельствуют хранящиеся в деле Лаврова упоминания о статье, предназначенной для «Заграничного вестника» и запрещенной цензурой, «Новые времена близ Нью-Йорка». Статья, по мнению комитета для цензуры духовных книг, «отвергая таинство брака, отрицая ведомого бога, загробную жизнь, различие души и мозга и т. п., идет в совершенный разрез с духом христианского учения»<sup>33</sup>. Видимо, такого рода столкновения не были единичными.

Любопытно и то, как воспринимался новый журнал читателями. В следственном деле Лаврова хранится ряд писем, авторы которых предлагают сотрудничать в «Заграничном вестнике», подчеркивая, что с точки зрения властей они — «политически неблагонадежные», что они находятся в ссылке, под надзором полиции. Так, некий доктор Зеленский, предлагая переводы из Вирхова, сообщает, что он дважды был арестован, сослан в Казань, а затем переведен в Полтаву и что, отсылая свой труд другим редакторам, он бы не заикнулся о таких обстоятельствах. О своей ссылке в Чердынь говорит и другой читатель, Издебский<sup>34</sup>. Видимо: с точки зрения многих читателей, политическая неблагонадежность — лучшая рекомендация в глазах редакции «Заграничного вестника». Подобные письма — свидетельство того, как воспринималось направление «Заграничного вестника» в читательской среде. Они говорят также о том авторитете, который имел Лавров у революционно настроенной молодежи уже в середине 1860-х гг.

О восприятии нового журнала общественным мнением можно судить и по той журнальной полемике, которая завязалась вокруг первых же выпусков «Заграничного вестника», вокруг программного заявления, столь четко определившего симпатии и антипатии редакции. В передовой статье № 39 «Русского ин-

<sup>33</sup> № 70, л. 80 об.

<sup>34</sup> Там же, л. 172—173, 258.

валида» (16. II. 1864) сотрудники «Заграничного вестника» прямо обвинялись в неблагонамеренности, в радикализме, в антинародных и антипатриотических настроениях. Они, по мнению правительственного официоза, «имеют несчастье в своих чувствах и мыслях расходиться не только с массою нашего народа, но и с значительным большинством нашего образованного общества». «Инвалид» считает, что расходиться с господствующим направлением умов можно с двух точек зрения: крайне консервативной и радикальной. В первом случае, по заявлению официозной газеты, такому расхождению нельзя сочувствовать, но его можно понять и извинить; во втором же — оно не заслуживает ни малейшего снисхождения: «Это мечтатели, утописты, не знающие и не желающие знать ни истинных потребностей, ни истинных условий окружающей их действительности, живущие в каких-то заоблачных сферах, говорящие с чужого голоса, увлекающиеся чуждыми нам идеями коренных, радикальных, всеобщих преобразований». «Русский инвалид» недвусмысленно намекал, что редакция «Заграничного вестника» состоит из таких опасных мечтателей, или, по крайней мере, горячо сочувствует им, «безумцам», «мальчишкам», «нигилистам». «Заграничный вестник» обвиняется в «меланхолическом настроении», в том, что он в мрачном свете воспринимает явления русской действительности. Позиции нового журнала противопоставляется в качестве положительного примера точка зрения умеренных либералов, якобы выражающих стремления народа и лучшей части образованного общества, довольных происходящими переменами, правительственными реформами, понимающих, что оставшиеся недостатки можно изжить тем скорее, чем более общество умеет оценить то, что даровано, чем менее радикальные требования и стремления станут находить в нем сочувствие. «Истинный либерализм», по утверждению «Русского инвалида», хорошо знает, что «тревожная торопливость» в настоящее время неуместна, он «всегда отличается духом умеренности», сознавая, что «настоящие стремления русского общества» чужды всяким «крайностям», что оно и народ «искренне благословляет настоящее время», не отчаивается в будущем «и считает злейшими своими врагами всякого рода радикалов». В статье «Русского инвалида» в адрес редакции «Заграничного вестника» бросается обвинение в том, что она враждебна не только правительству, его преобразовательной деятельности, но и народу, что она смотрит на светлую, радующую каждого патриота, русскую действительность сквозь темные очки. Такие обвинения многократно выдвигались реакционерами против революционно-демократической журналистики 1860-х гг.; от них довольно отчетливо пахло доносом.

С защитой «Заграничного вестника» выступили «Санкт Петербургские ведомости», редактируемые В. Ф. Коршем, в кото-

рых в это время неоднократно резко критиковалась реакционная литература и журналистика. В № 40 газеты (от 18. II. 1864) в неподписанной (видимо, редакционной) статье с осуждением отмечались нападки на «Заграничный вестник». Эти нападки сравнивались с заявлениями рептильной французской периодики, прославляющей Наполеона III, заявляющей, что все, «что направлено против известной системы, обречено ничтожеству, потому что масса народа не разделяет этих понятий и стремлений». Хотя прямо «Русский инвалид» не назывался, но было совершенно понятно, что речь шла именно о нем, что его редакция обвинялась в обскурантизме, во враждебности к «последним выводам европейской науки». Подобные же обвинения содержались и в следующем, № 41 «Санкт-Петербургских ведомостей» (от 19. II. 1864). Здесь опубликована статья К. Арсеньева о «Заграничном вестнике», в которой с похвалой говорилось и об общем направлении журнала, и об его первом выпуске. Арсеньев вновь напоминал о нападках «Русского инвалида», об его намеках о неблагонамеренности «Заграничного вестника», он защищал право публициста на *«темные очки»*: *«одни преимущественно радуются тому, что уже получили, другие преимущественно грустят о том, чего еще не имеют, и это еще не значит, чтобы первые были благонамереннее последних»*. Арсеньев давал понять, что редакция «Русского инвалида» пользуется тем, что демократические издания не могут ответить по существу на ее инсинуации: *«Тот, кто говорит, что чувствует, расположен думать, что и другие пользуются этою мечтой — хотя на деле иногда бывает и иначе»*. Редакция «Русского инвалида» почувствовала необходимость ответить «Санкт-Петербургским ведомостям»; видимо, особенно задело ее обвинение в неуважении к европейским авторитетам. В № 43 (от 22. II. 1864), в большой полемической статье, она старалась оправдаться от упреков в пренебрежении к европеизму и доказать, что европейские знаменитости в оценках ряда политических деятелей вовсе не разделяют точки зрения «Заграничного вестника». Если последний выражал симпатию Гарибальди, Гюго, то «Русский инвалид» склонялся скорее на сторону Бисмарка, Наполеона III и им подобных. Признавая на словах свободу мысли, допустимость различных мнений, вынужденный несколько снизить тон, отказаться от прямых политических обвинений, «Русский инвалид» в то же время продолжал повторять: *«Но всему есть границы, и есть народные убеждения, верования и чувства, не разделяя которых нельзя принадлежать к своему народу»*. И хотя «Инвалид» признает, что редакция «Заграничного вестника», возможно, и не относится к такого рода людям, враждебным своему народу (только «возможно» не относится, а «возможно» и относится — П. Р.), но по-прежнему считает, что ряд фраз из ее заявления дают повод для такого рода раздумий.

Но особенно характерно участие в полемике вокруг первых выпусков «Заграничного вестника» основных изданий революционно-демократического лагеря, «Современника» и «Русского слова». В «Библиографическом листке» «Русского слова» (№ 3, 1864) с похвалой говорилось о новом журнале. Рецензент желал ему «успеха и счастья в борьбе с теми затруднениями, которые так неизбежны на избранной им дороге. Прибыль всякой новой и свежей силы среди нашей журнальной плесени есть такое приобретение, которому нельзя не порадоваться» (стр. 54—55). В оценке «Русского слова» содержалось и признание интересности, прогрессивности «Заграничного вестника», и объявление нового журнала своим единомышленником, и противопоставление его реакционно-либеральной периодике, и понимание того, что на избранном пути его редакции предстоит столкнуться со многими цензурными трудностями. «Русское слово» подчеркивало, что с первых выпусков «Заграничного вестника» «достоинства его уже получили одну из тех лестных рекомендаций перед публикой, по которым она привыкла судить о свойствах журнала» (стр. 53). Внимание читателей обращалось на хороший подбор статей в «Заграничном вестнике», особенно по естественно-научным вопросам, на обзор «Европейская жизнь» (вып. 2). Упомянув о нападках «Русского инвалида», обозреватель «Русского слова» приходил к выводу, что они свидетельствуют лишь о серьезности и доброкачественности нового издания. Столь же сочувственный отзыв был помещен в «Литературном обозрении» № 10 «Русского слова» за тот же год (стр. 74).

Положительно встретил появление «Заграничного вестника» и «Современник». В обзоре «Новые книги» № 2 за 1864 г. М. А. Антонович говорит о новом журнале, как о появлении «светлой точки среди литературной мглы, чистого и ясного звука, нарушающего литературную монотонность» (стр. 253). Оценивая направление, которое стремится придать «Заграничному вестнику» редакция, обозреватель замечает: «Намерения, которыми проникнута редакция нового журнала, и чувства, ее одушевляющие, так редки, что ими нельзя не дорожить в литературе» (стр. 253). «Современник» полностью перепечатывает программное заявление «Заграничного вестника», солидаризуется с ним, с похвалой отмечая, что новое издание не обещает беспристрастия, прямо заявляет о своих симпатиях и антипатиях. Эти симпатии и антипатии, видимо, разделяет и редакция «Современника». Во всяком случае, автор обзора говорит о горячей симпатии к «Заграничному вестнику», о желании редакции «Современника» поддерживать с ним тесные дружеские отношения: «Нам приятно было бы быть друзьями нового журнала, а то у нас так мало литературных друзей, и мы надеемся сохранить дружбу с ним, если он всегда останется верен тем началам, которые он взялся развивать своею деятельностью» (стр. 254).

Особенного внимания и похвал «Современника» удостоиваются статьи «Заграничного вестника» на естественно-научные темы. В то же время Антонович советует редакции нового издания помещать больше статей о жизни человеческого общества, уделять больше внимания наукам общественным. Как видно из содержания «Заграничного вестника», совет «Современника» был учтен<sup>35</sup>. Естественно-научные материалы по-прежнему продолжают занимать в журнале одно из главных мест, но и в пренебрежении к вопросам общественным упрекнуть редакцию стало невозможно.

«Заграничный вестник» был журналом популяризаторским, стремившимся прежде всего расширить кругозор своих читателей, познакомить их с новейшими достижениями европейской науки о природе, человеке, обществе. Этим обстоятельством определялся популяризаторско-дидактический оттенок, характерный для общего облика «Заграничного вестника». В то же время стремление к популяризации знаний не приводило к легковесности и поверхностности сведений, которые сообщались в журнале. Серьезность, научность помещаемых в нем статей — одна из характерных черт «Заграничного вестника». Она иногда приводила к некоторой тяжеловесности, несколько суживала круг читателей, отталкивала тех, кто искал в журнале легкого чтения, кого могла испугать серьезность содержания. Но «Заграничный вестник» отнюдь не превратился в ученое, скучное, сухое издание. Его статьи имели самое непосредственное отношение к злободневным, горячо волновавшим демократических читателей вопросам, были всегда выдержаны в духе единого направления, тенденциозны в лучшем смысле этого слова. Не случайно уже в 1864 г. реакционные круги обвиняли журнал в революционности, считали, что Лавров в «легальном издании» ухитряется проводить нелегальные взгляды<sup>36</sup>.

Согласно своей программе, «Заграничный вестник» целиком основывался на иностранном материале, непосредственно о России в нем речь не шла. Но это не значило, что переводы исчерпывали его содержание и что направление журнала определялось лишь умелым подбором иностранных статей и редакционными примечаниями к ним. Наряду с переводами, редакция широко использовала обзоры по той или иной статье (книге). В подзаголовке обычно указывалось: «статья х» или «по статье (книге) х». В последнем случае (а он встречался довольно часто) переводчик, в сущности, превращался в автора, сопровождая излагаемый материал своим осмыслением, иногда наиболее важными теоретическими выводами. Редакция опублико-

<sup>35</sup> Весьма положительный отзыв о журнале Лаврова см. также в «Книжном вестнике», 1865, № 11.

<sup>36</sup> С. Ф. Либрович, На книжном посту, Пг.-М., 1916, стр. 473.

вала и обобщающие статьи, основанные на целом ряде источников; свобода обращения с материалом здесь была еще большей. Наконец, чисто-оригинальным, хотя и составленным также в значительной степени по иностранным источникам, освещающим события зарубежной действительности, являлся постоянный обзор «Европейская жизнь», которым обычно заканчивался «Заграничный вестник». Да и вопрос о переводах нуждается еще в дальнейшем изучении. Не случайно Либрович говорил, что кое-какие материалы, опубликованные в журнале, могли пройти сквозь цензуру «под видом перевода» (подчеркнуто мною — П. Р. См. стр. 131).

Не совсем ясен вопрос и о круге сотрудников «Заграничного вестника». Не вызывает сомнения первостепенная роль П. Л. Лаврова. Он, видимо, не только осуществлял общее руководство, определял направление, подбирал и отбирал статьи, но и выполнял значительную часть конкретной практической работы, составлял обзор «Европейская жизнь», редакционные вступительные заметки и примечания, переводил отдельные статьи, правил их. В библиографии произведений Лаврова, приложенной к 1-му тому его сочинений, ему приписываются статьи «Гейне и Лассаль», «Современное движение в антропологии. Речь Брока», «Очерки человеческой культуры», «Из науки о человеке», «Из человеческой культуры», «Первобытные постройки на сваях», «Антропология в Англии, Гэнта», «Влияние среды на человека», «Карл Эрнст фон-Бэр»<sup>37</sup> и др. По всей вероятности, авторство Лаврова не исчерпывалось перечисленными статьями. О других сотрудниках «Заграничного вестника» сведений почти не сохранилось. В следственном деле Лаврова говорится о двух тетрадах, в которых записаны имена и адреса различных лиц, видимо, сотрудников «Заграничного вестника»<sup>38</sup>. К сожалению, сами тетради среди отобранных у Лаврова бумаг не сохранились и разыскать их мне не удалось. В деле же упоминается имя Владимира Оттомаровича Баранова. На допросах Лавров признал, что тот «был его сотрудником и помощником по ведению дел «Заграничного вестника», особенно в отсутствие его, Лаврова, за границу прошлым летом» (т. е. летом 1865 г. — П. Р.)<sup>39</sup>. Сотрудничал в «Заграничном вестнике» и Н. Мазуренко (Окнерузам), писатель и публицист круга «Современника», автор антикрепостнических «Записок хуторянина», опубликованных в журнале Некрасова, активный участник демократической газеты «Очерки». В своих «Литературных воспоминаниях» Мазуренко сообщает, что он постоянно работал в «Заграничном вестнике», переводя для него различные статьи.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> См. П. Л. Лавров, Избр. соч. в 8 тт., М., 1934, т. 1, стр. 502—503.

<sup>38</sup> № 70, л. 140 об.

<sup>39</sup> Там же л. 56 об.

<sup>40</sup> См. «Историч. вестник», 1901, № 12, стр. 1062—1071.

Постоянных отделов, кроме «Европейской жизни», в журнале не было. В нем, обычно, вперемешку печатались статьи научные, общественно-политические, литературно-критические, художественная проза (поэзия вообще не допускалась на страницы «Заграничного вестника»), популярные обзоры зарубежной жизни, всякие известия типа «Смеси». Последние занимали в журнале важное место, особенно в «Европейской жизни»; часто печатались они и вне рамок этого отдела. Редакция мастерски составляла такие известия и, видимо, придавала им большое значение. Иногда их можно было подвести под определенные рубрики, что и делала редакция, давая им одинаковые или сходные названия и ссылаясь на предыдущие обзоры подобного же типа. Так, в журнале печатался ряд известий, которые можно было объединить общим названием «о человеческой культуре» (в 1864 г. «Очерки человеческой культуры» — в. 7, «Из науки о человеке» — в. 10, «Очерки культуры» — в. 12; в 1865 г. «Из человеческой культуры» — в. 4, 7, 11); другую группу статей — «о мифологии» (1865, «Из преданий», в. 1, 6, «Из фантастического мира», в. 12). В журнале неоднократно встречались обзоры под общим названием «Из разных стран» (1864, в. 11; 1865, в. 5, 10; 1866, в. 1), «Из природы» (1864, в. 9, 1865, в. 2). Такого рода рубрики помогали систематизировать материал, наметить определенные ведущие линии. Известия типа «Смесь» заполняли и единственный постоянный отдел журнала «Европейская жизнь». Обычно он состоял из двух частей: в первой говорилось о различных событиях европейской жизни, во второй давался обзор иностранной литературы, в первую очередь научно-популярной.

Научно-популярный материал вообще занимал важное место в содержании «Заграничного вестника». Прежде всего бросался в глаза интерес редакции к естественным наукам, столь характерный для всей демократической журналистики 1860-х гг. Журнал не просто знакомил читателей с естественно-научными открытиями (хотя делалось широко и это), а подводил их к принципиальным теоретическим выводам о важности естественных наук, о методах истинно-научного познания мира. Речь шла о выработке определенного мировоззрения, о противопоставлении этого мировоззрения религиозно-идеалистической точке зрения. Уже первый выпуск «Заграничного вестника» открывался статьей видного французского химика, занимавшегося искусственным синтезом органических веществ, Пьер Эжене Марселена Бертло «Наука положительная и наука идеальная». Статья представляла собой ответ Бертло на письмо Э. Ренана, знакомое русским читателям по № 11 «Библиотеки для чтения» (1863). Во вступительной заметке редакция «Заграничного вестника» осуждает Ренана за его метафизику, за истолкование истории развития природы. Правда, и о Бертло редакция замечает, что он

«сплетает научные теории со значительною долею фантастических мечтаний» (стр. 1). Но в целом Бертло противопоставляет Ренану именно как естествоиспытатель — умозрительному идеалисту. Уже в самом названии подчеркивалось это противопоставление, которое в сознании русских читателей могло вызвать противопоставление такого же рода, напомнить 1-ое из «Писем об изучении природы» Герцена: «Эмпирия и идеализм». Именно противопоставление этих двух начал красной нитью проходит через всю статью Бертло. Все его симпатии, разделяемые редакцией «Заграничного вестника», на стороне науки положительной, эмпирической, противопоставляемой абстрактному умозрению, идеализму, которая не ищет «конечных целей», а «устанавливает факты и связывает их один с другим непосредственными отношениями» (стр. 4). Авторитет такой науки опирается «не на отвлеченное рассуждение, но на необходимое согласие ее результатов с самою природой вещей» (стр. 9). Природа же вещей — не зависит от нашего восприятия, от нашего сознания, она существует объективно и сознание лишь познает эту объективность: «Вещи существуют в определенном порядке, независимо от нашего желания и нашей воли» (стр. 19). Новая наука, в отличие от умозрения, изучает эти вещи, основывается на наблюдении природы, поэтому ее выводы — истинны, тогда как прежние были произвольными. Истинность новых мнений, по Бертло, проверяется на практике: «Самое прочное ручательство их заключается в могуществе, доставляемом ими человеку» (стр. 9). В статье резко осуждается метафизика, наука умозрительная, стремящаяся к построению безусловной, абсолютной системы, основывающаяся на априорном методе познания. Бертло не отрицает целей и задач идеальной науки, но он считает, что для подлинно-научного их решения необходимо, «не отыскивая боле мечтательную достоверность, подчинить идеальную науку тому же методу, который составляет прочную основу науки положительной» (стр. 16). Статья Бертло, несмотря на отенок ограниченного эмпиризма, позитивистской абсолютизации значения опыта, должна была восприниматься как материалистическая, привлекать демократического читателя 1860-х гг. своей критикой идеализма, пропагандой опытной науки, утверждением объективной сущности окружающей природы, мыслью о том, что вопрос о «конечных целях» (т. е. о божественном вмешательстве) лежит за пределами подлинно-научного знания и т. п. Рассуждения же о необходимости внедрения методов науки положительной в науку идеальную могли осмысливаться как стремление к объединению опыта и теории, «эмпирии» и «идеализма», о котором писал в свое время Герцен в «Письмах об изучении природы». Открывая новый журнал, статья «Наука положительная и наука идеальная» как бы намечала программную ориентацию редакции в вопросах философского осмысле-



ния действительности. Не случайно демократическая журналистика сочувственно встретила изложение Бертло. О статье с похвалой упоминают в приводимых выше отзывах о «Заграничном вестнике» и «Современник» и «Русское слово», осмысливая ее именно как материалистическую, противостоящую идеалистическим теориям. Так, рецензент «Современника» указывал, что в статье отдается предпочтение науке положительной «и ее точному опытному методу, идущему по следам наблюдений и фактов, и не одобряется идеалистическая наука с ее методом, начинающим абсолютными идеями, составленными а priori, и выводящим из них объяснение всех научных предметов и вопросов; статья выражается прямо, что последний метод нужно бросить, как ни к чему не ведущий». <sup>41</sup> Предпочтение, оказываемое Бертло методу «науки положительной», находит в «Современнике» полное сочувствие. Правда, здесь же указывается, что Бертло не лучшим образом раскрывает преимущества этого метода.

Положения, намеченные в статье Бертло, неоднократно повторяются позднее на страницах «Заграничного вестника». Они отчетливо звучат в статье «Единство жизни», опубликованной в в. 2 (1864). Автор ее настойчиво подчеркивал, что действительность не имеет ничего общего с идеалистическими, основанными на незнании природы, представлениями, но и дробное, эмпирическое знание не удовлетворяет автора. Он требует познания единства природы, в ее целостности и взаимосвязи. По его утверждению, человечество в познании мира прошло через три периода. Первый — длился до Галилея, простоудушно-непосредственный, когда люди не подозревали о физических и химических законах, управляющих миром. Второй — период эмпирического изучения, дробного анализа, связанного с рядом естественно-научных открытий. Ученые тогда еще «не могли дойти до полного единства органической деятельности», они «занимались исследованием отдельных отправлений различных органов, не связывая их между собою» (стр. 327, 328). В третьем, наиболее истинном и научном, исследователи «отыскивают взаимное действие отправлений, ту связь, которая превращает совокупность органов в продукт организма, и рассматривают разнообразие отправлений как единую жизнь» (стр. 328). Однако, это представление о единстве жизни, возникшее на третьем, подлинно-научном этапе, в отличие от представлений первого периода, по мнению автора, не имеет ничего общего с идеализмом, основано на опытном познании материального мира: «Архей превратился в слабый раствор пепсина и хлористо-водородной кислоты, химические свойства которых производят сварение белка» (стр. 328). В статье отвергается мысль, что единство жизни связано с наличием какой-то особой нематериальной жизненной силы, стоящей

---

<sup>41</sup> «Современник», 1864, № 2, Совр. обозр., стр. 258.

над физическими и химическими жизненными процессами; оно «не заключается в допущении единой жизненной силы, деспотически подчиняющей себе физические и химические силы <...>». Такого рода жизненная сила, как меч Домокла, висела прежде над головою физиологов, хотевших открыть необходимую связь между явлениями» (стр. 337), а вытекает из подчинения жизненных явлений «непреложным законам естественной необходимости» (стр. 338). Несмотря на некоторую вульгаризацию, прямолинейность сведения процессов физиологии к физике и химии, статья была в целом направлена против идеализма, выражала материалистические тенденции, пропагандируя идею осмысления данных естественно-научного материализма целостным мировоззрением.

Развитием подобных же идей являлась статья «Первый представитель науки» (вып. 12, 1864), в которой говорилось об оценке английским философом Люисом Аристотеля. Редакция «Заграничного вестника» сочувствует утверждениям Люиса о слабости древней науки, не опирающейся на опыт, на факты. Журнал согласен с упреками, предъявляемыми Аристотелю в том, что идею развития он выводил из идеи целесообразности, считая совершенствование целью. Редакция отвергает учение о «конечных причинах» и «целях» природы, к которому часто прибегал в своих объяснениях Аристотель: «Подобное объяснение в наше время считается ненаучным лучшими авторитетами» (стр. 430). Но ее привлекают материалистические тенденции Аристотеля, его гениальные догадки, утверждения, что «явления соответствуют реальному» (стр. 443). Не случайно он называется «первым представителем науки». В редакционной вступительной заметке Люис осуждается за то, что, справедливо критикуя идеалистическую метафизику, он отождествил с ней всякую философию, не поняв, что последняя — «столь же необходимое отправление человеческого духа, как наука» (стр. 418).

Материалистические тенденции звучали и в изложении лекции Я. Молешотта «Пределы человеческой природы», опубликованном в вып. 8 «Заграничного вестника» (1864). Автор говорил здесь об объективности существующего мира, о развитии его по законам природы, о возможности человека познать окружающий мир при помощи чувств, относительно несовершенных, но все более усовершенствуемых. К материалам подобного же рода следует отнести первую из 2-х статей, опубликованных в вып. 6 (1865) под общим названием «Единство наук». Она представляет собой переложение речи некоего Фирорта, прочитанной в Тюбингенском университете. Переложение Фирорта — пример того, как редакция «Заграничного вестника» умела заставить служить своим целям материал, далеко не всегда перекликающийся с ее точкой зрения. В выступлении Фирорта ощущается тяга к примирению материализма с идеализмом, «реального с

идеальным» (стр. 320), заметно стремление доказать, что новейшие достижения естественных наук вовсе не противоречат идеализму. Поэтому редакция, отмечая в вступительной заметке, что в печатаемых статьях «много здравых мыслей», «много поставленных вопросов», сразу же заявляла о своем несогласии с рядом воззрений авторов (стр. 317). Видимо, там где речь шла о Фирорте, имелись в виду как раз те «примирительные» тенденции, о которых говорилось выше. Привлекала же редакцию пропаганда Фирортом естественных наук, их опытного метода, призывы применить достижения этого метода к изучению духовного мира, сознания, преодолеть разрыв между опытом и умозрением и т. п. В статье утверждалось, что естественные науки раскрывают «соотношение между духовным и материальным», что полезно «применять естественно-научные методы к исследованию чисто-духовных явлений», что умозрение, «спекуляция во все не представляет враждебной силы положительной науке» и «Благодаря тому, что естественные науки стали входить в область психологии, последняя сделала громадные успехи», «психические явления сделались доступны для научного исследования» и т. п. (стр. 322, 332). В общем контексте журнала подобные утверждения воспринимались как материалистические.

Идеи естественно-научного материализма развивались и в статье видного французского естествоиспытателя Клода Бернара «Успехи физиологических наук», опубликованной в вып. 9 (1865). Редакция «Заграничного вестника» придавала статье большое значение и, желая поскорее познакомить с ней читателей, отложила ряд материалов, в том числе постоянный обзор «Европейской жизни», до следующего выпуска. В статье вновь говорилось о преимуществах опытного метода, в частности, при изучении живых тел. Бернар осуждал тех, кто старается ограничить применение опытного метода областью физико-химических наук, он утверждал, что нельзя противопоставлять «жизненную силу» силам физико-химическим, что живые существа не отделены непреходимой гранью от мира неорганического, находясь в неразрывной взаимосвязи, что различные явления в живых телах, как и в неживых, связаны не с какой-то особой «жизненной силой», а с причинами чисто физико-химического свойства: «нельзя установить никакого различия между принципами физиологии и принципами наук физико-химических» (стр. 502). Обходя вопрос о «первопричине» (т. е. о существовании бога), отметив, что решение этого вопроса науке недоступно, Бернар акцентирует внимание на том, что ближайшие причины, производящие явление, вполне доступны исследователю, всегда бывают физико-химического свойства. С его точки зрения, живой организм — «не более, как дивная машина» (стр. 507); поэтому физико-химические науки должны стать основанием физиоло-

гии, а опыт — единственный критерий, которым должен руководствоваться ученый. В статье ощущается известное пренебрежение к философскому обобщению. В ней утверждается, что настоящий исследователь не должен связывать себя определенной философской системой, которая может лишь запутать его. Правда, отношение Бернара к философии несколько противоречиво. С одной стороны, он явно недооценивает ее, противопоставляя ей узко-опытный метод, исследование частных фактов, определяемых простыми физико-химическими процессами. С другой — он утверждает необходимость изучения взаимосвязей, во всей их совокупности, в понимании единства организма; он говорит об «истинной философии», полезной для науки, которая не ограничивает науку, а побуждает ее к дальнейшему отысканию истин. Подобные положения Бернара могли восприниматься как критика философской идеалистической метафизики, столь характерная для «Заграничного вестника» вообще. Несмотря на известную механистичность, позитивистское преувеличение роли опыта, Бернар должен был восприниматься читателями как противник идеализма, сторонник естественно-научного материализма, серьезного лабораторного исследования физиологических явлений. Его тезис: «лаборатория есть необходимое условие развития всех опытных наук» (стр. 524) не мог не встретить поддержку у русской демократической молодежи, среди единомышленников Базарова.

Со статьей К. Бернара перекликалась и статья «Труды Пастера», опубликованная в вып. 9 (1865) и представлявшая собой переложение работы Ложеля. В ней вновь ставился вопрос о соотношении органического и неорганического мира, о жизни и смерти как свидетельстве взаимосвязи и взаимного перехода друг в друга этих двух миров. В статье, как неоднократно в журнале, говорилось об естественном развитии органического мира, о первоначальном появлении нескольких типов зародышей, из которых постепенно образовалось все многообразие живой природы. Здесь вновь затрагивался вопрос о «первопричинах». «Откуда взялся первый зародыш?» — спрашивает автор. Не давая прямого ответа на этот вопрос, он выносит ответ на него за рамки научного изучения: «Наука не отвечает на этот вопрос <...> она не изучает ни первых начал, ни конечной цели» (стр. 409). В то же время в статье мимоходом отмечается, что органическая природа, вероятно, произошла из неорганической, что жизнь, по всей видимости, обязана «своим происхождением особенному процессу, которым сложились в новую форму элементы минеральной природы» (стр. 410). Здесь вновь говорится о единстве физико-химических и физиологических явлений, понятие «жизнь», с известной вульгаризацией и механистичностью, вводится в число других сил природы (тяготение, магнетизм и т. п.), и если, по мнению автора, физиология, из-за сложности жиз-

ненных процессов, не может пока ставить своей задачей «объяснение всех жизненных отправления посредством физических и химических сил», то в будущем, по мере ее успехов, новое поколение биологов — физиков сможет «подвести явления жизни под более простые и более общие законы, повелевающие веществом» (стр. 411).

С пропагандой идеи естественного развития органического мира, противостоящей религиозным верованиям, связано и обращение редакции «Заграничного вестника» к имени Дарвина. Как раз в начале 1860-х гг. книга Дарвина о происхождении видов была переведена Рачинским на русский язык. «Русское слово», сообщая в «Библиографическом листке» первого номера (1864) об этом событии, расценивала его как «такой отрядный факт, что другого подобного наша литература долго не дождется» (стр. 15). О книге Дарвина говорилось как о новой эпохе в науке. Редакция «Русского слова» обещала в следующих номерах подробно изложить теорию Дарвина. Это обещание было выполнено. В №№ 4—7 «Русского слова» за тот же год опубликована большая статья Писарева «Прогресс в мире животных и растений», в которой подробно излагалось дарвиновское учение. Писарев рассматривал теорию Дарвина как свидетельство победы материалистического мировоззрения в науке и восторженно приветствовал ее. Подобным же образом отнесся к теории Дарвина и «Современник». В № 3 за 1864 г. была помещена статья Антоновича «Теория происхождения видов в царстве животных». Редакция «Заграничного вестника» включается в пропаганду теории Дарвина, с огромным уважением отзывается о ней, настойчиво популяризирует ее. Имя Дарвина упоминается в «Европейской жизни» вып. 4, 5 за 1864 г., вып. 3 за 1865 г., о нем говорится как об одном из величайших деятелей современности. В вып. 5 (1864) опубликована статья «Теория Дарвина и ее приложение». Первая часть ее, основанная на исследовании Шэнемана, рассказывает о жизни Дарвина, об его путешествии. Здесь, между прочим, подчеркивалось, что Дарвин — убежденный противник рабства, приводился отрывок из его дневника, где говорилось о рабстве в Бразилии: «Я благодарю бога за то, что уже не увижу земли, в которой господствует рабство» (стр. 223). Редакция называла теорию Дарвина «великой идеей» современности, а его самого — основателем «действительной науки естественной истории» (стр. 239). Вторая часть статьи представляла собой перевод письма немецкого языковеда, автора работы «Теория Дарвина в применении к науке о языке» А. Шлейхера к видному естествоиспытателю, стороннику и пропагандисту учения Дарвина, Э. Геккелю. В письме делалась попытка подтверждения дарвиновской теории фактами сравнительного языкознания. Популяризации учения Дарвина посвящена и публикация лекций Э. Гексли «Наши сведения о

причинах явлений в органической природе» (1866, вып. 1—3). В рецензии «Русского слова» на перевод труда Дарвина, о которой говорилось выше, упоминались эти лекции и назывались прекрасными. Редакция «Заграничного вестника» печатает 6 лекций Гексли, сопровождая их предисловием К. Фогта. В нем утверждалось, что теория Дарвина — величайшее приобретение науки о животных, которое будет служить путеводной звездой ряду поколений ученых. Излагая дарвиновское учение, журнал вновь акцентирует мысль об единстве органической и неорганической природы, о том, что все разнообразие форм можно свести к небольшому количеству типов, а их — к одной первобытной форме, живой клетке. В статье говорится, что Дарвин не ставит вопроса о первоначальном возникновении органического вещества, что он имеет на это право, но его теория отвергает гипотезу «отдельного сотворения» живых явлений (стр. 479). Гексли полемизирует со сторонниками религиозных верований, с теми, кто считает, что вопрос о происхождении жизни не подлежит научному исследованию, «что все эти явления имеют чудесное происхождение и <...> уклоняются от обыкновенно естественного хода вещей в природе» (стр. 315—316). Он замечает, что теория Дарвина непосредственно не освещает вопроса о происхождении человека, но проясняет и этот вопрос. По мнению Гексли, все выводы, относящиеся к живой природе, должны относиться и к человеку, и сам «человек произошел от низшего животного путем изменения» (стр. 488). Теория Дарвина рассматривается в лекциях как высшее достижение современной естественной науки, как единственное истинное объяснение происхождения и развития органического мира: «Дарвинизм или ровно ничего, потому что нет ни одного разумного воззрения или теории органического мира, которые в научном отношении могли бы занять место рядом с теорией г. Дарвина» (стр. 485). Совершенно очевидно, что подобные утверждения на страницах «Заграничного вестника» воспринимались как опровержение религиозных легенд о сотворении мира и человека.

Редакция весьма скептически относилась к теориям, стремящимся ограничить жизнь пределами земли. В статье «Из природы» (1865, вып. 2) затрагивался вопрос об обитаемости других миров, в связи с книгой французского астронома Фламариона. В «Заграничном вестнике» говорилось о выводах биологии, свидетельствующих, что жизнь разнообразна, может появляться при различных условиях, в разных формах, поэтому «нет никакого основания ограничивать жизнь только нашею землею» (стр. 371). Сама редакция своей точки зрения ясно не излагала, она лишь знакомила читателей с выводами немецкой статьи о Фламарионе. Однако она заявляла, что остережется присоединиться к теории Н. Н. Страхова, решительно отвергавшего наличие жизни на других планетах. Такие утверждения также были

направлены, в сущности, против религиозных представлений об окружающем мире.

С материалистическими тенденциями, с борьбой против церковных верований связан и интерес «Заграничного вестника» к антропологии. Редакция прямо заявляла, что считает «антропологию одною из важнейших областей наук» (1865, вып. 11, стр. 237), знание которой необходимо «каждому мало-мальски образованному человеку» (1865, вып. 5, стр. 285), печатала целый ряд материалов антропологического характера (1864: «Очерки человеческой культуры», вып. 7, «Из науки о человеке», вып. 10, «Из разных стран», вып. 11, «Очерки культуры», вып. 12; 1865: «Любовь и брак», вып. 4, 5, «Из человеческой культуры», вып. 4, 7, «Человек и природа», вып. 6; 1866: «Влияние среды на человека», вып. 1 и др.). Такой интерес вообще характерен для русской революционно-демократической мысли 1860-х гг. Следует помнить, что иногда слова «антропологизм» и «материализм» воспринимались в то время почти как синонимы, и первое нередко служило способом для выражения второго (ср. Н. Г. Чернышевский, «Антропологический принцип в философии»). Редакция «Заграничного вестника» уделяла много внимания антропологии. В журнале давался обзор деятельности зарубежных антропологических обществ. Так, вып. 2 (1864) открывался переводом речи видного антрополога П. Брока «Современное движение в антропологии», подводившего итоги деятельности французского антропологического общества. Характерно, что перевод Брока встретил одобрительные отзывы и «Русского слова» и «Современника». В вып. 11 (1865) напечатана речь президента английского антропологического общества Гэнта «Современная антропология в Англии». Редакция обещала и в дальнейшем регулярно знакомить читателей с успехами зарубежной антропологической науки, собиралась опубликовать обзор деятельности немецких и французских антропологов. В то же время, уже в предисловии к речи Брока, с гордостью упоминалось об успехах русской антропологии, говорилось о работах К. М. Бэра, о котором редакция отзывалась как об одном из виднейших антропологов, знаменитейших натуралистов XIX века. К имени Бэра «Заграничный вестник» возвращался и в предисловии к популярным лекциям Гексли о теории Дарвина (см. стр. 145). В нем приводились слова Фогта, который, вслед за Гексли, утверждал, что теория Дарвина принадлежит к числу трех величайших открытий века в области естественных наук. Среди этих открытий называется и учение Бэра о развитии зародыша. В вып. 2 и 3 (1866) «Заграничного вестника» помещена его автобиография, сопровождаемая редакционной заметкой. В ней подробно рассказывалось о жизни и деятельности Бэра до 1834 г., о юности его, проведенной в Эстонии, об учебе в Тартуском университете и т. п. Редакция отмечала общеевропейское значение деятельности

Бэра, обосновывая этим правомерность публикации материалов о нем, как об одном из лучших представителей европейской науки, в «Заграничном вестнике». В то же время в заметке настойчиво подчеркивалось, что Бэр — именно русский, «наш учёный», что он близок интересам России и не принадлежит к числу тех немецких ученых, «которые, пользуясь средствами России, остаются навсегда ей чужды или даже враждебны по своему духу» (стр. 276). С интересом к антропологии связано и внимание редакции к древнейшим периодам развития человеческого общества, к новым археологическим открытиям, помогающим узнать эти периоды. Так, в 9 вып. (1865) опубликована статья Лаврова «Первобытные постройки на сваях», подробно рассказывающая об открытии в Европе остатков древнейших свайных поселений. В подобном же духе выдержана статья «О древних могилах и о постройках на сваях», представляющая собой переложение популярных лекций Р. Вирхова. Идеей отсутствия непреходимой грани между животным миром и человеком, единства и развития человеческих племен пронизан перевод статьи Б. Тэйлора «Дикие люди и дети, выкормленные дикими зверями» (вып. 3, 1864). Материал о людях, стоящих на низких ступенях развития, живших среди животных, осмысливается с точки зрения дарвиновской теории, антропологического изучения происхождения и развития человека: «Для антрополога весьма важно знать, где самая низшая граница человеческого существования» (стр. 456). На основании ряда фактов, автор пришел к выводу, что границу, отделяющую животных от человека, определить чрезвычайно трудно, «если не совершенно невозможно» (стр. 456).

С вопросами пропаганды учения Дарвина, антропологических теорий, связано и обращение редакции к выводам сравнительного языкознания и мифологической школы. Так, во второй части статьи «Теория Дарвина и ее приложение» (см. стр. 144) Шлейхер подчеркивал, что лингвисты должны усвоить метод исследования естественных наук. В то же время, по его мнению, данные лингвистики могут во многом помочь естествоиспытателям в воссоздании ими картины развития природы и человека. На языковом материале, исходя из теории индо-европейского языка, Шлейхер старается применить выводы дарвиновского учения о происхождении видов путем постепенного расхождения признаков и победы в борьбе за существование наиболее сильных и выносливых экземпляров. Не ставя вопроса об объективной истинности доказательств Шлейхера, следует отметить, что они воспринимались и автором, и читателями как доказательство верности теории Дарвина, положения которой «оказываются справедливыми и в тех областях, которые не были первоначально приняты в соображение» (1864, вып. 5, стр. 263).

Подобные же доказательства приводятся в статьях Шлей-



хера «Культура первобытного индогерманского народа» и Ревия «Предки европейцев». Обе статьи помещены непосредственно друг за другом в вып. 7 (1864), посвящены одним и тем же вопросам, обе используют материал сравнительного языкознания для воссоздания образа жизни, быта первобытных племен, некогда населявших Европу, для антропологического изучения происхождения и развития человека.

В этом же плане следует рассматривать истолкование «Заграничным вестником» мифологических представлений. В вып. 2 (1865) напечатана статья немецкого филолога Б. Дельбрюка «О происхождении мифа у народов индоевропейских». Автор стремится применить в ней сравнительный метод к явлениям мифологии и доказать, что в основе мифов, общих для всех индоевропейских народов, можно обнаружить осмысление явлений природы первобытным человеком. В статье подробно рассказывается об очеловечивании природы в мифологии, обожествлении ее, а затем вновь очеловечивании. В мифе об Ипполите и Федре Дельбрюк пытается вскрыть древние представления о солнце и луне, в мифе о Персее и Андромеде — о грозе, освобождающей воду облаков и т. п. Позднее, по мнению Дельбрюка, на эту первоначальную основу наслаиваются мифологизированные отзвуки исторических событий, но сама основа наиболее древних мифов всегда связана с представлениями о природных явлениях.

Подобного же рода истолкование мифов встречается в неподписанной статье «Из преданий» (1865, вып. 6), видимо, составленной кем-то из сотрудников «Заграничного вестника» на материале ряда зарубежных статей. На примере отдельных мифов автор старается раскрыть реальную основу мифов, найти реальные факты, скрывающиеся за тем или другим мифом. Так, в легендах о сиренах, по его мнению, отразились представления об устойчивом безветрии, встречающемся в определенном районе Средиземного моря» («Таким образом, сирены — это силы, усыпляющие ветры и останавливающие суда» — стр. 449), в немецком мифе о «проклятом охотнике» — о походах гуннов и т. п.

Мифология различных народов привлекается для воссоздания жизни, быта этих народов в статьях Э. Ренана «Древность египетской цивилизации» (1865, вып. 7), А. Мори «Нравы героического периода» (1865, вып. 8) и др. В большинстве названных исследований о мифах говорилось об общности происхождения различных народов, об их постепенном развитии, совершенствовании, о реальных фактах, лежащих в основе мифов, религиозных представлений. Такой материал должен был привлекать редакцию и с точки зрения интересов антропологии, и своим истолкованием вопросов религии, противостоящим официальной церковности.

Антицерковные мотивы вообще довольно отчетливо ощущались в «Заграничном вестнике». Из цензурных соображений они

связывались, как и в других русских демократических изданиях, в первую очередь с критикой католического духовенства. Так, уже в вып. 1 (1864) опубликована статья «Несколько лет республиканского правления в средневековом Риме» (по Грегориусу). Редакция считает, что материалы, изложенные автором, приводят к выводу, что «папство всегда стояло в противоречии с естественным развитием Италии» (стр. 31). В статье рассказывается о стремлении народа лишить папу светской власти, о восстании римлян в 1143 г. против папы и о восстановлении республики: «Изумительно велики были успехи, сделанные человеческим обществом вследствие борьбы государства с иерархией церкви Григория» (стр. 34). В конечном итоге восстание было подавлено, его идеолог, Арнольд Брешианский, казнен; но его дело не пропало даром; им «начинается ряд знаменитых мучеников за свободу, которые погибли на костре, но смелый дух которых вылетел, как феникс, из пламени, чтобы пережить столетия» (стр. 61).

В вып. 2 (1864) была напечатана рецензия на роман «Проклятый». Этот роман, написанный французским католическим священником, вызвал довольно большой шум критикой современного католицизма, в особенности политики иезуитов. Отклики на него появились и в ряде русских периодических изданий. О нем писал «Русское слово», упрекая автора в непоследовательности, утверждая невозможность реформы римско-католической церкви; ее необходимо уничтожить целиком, а не пытаться изменить отдельные ее учреждения, — вот вывод, к которому приходил обозреватель «Русского слова» (см. «Библиогр. листок», 1864, № 1). О романе «Проклятый» говорилось и в № 2 «Современника», в статье Ю. Г. Жуковского «О проклятых героях». Жуковский видел интерес романа в «нападках на злоупотребления иезуитов и светские права римского клира» (стр. 185). В то же время он критиковал половинчатость позиции автора романа, стремящегося лишь реформировать католицизм, а не уничтожить его. В статье доказывалось, что романист не столько расходится со своими противниками, сколько смотрит «немного иначе» на средства, ведущие к поддержанию католицизма; просто «своя своих не познаша», — иронически замечает Жуковский.

В «Заграничном вестнике», как и в «Русском слове», редакция помещает ряд отрывков из «Проклятого», сопровождая их своими примечаниями и пересказом содержания романа. Здесь также говорится, что автор — религиозный католик, желающий возрождения католичества, что его мысль выражена в романе прямолинейно и малохудожественно. Интерес же романа редакция видит в осуждении господствующей римской церкви, в том, что он «выставляет резко на вид все то, что обрекает нынешний католицизм на мертвенность, на противоречие с самыми основ-

ными вопросами современной жизни» (стр. 220). Приведенные в «Заграничном вестнике» отрывки должны были дать отчетливое представление о гнилости и мертвенности католицизма. В них говорилось о стремлении иезуитов к богатству, к светской власти, о вреде монашеских орденов, о пагубности системы, которой придерживается папство и т. п. Правда, в журнале Лаврова менее, чем в «Современнике» и в «Русском слове», подчеркивалась слабость авторской позиции, и основное внимание сосредотачивалось на критике в романе католицизма. Но это отнюдь не значило, что редакция разделяла авторские иллюзии о возможности реформы католической церкви; она стремилась лишь показать, что даже в сознании сторонников католицизма все более укрепляется мысль о полном противоречии его с началами современной жизни.

Об авторе романа «Проклятый», об его новом произведении «Монахиня», говорилось и в обзоре европейской жизни, напечатанном в вып. 7. Редакция «Заграничного вестника», признавая, что критика монастырского уклада — относительно сильная сторона нового романа, сосредоточила на этот раз внимание на слабостях позиции автора и подвергла «Монахиню» довольно резкой критике.<sup>42</sup>

С точки зрения критики католической церкви, монастырей рассматривалась в «Европейской жизни» и книга г-жи Карачиоло «Исповедь монахини» (1865, вып. 1). Она представляла собой рассказ о жизни в монастыре, куда писательница насильно была заточена в юности, в 1830 г., и откуда выбралась с большим трудом в середине 50-х гг. В обзоре подчеркивалось, что критикой католицизма книга Карачиоло напоминает романы «Проклятый» и «Монахиня», но в ней нет ничего вымышленного, она целиком основана на действительном материале, и в этом ее преимущество. Положительное отношение редакции к книге, видимо, определялось и тем, что в ней, в отличие от вышеназванных романов, не ощущалось стремления к реформе католицизма. Автор обзора сообщал ряд сведений о засилии итальянского духовенства, приводил из книги отрывки, рисующие жадность, корыстолюбие, роскошь, жестокость, разврат и т. п., царящие в монастырях.

Мимоходом о духовенстве, и не только католическом, упоминается во многих статьях и заметках. Так, напр., в «Европейской жизни» вып. 2 (1864) рассказывалось о религиозном празднике в Чили, во время которого погибло около 2000 человек: загорелась церковь, нужно было отворить дверь в ризницу, тогда часть людей могла бы спастись; «но патеры заперли эту дверь изнутри, и пока их ближние погибали в адском пламени,

<sup>42</sup> Аналогичную рецензию на «Монахиню» см. в № 6 «Современника» (отд. II, стр. 141—156) и в № 7 «Русского слова» (Библ. листок, стр. 51) за 1864 г.

они спасали статуи, картины, чаши. Ни один из них не вздумал подать руку помощи несчастным» (стр. 47). С горечью и гневом автор обзора сообщает о покорности народа, о вере его в божественный промысел: преступных священников не растерзали, никто не наказал их, все было приписано воле божьей. В «Европейской жизни» этого же выпуска с похвалой говорилось об английском суде, оправдавшем авторов, пытавшихся критически исследовать богословские книги и подвергшихся за это гонениям церковников. Здесь же в иронических тонах рассказывалось о столкновении католического и православного духовенства в Вифлиемской пещере во время рождественских праздников. Характерно, что именно эта «Европейская жизнь» весьма положительно была оценена в рецензии «Русского слова» (см. стр. 135). Крайне иронически о церковных празднествах, о канонизации святых и т. п. говорится в «Европейской жизни» вып. 12 (1864). В этом же выпуске, в статье «Убийство Сиаду», мимоходом упоминается о безжалостности и жестокости церковных законов. В «Европейской жизни» вып. 9 (1864) вновь поднимается вопрос о пагубности засилия духовенства, рассматривается процесс Бальмета, попавшего в сети итальянских церковников. Обзоратель с сочувствием цитирует слова Жюля Фавра, защитника Бальмета, о горестной участи того общества, которое «слепо отдает себя под власть духовенства», считая, что там, «где положена печать священника, ничто немыслимо, кроме слепого повиновения» (стр. 592). В «Европейской жизни» вып. 1 (1865) говорится о новом послании папы римского, опубликованном в декабре 1864 г. и направленном против свободы мысли. Обзоратель сообщает, что оно вызвало единодушное осуждение лучших людей Европы и прогрессивной европейской журналистики: везде называют это «произведение клерикалов самоубийством и сумасшествием» (стр. 164). Папское послание, по словам обзорателя, — это «скрежет зубовой, проклятие, анафема на лучшие приобретения человечества» (стр. 163). В обзоре подробно излагается и цитируется статья Луи Блана о папском послании. С одобрением приводятся его слова о том, что разложение и гибель католицизма, папства не могут вызвать ни малейшего сочувствия: «когда оно осуждает рассудок, оскорбляет науку, уничтожает свободу, клеймит словом чума все, что не оно или не исходит от него, чувствуешь, что ему неизвестны силы, ни те, на которые нападает, ни собственные свои, и ему отказываешь в уважении, вселяемом эпическим отчаяньем» (стр. 165). Обзоратель детально останавливается на антипапских высказываниях Л. Блана, приводит его мысль о том, что послание — удар не только по папству, но и по тем, кто стремится примирить его с идеями XIX века, согласовать католицизм с наукой, «универсальную религию» с прогрессом. Подобная критика далеко выходила за рамки осужде-

ния католицизма, перерастала в осуждение всякой религии, каждой попытки примирения ее с современными идеями. В воспоминаниях Либровича говорится о том, что цензора «Заграничного вестника» обвиняли однажды за разрешение перевода из Л. Блана (см. стр. 131). Весьма вероятно, что речь шла именно о выступлении Блана против папского послания, выступлении, направленном, в сущности, против всякого религиозного мракобесия вообще. В «Европейской жизни» вып. 7 иронически рассказывается о «чуде», якобы совершенном папой, об «излечении» им одного больного, это «чудо», по словам клерикальной печати, должно доказать «в глазах всех самых закоренелых атеистов, что дело папы — дело святое и что само небо благословляет видимым знамением его борьбу против прогресса и свободы» (стр. 151).

Весьма любопытной с точки зрения пропаганды антирелигиозных идей является статья «Древняя языческая реакция» (по М. Никола), опубликованная в вып. 11 (1864). В ней рассказывалось о попытке в I веке до н. э. возродить языческую религию, подточенную философией. Сторонники подобного возрождения разделились на две партии: одни стремились возвратиться к правоверию, принимая все религиозные предрассудки, суеверия; другие пытались примирить религию с философией, оправдать ее при помощи разума, очистив религию от грубых суеверий. В статье показывается несостоятельность подобного примирения, так как разум и религия несовместимы. Поэтому попытки сторонников правоверия, желающих сохранить все дикie предрассудки, были более последовательны, чем действия примирителей-рационалистов: «Язычество не могло существовать во всей своей полноте ни вместе с философией, ни без отталкивающих обычаев древности <...> правоверы были логичны; рационалисты же шли против логики, объявляя язычество спасительным и отвергая суеверия, бывшие его принадлежностью. В языческом мире были только два искренние положения — правоверов и неверующих: середина, на которой, по мнению Плутарха, покоится истинная религия, была самообольщением» (стр. 232—233). Сторонники примирения философии и религии должны были по логике событий или уйти от философии, или порвать с теологией: «Таков неизбежный конец всякой рациональной теологии <...> Она выходит из твердого намерения согласить откровение с разумом и достигает чистой философии, не имеющей ничего общего с этим откровением» (стр. 231). В статье мимоходом говорится о «здоровой почве» Лукиана и его единомышленников (т. е. материалистов). Попытка же примирить разум и религию рассматривается как действие несостоятельное, но весьма любопытное и поучительное: «Это была не логическая, но поучительная попытка разума согласить несогласуемое, внести умеренную критику в область, не

допускающую критики, и поставить священные кумиры в другой области, не терпящей никаких кумиров» (стр. 233). Конечно, подобного рода рассуждения о невозможности примирить религию с разумом, о неизбежной связи ее с мракобесием, дикими суевериями относились не только к далекому прошлому, к язычеству.

С антицерковными тенденциями связано иногда и обращение «Заграничного вестника» к биографиям видных деятелей науки, открытия которых наносили удар по общепринятым церковным догмам. В вып. 2 (1865) была напечатана статья Бертрана «Коперник и его труды». Коперник привлекает автора как представитель опытной науки, противостоящий умозрительному методу: «Не она (логика — П. Р.) разрешает исторические вопросы; и верный факт должен быть предпочтен догадке и мнениям самого замечательного здравого смысла» (стр. 314). Деятельность Коперника рассматривается с точки зрения проверки истин опытом, фактическим наблюдением. Но в то же время выводы Коперника противопоставляются церковному учению о вселенной, общепринятым мнениям тех, кто привык «не мыслить, а верить» (стр. 318). В статье говорится, что взгляды Коперника, согласно которым земля «перестает быть центром и целью творения», вызвали ненависть католической церкви, и даже в 1829 г., когда в Варшаве открывали памятник Копернику, католическое духовенство отказалось участвовать в празднествах. Бертран не изображает Коперника атеистом, рассказывает об его набожности, о том, что Коперник не понимал, как истина может поколебать веру. Видимо, подобную точку зрения разделял и сам автор. Да и осторожность Коперника, нежелание проповедывать истину «слишком открыто» (стр. 332), вызывает сочувствие Бертрана. Но само обращение к имени Коперника, изображение конфликта ученого с римским духовенством, пропаганда опытного метода имели прогрессивный смысл и гармонизировали с общим направлением журнала.

К такого же типа статьям относится перевод из Бертрана «Галилей, его жизнь и значение для науки» (1865, вып. 5). Рассказывая о жизни Галилея, о преследованиях его, автор говорит, что судьба этого ученого может привести многих к выводу, что человечество в своей истории почти не развивается, что вражда к истине, прогрессу и просвещению — черта, характерная для самых различных времен и народов, от глубокой древности и до наших дней. Но такой вывод, по Бертрану, не соответствует действительности; судьба Галилея, общественный отклик на его осуждение — лучшее свидетельство того, что общество движется вперед, что все нетерпимее оно относится к злу и насилию: «Быть может, никогда благородное отвращение общества к нетерпимости не высказалось так резко, как по поводу Галилея. Повесть его несчастий, обратившаяся в благочестивую

легенду, еще более упрочила торжество истин, за которые он пострадал. Скандал, произведенный его осуждением, будет всегда смущать наглость тех, которые еще и теперь желали бы противопоставить силу разуму» (стр. 246). Подобные слова должны были восприниматься русскими читателями не только как осуждение религиозной нетерпимости, но и как отрицание всякой нетерпимости к свободе мысли, любого стремления подавить разум человеческий при помощи силы. В статье резко порицается время, когда «свободную и справедливую <...> критику называли диким и грубым безрассудством и смотрели на нее почти как на святотатство» (стр. 247). Но ведь для читателей «Заграничного вестника» такие времена отнюдь не были далеким и не касающимся их непосредственно прошлым. И в современных им реакционных (да и не только реакционных) журналах и газетах не смолкали призывы отказаться от критики, отрицательного направления. Рассуждения Бертрана о деспотизме, направленном против свободы мысли, воспринимались как имеющие прямое отношение к России, ее сегодняшнему дню. Бертран не героизирует Галилея, не верит в легенду о знаменитых словах: «А все-таки она вертится», якобы произнесенных после отречения. Но он с большим сочувствием рассказывает об этом человеке, не склонившемся перед признанными авторитетами, в том числе перед церковными, о борьбе против религиозного деспотизма.

Материалистические тенденции, стремление популяризировать естественные науки определили появление в «Заграничном вестнике» целого ряда статей естественно-научного характера, выдержанных в самых различных планах: здесь и популярные сообщения о медицине, о соотношении ее с физиологией («Жизнь крови» Вирхова, 1865, вып. 1, «О способе распространения холеры», 1865, вып. 11, 12, «Естествознание и медицина», 1865, вып. 4), и рассказы о жизни природы («Из природы», 1864, вып. 9, 1865, вып. 2; «Странствия насекомых», 1865, вып. 4; «Паразиты и их странствования», 1865, вып. 4, «Солнце Индии», 1864, вып. 3; «Обычай и государства животных», 1864, вып. 6; «Яд кураре», 1864, вып. 11), и различные сведения о физике и химии, о применении их в промышленности («Теплота и движение», 1864, вып. 7; «Светильный газ») и др. Особо следует остановиться на интересе редакции к вопросам психиатрии, основанной на новых достижениях естественных наук, связывающей вопросы психологии и физиологии. В «Заграничном вестнике» опубликована статья доктора Мейера «Современные вопросы психиатрии» (1865, вып. 10, 11), в которой говорилось о необходимости при лечении душевных болезней заменить старую систему насилия и усмирения новой, укрепляющей и развивающей больных, применяющей с этой целью труд, физическую культуру и т. п. В вып. 6 (1864) напечатана статья «Сон по английским

исследованиям». Здесь же редакция упоминает о книге «Сон и сновидения» французского ученого Мори. Надо отметить, что механистические, вульгарно-материалистические представления сказывались иногда и в подобного рода популярных естественно-научных статьях. Так, в вып. 2 (1865), в статье «Из природы», рассказывая о влиянии пищи на человеческий организм, автор, вслед за излагаемым им немецким ученым Пистором, понимает это воздействие вульгарно-прямолинейно: «Чай <...> в соединении с почти исключительно мясной пищей делает англичан людьми сильными, расчетливыми и решительными; но он же, вместе с различными климатическими и географическими условиями, есть причина той пуританской религиозности, которая нам так в них не нравится. Кофе делает немца глубоким мыслителем и остроумным систематиком, он помог бы ему развивать и политически-социальные идеи, если бы его действие не задерживалось пивом, картофелем и стручьями» (стр. 354—355). По мнению Пистора, «та партия, которой положение выгоднее <...> переваривает скорее и обладает большим аппетитом, чем другая, поставленная не столь выгодно» (стр. 357). Автор «Заграничного вестника», цитируя утверждения Пистора, не возражает ему, он, видимо, солидарен с этими утверждениями и уже от себя добавляет: «Пища и ее приправы обуславливают основную особенность характера народа» (стр. 354).

Выступает редакция и за широкое внедрение естественных наук в школьную программу. Как и другие демократические издания 1860-х гг., «Заграничный вестник» — убежденный сторонник реального и противник классического образования. В отделе «Европейская жизнь» вып. 2 (1864) говорится: «Нельзя оспорить, что существуют еще добросовестные защитники превосходства филологического обучения перед реальным между людьми, у которых нельзя отвергать ни ума, ни нравственного достоинства; но в *большой части* случаев только близорукое невежество или себялюбивое презрение к интересам общества руководит противниками естествознания в преподавании, и это особенно можно сказать у нас, где нельзя оправдать преобладание филологии в педагогике даже традицией» (стр. 72). Подобные же идеи проводились в статье «Народное образование во Франции» (1865, вып. 9).

Итак, статьи естественно-научного характера занимали в «Заграничном вестнике» довольно много места и играли важную роль. Но они отнюдь не исчерпывали содержания журнала. Проблемы политические, социальные, экономические нашли широкое отражение на его страницах. О России, согласно программе журнала, говорить прямо нельзя. Но в оценке заграничных событий вполне отчетливо проявлялось отношение редакций и к русской действительности. В «Заграничном вестнике» резко осуждалось всякого рода деспотическое правление, заси-



лие бюрократии, государственный произвол. В связи с этим неоднократно поднимались вопросы о порядках наполеоновской Франции, о стремлении прусской и австрийской реакции подавить оппозицию, о национально-освободительном движении в Италии, о войне Севера против Юга в Соединенных Штатах Америки и т. п. Эти вопросы постоянно обсуждались на страницах русской журналистики 1860-х гг. И можно с полной определенностью утверждать, что решение их «Заграничным вестником» не расходилось с точкой зрения демократической периодики. В журнале много писалось о событиях в Германии, о борьбе между прусскими либералами и правительством Бисмарка. Сочувствие редакции полностью на стороне противников Бисмарка. Так, в «Европейской жизни» (1865, вып. 7) Бисмарк назывался «средневековым феодалом», говорилось о том, что правительство, «рассчитывая на привязанность прусского народа к монархической власти» (стр. 153), стремится к военной и полицейской диктатуре, пытается изобразить либералов революционерами: «уже три года нижняя палата ведет самую стойкую, мужественную борьбу с Бисмарком» (стр. 153). С негодованием рассказывается в обзоре о расправе реакции над рядом деятелей оппозиции, об аресте Вирхова и суде над ним. Кстати, Вирхов привлекал сочувствие редакции не только как политический деятель, противник Бисмарка, но и как ученый, естествоиспытатель: «Эта личность одна из самых светлых не только между германскими, но и вообще между всеми европейскими государственными деятелями. Ученый, политический деятель, боец за свободу своей родины, честный человек — вот, в коротких словах, характеристика Вирхова» (стр. 156). В вып. 9 (1865), в «Очерках Германии», напечатан очерк «Отто фон Бисмарк Шенгаузен». В нем рассказывалось о стремлении Бисмарка установить засилие реакции, ограничить права народа, поработить печать, о нарушении им и королем конституции: «упорство против общественного мнения и презрение народной воли составляют существенную черту нового прусского конституционализма». В очерке говорилось и о преследовании Бисмарком печати, против которой принимались меры «по французской системе запрещения и подчинения», «осуждение преступной прессы предоставлено было чиновникам, и по двукратном предостережении издание журнала или газеты прекращалось» (стр. 481, 482). Такого рода сведения воспринимались читателями как прямая аналогия с событиями, происходящими в России: ведь как раз в 1865 г. начинает действовать новый цензурный устав, основанный на «французской системе» административного произвола, предостережений и запрещений. Да и критика Бисмарка выходила за рамки общего осуждения деспотизма, монархического самоуправства, реакции. Следует помнить, что Бисмарк в это время выступал сторонником союза с царской Россией,

весьма сочувственно следил за расправой над восставшими поляками. Слухи о прусско-русской тайной конвенции, направленной против поляков, будоражили европейское общественное мнение и обостряли протест оппозиции. О таких слухах, об их правдоподобии говорится в «Очерках Германии», где планы Бисмарка называются авантюристскими, вызывающими справедливый протест либеральных депутатов. Все это звучало чрезвычайно злободневно, имело прямое отношение к России.

В журнале осуждался и административный произвол в Австрии, раскрывалось лицемерие и лживость австрийского правительственного либерализма. В редакционном примечании к статье А. Мозера «Взгляд на экономическое положение последнего времени в связи с политическими событиями» отмечалось, что «автор видит слишком в розовом свете настоящее австрийской империи», что «либерализм ее министров вынужден лишь необходимостью. Пагубное прошедшее заставляет ее играть в европейских столкновениях вечно лицемерную роль, и ни одно ее действие не способно еще внушить доверие к искренности ее стремлений» (стр. 342).

Осуждение австрийской административной незаконности и произвола дается мимоходом и в статье о суде над почтовым чиновником, длительное время воровавшем денежные письма, «Процесс вора писем Каляба» (1864, вып. 3). Редакция замечает, что процесс весьма характерен «для исторического развития современного общества в Европе, в особенности в Австрии, и показывает, как замкнута и безответственна пред обществом администрация, которая, стоя этому обществу чрезвычайно дорого, не обеспечивает его от самых тяжелых злоупотреблений» (стр. 433).

Может создаться впечатление, в какой-то мере справедливое, что осуждая прусских и австрийских реакционеров, правительственный административный произвол, редакция «Заграничного вестника» до известной степени идеализирует либеральную оппозицию, преувеличивает значение ее борьбы. Однако, такое впечатление нуждается в уточнении. «Заграничный вестник», предпочитая германских оппозиционных депутатов их противникам, отнюдь не солидаризуется целиком с позицией первых. Особенно отчетливо это видно в статьях о завоевательной политике Пруссии и Австрии, которую поддерживали как реакционеры, так и либералы. Уже в вып. 1 (1864), в статье «По датскому вопросу», осуждаются прусские реакционеры, стремящиеся к присоединению земель Дании, в то время как порядки самой Пруссии далеко не соответствуют интересам и потребностям ее населения: «не следовало ли бы Германии сперва во всех своих частях выработать столько свободы, сколько уже дает датская конституция, и потом уже хлопотать о расширении национальных границ» (стр. 168). В «Европейской жизни» вып. 3, (1864)

редакция вновь останавливается на прусско-датском вопросе. В обзоре приводится отрывок из сочинения немецкого историка Р. Узингера, который, в связи с германо-датским конфликтом, на материале прошлого, стремился подтвердить права Германии. В редакционном примечании утверждается, что уже само это стремление «делает весьма сомнительным научное достоинство сочинения» (стр. 154). Здесь же говорится о засилии немецкого дворянства, о его «самом возмутительном сословном господстве» в Мекленбурге. «Не будет ли торжество немецкого элемента в Шлезвиге, — спрашивает обозреватель, — торжеством дворянства, теперь эксплуатирующего национальное соперничество, чтобы потом захватить в свои руки преобладание?» (стр. 154).

Осуждая политику силы и военного нажима, редакция «Заграничного вестника» приходит к выводу, что подлинное единство Германии невозможно на основе правительственной неограниченной диктатуры, насильственного присоединения и т. п., что оно неразрывно связано с свободой, народными правами. В статье «Немецкий вопрос» (1864, вып. 8) рассказывается, что правители Германии обманули народ, не выполнили своих обещаний сделать страну единой и свободной: «Народ, ценою своей крови восстановив престол своих государей, доверчиво ждал исполнения их обетов» (стр. 365), но это ожидание было напрасным. Стремление к внешним завоеваниям и внутренняя реакция оказываются, по мысли автора статьи, неразрывно связаны: «Кто хочет внешних завоеваний, тот готов на подчинение диктатуре <...> Пока Германия будет желать побед и завоеваний, ей нужны предводители, диктаторы, повелители» (стр. 382). Немецкий вопрос, как утверждает в статье, не может быть решен ни путем завоеваний, ни при помощи диктатуры над народом, да и вообще в рамках монархического правления его решить невозможно: «Не под скиптром Габсбургов и не под скиптром Гогенцоллернов найдет Германия решение немецкого вопроса. Не *империя* даст его» (стр. 382). Характерно, что осуждая завоевательные планы прусской реакции, редакция весьма иронически говорит и о немецких либералах, опьяненных шовинистическим угаром (напр., в статье «По датскому вопросу», «Немецкий вопрос» и др.).

Завоевательная политика Пруссии и Австрии, позиция немецких либералов осуждается и в «Очерках Германии». В примечаниях редакции о датском вопросе говорится, что «хищничество первостепенных держав Германии уже выказалось в полной мере», что всем стало ясно, «как мало прусское и австрийское правительство намерено уважать какие бы то ни было права <...> и как слепо либеральная партия содействовала целям Бисмарка, поддерживая войну в герцогствах» (1865, вып. 9, стр. 499). Для выяснения взглядов редакции на германский вопрос важен также перевод статьи Г. Зибеля «Развитие монархиз-

ма в Пруссии», напечатанный в вып. 6 (1864). Особый интерес представляет даже не сама статья, а редакционные примечания к ней. Мысль Зибеля отнюдь не выходила за рамки умеренного либерализма. Он пытался доказать, что для прошлого Германии закономерна диктатура; затем немцы, по Зибелю, прошли строгую и разумную школу, заслужили право на свободу, и Фридрих Вильгельм I даровал им ее; дальнейшая история, борьба с французами в 1813 г., показали, что Германия достойна свободы. Реформы Фридриха оцениваются Зибелем крайне сочувственно и, в сущности, противопоставляются деспотическому правлению Бисмарка, хотя последний прямо и не назван. Зибель надеется, что Германия в дальнейшем пойдет по пути реформ, намеченном Фридрихом, а не по пути диктатуры Бисмарка. Конечно, оппозиционность Зибеля весьма относительна, хотя сама антибисмарковская тенденция привлекала редакцию «Заграничного вестника». Но, печатая Зибеля, отмечая, что он — один из рьяных противников Бисмарка, что его статья о прошлом Пруссии имеет «современное значение в борьбе прусских политических партий» (стр. 473), редакция четко отграничивает свою точку зрения от позиции автора. По ее мнению, Зибель преклоняется перед личностями, которые стремились создать Пруссию, «мало заботясь о благе общества или единиц, его составляющих» (стр. 474). В одном из редакционных примечаний говорится, что «Зибель принадлежит к поклонникам государства, которые не хотят видеть, что самое государство есть лишь средство для высшего блага, для свободного и самостоятельного развития человеческих личностей <...> Всякий раз, когда государство считалось *высшим* благом, личности приносились в жертву идо-лу и общество страдало» (стр. 477—478); в другом примечании упоминается «идолопоклонство автора перед *государственно-административным* идеалом» (стр. 482), Зибель осуждается за идеализацию Фридриха Вильгельма I, его реформ. Редакция замечает, что либерализм — отнюдь не главное в деятельности этого прусского правителя, что он легко приносил благо общества в жертву военным, государственным, политическим интересам. Подобные рассуждения имели прямое отношение не только к современной прусской, но и русской действительности. Они подводили читателей к выводу, что вообще интересы самодержавного государства (даже при либеральном монархе) и благо страны — понятия несовместимые.

В этом же выпуске печаталась статья «Некоторые черты из жизни Фридриха Вильгельма I», составленная из выписок, сделанных в немецких архивах английским исследователем Вебером. Редакция, возможно и из цензурных соображений, замечает, что Вебер, пожалуй, слишком чернит Фридриха, в то время как Зибель и Карлейль слишком возвеличают его. Но сама статья, как бы развивая редакционные примечания к переводу

Зибеля, рисует образ самодержавного тирана, деспота, который «не признавал иных доводов, кроме силы, не знал иного способа убеждения, кроме палки» (стр. 501).

С борьбой реакционеров и либералов в Пруссии 1860-х гг. перекликалась и статья «Борьба прусских феодалов с Гарденбергом» (1865, вып. 3), составленная по книге Арндта. В ней рассказывалось о Гарденберге, немецком государственном деятеле, возглавлявшем прусское правительство в 1810 г. Он пытался осуществить ряд реформ (более равномерное распределение налогов, создание при короле совещательного представительства, ограничение барщины и т. п.), вызвавших ожесточенное сопротивление прусских феодалов. Отдавая должное деятельности Гарденберга, соглашаясь, что он издал много полезных указов, законов, редакция в то же время считает, что он так и не сделал главного, что Арндт слишком идеализирует его: «Он был и остался рыцарем полумер, полулибералом» (стр. 505). В оценке Гарденберга, так же как и в оценке Фридриха, редакция «Заграничного вестника» расходится с точкой зрения Арндта и Зибеля на деятельность сторонников реформ, которых можно было как-то сопоставить с современной прусской либеральной партией. Но ведь такая оценка имела непосредственное отношение и к русским реформам, к тем, кто защищал и кто проводил их. Она являлась своеобразной формой критики и русских либералов, и самодержца — «реформатора», Александра II. Итак, в статьях по германскому вопросу, и на современном материале, и в оценке деятелей прошлого, редакция «Заграничного вестника» резко осуждала политику крайних реакционеров, сторонников деспотизма и административного произвола и в то же время, несколько преувеличивая значение борьбы немецких либералов с реакцией, отнюдь не отождествляла свою и их точки зрения, показывая ограниченность и односторонность парламентского либерализма.

Против либерализма, в особенности правительственного либерализма, были направлены и редакционные примечания к статье Г. Меривэля «Иосиф II». Статья переведена из книги Меривэля «Исторические этюды», в которой давался обзор жизни ряда исторических деятелей. Уже в обзоре «Новые книги», помещенном в вып. 1 за 1866 г., упоминалось об этом труде Меривэля, и редакция обещала подробнее познакомить с ним читателей. Обещание было выполнено, в вып. 3 и 4 (1866) напечатана статья «Иосиф II», извлеченная из «Исторических этюдов». Автор ее весьма сочувственно рассказывал об Иосифе II, именно как о либеральном правителе, стороннике реформ, совершившем многие преобразования, благотворные для его страны. Редакция сопровождала рассуждения Меривэля своими примечаниями, решительно отрицая идеализацию Иосифа II, да и всякого правительственного либерализма. В редакционной

вступительной заметке отмечалось и несогласие с точкой зрения автора, и причина того, почему статья Меривэля опубликована в «Заграничном вестнике». «Мы вовсе не сочувствуем преувеличенным похвалам Меривэля Иосифу II», — заявляла редакция. В то же время она считала, что факты, приведенные в статье, помимо желания Меривэля, приводят к выводам, противоположным авторскому замыслу. Эти факты, характерные «по грубому вмешательству произвола в общественные дела», указывают «проницательному читателю насколько преувеличение заключается в общих отзывах, где личность либерального деспота ставится на ряду с замечательнейшими личностями истории человечества» (вып. 3, стр. 439). В следующем выпуске, в котором напечатано продолжение статьи об Иосифе, взгляды редакции выражены еще более определенно. По ее мнению, «Одна личность, как бы она ни была доброжелательна и просвещенна, не может осчастливить и преобразовать общества; чем она облечена большею властью и чем энергичнее она действует, тем более вероятно, что она подействует вредно. Общество может быть преобразовано только *само собою*, требованиями, выходящими из собственной среды, проявленными в независимых органах. Власть исполнительная тогда лишь благодетельна, когда она действительно ограничивается лишь *исполнением* общественных потребностей и ограждением за слабейшим права высказывать свои требования <...> Иосиф II был хороший человек, но самый принцип, во имя которого он действовал, самое положение, которое он принял, как *личность*, спасающая и руководящая миллионы, заключали в себе зло, которое заставляет радоваться, что ему его действия не удались» (стр. 29). Редакция вовсе не отрицает роли личности в истории, но считает, что такая роль всегда связана с стремлением пробудить активность самих масс, «возбудить возможно более самостоятельности в той массе, которую желает избавить от зла; облечь ее, эту массу, организацией, способною противиться возвращению зла. Только тогда борьба со злом не прекратится с случайною смертью лица» (стр. 30). Такой путь, по мнению редакции, единственно возможный для тех, кто искренне желает изменения в положении народа, хочет его «развить и вооружить <...> для жизненной, общественной и политической борьбы» (стр. 30). Все эти рассуждения о невозможности для самодержавного монарха провести нужные стране реформы, о пагубности неограниченной власти одного лица, сколь бы лично ни было добродетельно это лицо, о необходимости развития активности народа, подготовки его к борьбе, о выработке учреждений, которые бы могли воспрепятствовать установлению диктатуры отдельной личности, о превращении административной власти во власть чисто исполнительную, подчиненную задачам удовлетворения общественных интересов и т. п. имели к

Иосифу II отношение весьма косвенное. Статья о нем послужила лишь поводом осудить сам принцип неограниченной самодержавной власти, мнимо-либеральные реформы, проводимые как раз в это время Александром II. Аналогия между ним и Иосифом II напрашивалась сама собой.

Весьма скептическая оценка либерализма ощущается в ряде других статей «Заграничного вестника». Так, в статье «Арман Каррель» говорится о «бессилии и лживости либерализма», о том, что при первых серьезных испытаниях «испарился либерализм трусливой буржуазии» (1865, вып. 11, стр. 292, 289). В обзорах «Европейская жизнь» неоднократно резко осуждается буржуазная либеральная литература и т. п. Характерно, что в деле Лаврова хранится непропущенная цензурой его статья «Постепенность», написанная в 1863 г., предназначавшаяся для «Очерков» или «Века» и вполне проясняющая отношение редактора «Заграничного вестника» к либерализму, к правительственным реформам, к их либеральным апологетам. «Ребенок говорит вам: — пишет Лавров, — у меня болят руки, снимите с них эти железные кольца, которые мне врезаются в тело. Вы ему отвечаете: погоди, дай развиваться сначала ногам <...> смотри, как они свободны. Но ребенок вас не слушает, ему невмочь больно рукам <...> Вы упрекаете его в неблагодарности. Он порывается сорвать с рук то, что их давит. Вы прибегаете к наказаниям. Начинается борьба, но на вашей стороне право сильного» (№ 70, л. 262). Подобные рассуждения показывали всю несостоятельность политики царизма в крестьянском вопросе. В статье с насмешкой рассказывалась легенда о хане, который якобы имел четыре крыла. Один вольнодумец заметил, что у хана нет крыльев. Его сожгли. Но слухи ширились, и тогда либеральные мудрецы, сторонники реформ решили: «Вера в четыре крыла несовременна <...> Но вредно и безнравственно было бы допустить, что правы безбожные критики, отвергающие, что наш хан крылат», поэтому надо сделать уступку общественному мнению и признать, что у хана не четыре видимые, а три невидимые крыла (л. 262). Они провозгласили себя реформаторами, «прославляя великодушие хана», когда же им говорили, что у хана нет крыльев, они обвинили своих противников в том, что те хотят «ломать и разрушать до основания» и «осудили их» (л. 262)<sup>43</sup>. Действия правительства, сущность реформ 1860-х гг., позиция либералов и революционных демократов отразились в этой легенде с полной отчетливостью, так же как и отношение Лаврова к изображенной им ситуации.

<sup>43</sup> См. П. Л. Лавров, Избр. соч. в 8 тт., т. 1, М., 1934, стр. 131—138.

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ ПЕРЕПИСКА АП. ГРИГОРЬЕВА С Н. Н. СТРАХОВЫМ

Вступ. статья, публикация и примечания Б. Ф. Егорова

Вскоре после смерти Ап. Григорьева Н. Н. Страхов опубликовал воспоминания о нем, куда включил 12 писем Григорьева к себе за период 18. VI. 1861—7. III. 1863<sup>1</sup>. Письма эти дали богатейший материал исследователям жизни и творчества Григорьева. Но, оказывается, Страхов опубликовал далеко не все: в его архиве сохранилось еще 10 писем<sup>2</sup> Григорьева к нему за время 10. VI. 1860—3. IX. 1864, т. е. эти письма перекрещиваются с теми и значительно расширяют период переписки. Ясно, почему Страхов не опубликовал их (и даже умолчал о их существовании): они посвящены или интимным фактам жизни Григорьева, или его резким нападкам на редакцию «Времени» и «Эпохи», или трогательным просьбам напечатать «талантливые» произведения своих оренбургских знакомых, а больше всего — безысходным мольбам о денежной помощи (особенно потрясающе последнее, 10-е письмо). Григорьев писал эти послания в нервной горячке, в безденежье (некоторые — из долговой тюрьмы), поэтому они во многом несправедливы по отношению не только к революционным демократам (которых он смешивает с централизаторами и либеральными западниками), но и к Страхову. Однако из писем видно, что редакция журналов Достоевского недостаточно была внимательна к своему сотруднику и не всегда оказывала ему необходимую помощь.

Два письма (точнее — два отрывка писем) Страхова к Григорьеву представляют собой черновые наброски разных лет. Первый относится к периоду создания Страховым рецензии на статью Эдельсона<sup>3</sup>. Е. Эдельсон, в прошлом нетвердый товарищ Григорьева по критическому отделу «Москвитянина», стал в начале 60-х годов путаным эклектиком, защищая в указанной статье одновременно божественное предопределение, «чистое искусство» и вечные, неизменные законы мироздания и творчества, которые будут познаны разумом. С позиций последовательного («монистического») объективного идеализма, гегельянства Страхов легко рабывает в своей статье эклектичность и механистичность построений Эдельсона. Отрывок письма — инте-

<sup>1</sup> «Эпоха», 1864, № 9, о. VIII, с. 1—50. Письма Григорьева были напечатаны с большими сокращениями. Наиболее полное их воспроизведение: Ап. Григорьев, Воспоминания, М.—Л., Academia, 1950, с. 440—507. Дальнейшие ссылки на это издание даются сокращенно: «Воспоминания».

<sup>2</sup> В предшествующей публикации — «Материалы об Ап. Григорьеве из архива Н. Н. Страхова» («Уч. зап. ТГУ», в. 139, 1963, с. 343) — было ошибочно указано «11 новых писем».

<sup>3</sup> Е. Эдельсон, Идея организма и ее приложение в различных сферах жизни, «Библиотека для чтения», 1860, № 3, о. IV, с. 1—26; Н. Н. Страхов, Органические категории (По поводу статьи г. Эдельсона «Идея организма...»), ЖМНП, 1861, март. о. II, с. 49—63. В конце рецензии — дата: «1860 г., 12-го мая».



ресный комментарий к рецензии. Во втором письме Страхова важны критические суждения ученика о недостатках учителя. Впечатления Страхова о заграниче ср. с его позднейшими очерками: Н. Страхов, Воспоминания и отрывки, СПб., 1892, с. 49—103.

Переписка публикуется по подлинникам, хранящимся в рукописном отделе Гос. публичной библиотеки АН УССР, г. Киев (архив Н. Н. Страхова, III. 17092—17101, 18969, 18970).

## Письма А. А. Григорьева к Н. Н. Страхову

1.

<Петербург> 10 июня 1860 года.

Многоуважаемый Николай Николаевич!

Я сегодня только воротился из Москвы, откуда приехал я помощником редакции «Русского вестника» и, пока еще я здесь, — уполномоченным Каткова на разные сношения с гг. сотрудниками журнала<sup>1</sup>.

Михайла Никифорович поручил мне передать Вам, что он искренне уважает Вас и глубоко Вам сочувствует — и что все, что Вы ни напишете, будет с возможною скоростью помещаемо в «Вестнике»<sup>2</sup>.

Насчет полемики надобно нам с Вами сговориться и основательно побеседовать.

Нельзя ли Вам, милейший, обедать у меня в воскресенье или — если не можете, — то во вторник. В оба эти дня я буду Вас ждать.

Душевно Вам преданный Ап. Григорьев.

В Полюстрове, пройдя минеральные воды, последняя дача к лесу.

2.

М<осква> 1860 г. Сент<ября> 17.

Видишь ли, как скоро я собрался писать к тебе, мой милый и постоянно одинаковый ко мне друг — доказательство: 1) моей любви к тебе и 2) моего отличного поведения.

А между тем все-таки и к тебе хотел бы я писать желчью, а не чернилами. «МалOVER! Почто усумнился еси?»<sup>3</sup> Что ты *несешь* о торжестве теорий «Современника»? В чем эти теории? Допрашивал ли ты себя хорошенько о концах концов этих теорий? Кажется, что нет: иначе ты не побоялся бы бросить в хари Тушинской черни<sup>4</sup> твое дивное стихотворение!<sup>5</sup>

Пойми ты, раз навсегда, что

1) Отвергать значение Пушкина в нашей жизни значит одно из двух:

а) или полагать, что есть действительно какая-то особенная жизнь, таинственная, неведомая у нашего племени, т. е. что мы — не люди, а либо ангелы, либо орангутанги. В таковое безобразие впал друг наш Степан<sup>6</sup> или идет к этому;

б) или полагать, что есть так называемый *прогресс* и что конец этого прогресса — падение или лучше уничтожение искусства, науки, вообще *стремления*, практическая, человечество в покое, ergo — человечество на четвереньках — идеал Чернышевского и Недо<...>. Согласись, что из этой печальной дилеммы нет выхода.

2) Полагать, что в нас, как в племени, кроме абсолютной гнусности, ничего нет, значит, подавать руку централизации, т. е. деспотизму — все равно, Николаевскому или Робеспьеровскому, что *равно* — гадко.

3) Полагать, что государственная свобода, политические права, наука — вздор и побрякушки, что главное дело — есть, пить и <...> — значит, ты сам знаешь, что.

О каком *торжестве* ты говоришь, о мой маловерный пророк? Торжество зла, плоти, греха (в смысле учения идеализма) всегда бывало и всегда будет...

Что мы на время *ненужные* люди, это надобно переварить. То, чему мы служили, во что веруем, т. е. дух, истина, прекрасное, стремление, поверь мне, неиссякаемо и еще не раз поднимется к небу, если не стройным целым Парфенона и не стрелами готических соборов, то чем-нибудь другим, равно прекрасным, равно свидетельствующим о борьбе и силе духа. Не созданы же народы (ты знаешь, что я не верю в человечество) только <...> (конечный результат практической жизни).

Теперь слетаю с облаков и поведу речь о себе, ибо я знаю, что мой субъект тебя интересует. Я удрал из Петербурга, потому что там я был абсолютно ненужным человеком: Здесь я хоть с успехом занимаю место литературного чиновника по особым поручениям, веду разные книги, просматриваю входящие рукописи, составляю внутренние известия и т. д.<sup>7</sup> Статья же моя о Пушкине, в ответ на безобразия Степана, которой зрелостью и ясностью ужасно довольна редакция «Вестника» (и что всего важнее — сам я, что редко со мною бывает), пролежит еще, может быть, до января — и винить их не могу<sup>8</sup>. У «Вестника» задачи *политические*, главным образом, а не философские и не эстетические. Политическим их задачам смело может подать руку каждый честный гражданин и посему я готов быть г<...> чистом «Вестника». Пусть в отдаленнейших результатах, т. е. в вере в славянство, в народ и т. д. — я с ними и разойдусь, да покамест — то они более других правы служением идее selfgovernment, ненавистью к централизации, культом мира, свободы, законности.

Я удрал сначала один. Я хотел испытать, что сделает женщина, когда она любит. Что мне это стоило — это знает бог, а что ей стоило — знает доктор Захарьин, который едва-едва оправил теперь кое-как ее разбитый организм.

Изю всего Петербурга, поистине, мне жаль только тебя да Серова<sup>9</sup> — две единственные души, в одно со мною верующие и не преследующие *практических* целей. Фуй, братец ты мой, какая погань или ветошь все остальное. Это я говорю, я, чушь что не подлец в практической жизни, говорю потому, что в конце концов безобразия мои по смерти забудутся, а уцелеет образ человека, честно верившего и служившего *идее*, предпочитавшего губить скорее свое честное (граждански) имя, чем хоть на йоту отступиться от своих верований.

Какая погань и ветошь (в хронологическом порядке) и Яков Полонский, из мелочного самолюбия соперничествовавший со мною, будучи сам и по невежеству, и по лени неспособен к делу<sup>10</sup>; и Алексей Филатыч<sup>11</sup> (помнишь «Ипохондрика»?) и благородный джентльмен Дружинин, монополист водяных статей, не пускавший других в пределы своего откупа<sup>12</sup>. А это еще лучшие. А другие-то?.. А все те, подававшие руку Хмельницкому...<sup>13</sup>

Да! и с тех пор, как исчезла святая *нетерпимость* кружка Белинского и Герцена — с тех пор можно отлично плевать в рожу и быть оплеванным, и жить все-таки припеваючи. Чувство чести, чувство нетерпимости зла пропало в передовых людях развития — и результаты нашей гласности — взаимное и безнаказанное мордобитие, привычка общественного мнения к матерщине и т. д. Неужели ты будешь иметь дух сказать, что я *преувеличиваю*?.. А эта милая «Искра», каждый № преследующая *великое* общественное зло — талант Случевского<sup>14</sup>, и явно продавшая «Современнику» Кокорева<sup>15</sup>, которого прежде не могла коснуться, пока не выплатила занятых у него на издание денег?.. А этот «Свисток», по появлении которого вы все, олимпийцы, соберетесь, посетуете жалобно и разойдетесь. А эта история с «Псковитянкой» Мея<sup>16</sup>, вещь все-таки, но — словам даже Тургенева, — исполненной

первоклассных достоинств. Ведь хотели вы ее читать на литературном вечере — и продали, <...> вашу мать! Погань и ветошь!..

Не думай, чтобы я идеализировал Москву. Москва страдает другим недостатком — фарисейскою гордостью, — но ведь это все-таки лучше.

То, что ты пишешь о Крестовском<sup>17</sup>, меня не удивляет. Малому *учиться* надобно, а *ужасное* отсутствие средств к жизни сделало из него *писателя*. Он постоянно в ложном положении — мой бедный, добрый, но безосновный ребенок!.. Я вот и теперь заплакал горькими слезами (что со мною редко случается), подумавши об нем!...

Скажи Случевскому, когда воротится, чтобы написал ко мне. Это из всех *молодых* — единственная *Личность*, пусть немножко и холодная, пусть и страшно самолюбивая, но *личность*.

Крепко пожми руку Серову и главное — пиши сам. Ответать я буду всегда. К тебе я не ленив писать.

Твой всегда Аполлón Григ.

3.

1861 г. Авг<уста> 23. Оренбург.

Опять я к тебе письмо и посылку. Посылка — комические и, как увидишь ты, весьма забавные и даровитые, хоть несколько чересчур натуральные сцены. Передай их Достоевским, а если им не понравится — Милюкову.<sup>18</sup> За вещь эту автор желает не гонорария, а высылки этого журнала, в коем она помещена будет (т. е. не № журнала, а журнала за нынешний год) — по следующему адресу. Его благородию, Николаю Акимовичу Середу 2-му, в Оренбурге. Прочти вещь сам и убедись, что она имеет достоинства.

Твой Аполлон.

О результатах уведошь поскорее.

4.

Оренбург. 1861 г. Окт<ября> 23.

Вот тебе еще статья для «Времени» — статья, как ты сам увидишь, *зело дельная*. Прочти, пожалуйста. Местах в двух-трех редакция может не согласиться с ее автором, смотрящим на дело чисто практически — но он предоставляет редакции право оговориться в примечании. Автор ее — некто Я. А. Сахаров. Его смелая статья о воспитании в духе народности была напечатана в покойнице «Молве» аксаковской 1857 года<sup>19</sup>. В посылаемой — многие вещи, как, например, организация приходских училищ, рассуждения о чиновничьем классе, куреве и проч., мне кажутся вещами великолепными. Условия обыкновенные, т. е. *пятьдесят* р. за лист. Деньги по напечатании выслать на мое имя. Если статья понравится — он напишет еще две, о которых говорит в конце. Да кроме того у него готовится пренеприятная статья «Поездка по Оренбургскому краю», которого он великий знаток, — тоже во «Время», если оно захочет.

Статья о Толстом, *кажется*, приводится к окончанию и скоро вышлется<sup>20</sup>.

Твой А. Григорьев.

Оренбург. 1862 г. Марта 12.

Пишу к тебе наскоро и по крайней необходимости. Этот месяц весь происходила во мне и вокруг меня страшная ломка. Во мне стало силы разорвать наконец отношение, которое губило меня и все более и более становилось невыносимо морально. За сим остается горькое сожаление — отчего это не смог я сделать за год? Зачем я не с вами и не работаю дружно?.. Зачем я уехал?..

Скорр ты получишь от меня длинное послание.

А теперь — расчет на всю твою дружбу. Вот тебе «Гарольд»<sup>21</sup>, отделанный, как только я могу. Продай его *кому хочешь* за 200 или даже за 150 р. (ведь 1000 стихов!) и скорее, как можно скорее выйди денег. Я все продал, что у меня было, забрал жалованья столько, сколько можно было — лишь бы кончить. Пойми всю адскую крайность моего положения и действуй в возможной скорости.

Писать я теперь буду много. Сажусь за статью о Минине<sup>22</sup>.

Денег, денег и денег!

Весь твой Ап. Григор.

<Петербург. Март 1863—1864<sup>23</sup>>

Любезный друг! С судьбой ничего не поделаешь. Единственное, что в настоящую минуту можно сделать, это платить небольшими суммами — по 10 рублей в две недели — да и то не прежде, как с субботы. Думал продать мебель — но за это дерьмо, накупленное для того, чтобы поскорее удовлетворить капризам Марьи Федоровны — дают даже со столом 25 рублей. Все это, конечно, очень неприятно, но, опять повторяю, — ничего не поделаешь. Письмо это можешь показать. *Скандалов* я не боюсь, ибо здесь не Оренбург, а я и там их не боялся.

Четверг.

Твой Ап. Григорьев.

&lt;Петербург. 8 июня 1864 г.&gt;

Милый Спиноза!<sup>24</sup>

Вчера все-таки толковали мы как-то неопределенно.

Ну, хорошо, — если редакция рада, что я сел в Тараску<sup>25</sup>, чему я и сам рад отчасти, то

1) должна *определительно* назначить мне темы занятий (кроме «Записок»<sup>26</sup>). Я бы вот хотел написать *хорошую*, основательную статью о *Щедрина* и *обличительной литературе вообще*<sup>27</sup> — для чего мне, конечно, нужны *erstens* — сочинения Щедрина, т. е. «Губ<ернские> оч<ерки>» и «Сатиры в прозе», а потом вероятно еще несколько книг.

2) Должна сразу же несколько успокоить меня насчет *буар*, *манже* и *сортир*<sup>28</sup> (*буар* не в опасном смысле), т. е. прежде всего и паче всего пору-

чительством своим постепенной уплаты возратить мне скудное достояние мое, находящееся у известной тебе весьма отвратительной и глупой <...> Натальи, что может быть легко сделано через Ваньку — и что *крайне* необходимо, ибо 1) не пьяный я крайне опятен и без белья жить не могу; 2) гитара служит мне всегда в трезвой жизни лучшею подругою в часы отдохновения. Затем мне нужно пока не более *трех* рублей в неделю.

Вот и все. Письмо это покажи Федору Михайловичу, хоть он — <...> его душу — и считает меня лишенным совести и сердца.

1864 г. Июня 8.

Твой Безобразник.

Вот на всякий случай реестр вещей:

- 1) Гитара.
- 2) Чайник металлический, стакан с поддонником и ложкой.
- 3) Чайница китайская,
- 4) Партитура «Роберта» и мой печатный экземпляр его перевода<sup>29</sup> с письменными вставками — да несколько книг.
- 5) Белье (*ad libitum*, без поверки) и красная фуфайка

8.

<Петербург. 26 июля 1864 г.>

Добрый друг!

Что же, наконец, это такое? Узнаю ли я, наконец, решительно — нужен я журналу или статьи мои помещаются из милости, чего я при всей моей бедности вовсе не хочу.

Покойник<sup>30</sup> заказал мне статью о Григоровиче под рубрикою «Отжившие писатели»<sup>31</sup>. Написал я ее по крайнему разумению — и, мне кажется, довольно хлестко (по крайней мере, я уверен, что формою своею она понравится читающему люду и даже будет иметь эффект). Федор Мих<айлович> посмотрел Вступление и говорит Аверкиеву<sup>32</sup> — что это как-то *вяло* (уж именно в вялости-то туг меня, как ты увидишь, трудно попрекнуть) и чтобы я поскорее писал письмо об органической критике<sup>33</sup>.

Господи! *Один* находит, что письмо об органической критике стыдно бы печатать. *Другой* — требует об отживших писателях, *третий* — находит и это вялым.

И все это тогда, как человек нездоров, без гроша денег и только по свойственной всякому порядочному человеку гордости *представляет* себя очень веселым в Долговом отделении.

А главное-то, вы все, господа, кажется, ошибаетесь, требуя от меня все чего-то нового. Новое как *критик* я могу сморозить разве что-нибудь во вкусе Варфоломея Зайцева<sup>34</sup> — и вам, видимо, нужен публицист. Так так бы и говорили.

Еще вот что. Под статью о театре я подписал «Дача Тарасовка». Не-прилично! (Что за мешанство такое напало?). Большинству читателей — ведь эта шутка непонятна — а меньшинству театральному я нарочно хотел, чтобы это было понятно, равно как и моим литературным приятелям. А покойный Михайла Михайлович прямо хотел, чтобы я написал «Записки о долговом отделении» и прямо начал их так: «Я — русский литератор — немудрено поэтому, что в одно прекрасное утро я попал в долговое отделение».

Понятно, вероятно, тебе, почему тебе, а не Федору Михайловичу, пишу я все это. Я сам болен и могу понимать других больных. Но ты выбери безопасную минуту показать ему сие.

Что же мне делать, коли я так болезненно устроен?.. Сообщенное мне Аверкиевым отняло у меня энергию, с которой начинал я второе письмо об органической критике.

И вот еще что. Повторяю прежнюю мою просьбу. Узнай при свидании с Шестаковым<sup>35</sup> об оренбургских делах. Ради бога. Чувствую, что *этим* опять должно кончиться. Всякие нерешительные отношения мне глубоко надели.

Во всяком случае — мне нужно просмотреть корректуры.

1864 г. Июля 26.  
Воскресенье вечером.  
Дача Тарасовка.

Твой Ап. Григорьев.

9.

<Петербург. 30—31 июля 1864 г.<sup>36</sup>>

Любезный друг!

Черт знает, как это случается — что собираюсь придти к тебе поговорить толком, а прихожу либо больной, либо пьяный.

Во всяком случае — пишу, чтобы тебя успокоить. Вчерашний *пассаж* остался без продолжения.

Пишу статью. Как сказал (а сказал ли я?), в понедельник во втором часу принесу в редакцию. Прошу быть там тебя для выслушания. Надеюсь, что хоть эта понравится.

А все-таки упорно засела во мне известная мысль. И потому прошу тебя в здравом уме и твердой памяти — при первом свидании с Иваном Алексеевичем разъяснить оренбургские дела.

1864 г. Июля 31. Четверг.

Твой Безобразник.

10.

<Петербург> 1864 года. Сент<ября> 3.

Добрый друг!

В последний раз обращаюсь посредством тебя с просьбою — затем окончательно замолкаю и отдаюсь своей участи.

Дело в том, что если уже нельзя мне освободиться, — то так и быть. По крайней мере — мне нужны обещанные *сто* рублей, если уж не совсем я стал не нужен редакции. Да совсем-то все-таки не могу я сделаться ненужным. «Записки» мои считал все-таки достаточно интересными покойник — ну я их и буду писать...

Неужели же, друзья мои, — так трудно понять, что не получавши аккурратно даже по пяти обещанных рублей в неделю — и что просивши эти несчастные *сто* рублей еще до задержания в Долговом отделении и, конечно, не получившему <так!> их — человеку вообще беспорядочному, как я, — легко было привести себя уже в безвыходно-гнусное положение...

А с другой стороны, что (не говорю уж о непереносной пище и недостатках в табаке и чае) — задолжавши кругом тут же людям, беспрестанно вертящимся на глазах, — протухши от пота, — ибо белье не отдает прачка, — не имея какого-либо костюма, можно что-либо думать?

Положим, — что у вас есть теперь критик<sup>37</sup>, который вас не окомпрометирует *крайностями*, которому я сам охотно, любя его всей душой, сдаю все

свои обязанности — но хоть за прежние-то заслуги и за «Записки» — не третируйте меня хуже щенка, покидаемого на навозе.

Повторяю — все это говорится *в последний раз*.

Твой и ваш всегда Григорьев.

Сегодня буду снова из угла в угол по приемной в ожидании.

### Письма Н. Н. Страхова к А. А. Григорьеву.

#### 1.

<Петербург? Апрель—сентябрь 1860 г.<sup>38</sup>>

Мы живем в мире идей. Кто что бы ни говорил, но это, наконец совершенно очевидно. Мир идей есть чисто человеческий мир, есть настоящая человеческая действительность.

Это так справедливо, что, как Вы знаете, неверящие в это суть именно жесточайшие идеалисты. Разделивши идеи и действительность, беспрестанно браня и преследуя идеи и неутомимо стремясь к действительности, они не замечают, что несколько не успели выйти из заколдованного круга. На идеи они нападают именно потому, что составили об них очень несовершенную идею; действительность же они также возвели в известного рода идеал, и потом уже никак не могут до него добраться. Между тем не только за действительностью не нужно далеко ходить, но и убежать от нее довольно трудно.

Вы вызвали меня на речь об «Идее организма» г. Эдельсона. Так как статья эта, собственно говоря, направлена против идеи организма, то, мне кажется, весьма важно указать идеальность, господствующую в самой статье. Полное разделение между идеею и действительностью есть, очевидно, идеальное разделение, в том самом смысле, в котором понимает идею г. Эдельсон, то есть разделение, не существующее в действительности. От этого и происходят печальные следствия; на самом деле идея при этом теряет свою действительность, а действительность — свою идеальность.

Как нельзя яснее это можно видеть в самой статье г. Эдельсона.

#### 2.

<Флоренция. Август 1862 г.<sup>39</sup>>

Ну, друг мой Аполлон Александрович, вот я и во Флоренции; был мельком в театре и в Palazzo Pitti, и в Galleria degli Uffizi<sup>40</sup>, пью в большом количестве какое-то красное вино, бродил не раз по городу и пр. Одним словом, понемножку погружаюсь в волны этой жизни и, если бы не проклятый понос, чувствовал бы себя весьма недурно. Злость меня берет, когда подумаю, на какое короткое время я поехал сюда. Я заметил, что в Германии я начинал думать по-немецки, в Швейцарии и Савойе по-французски, в Италии начинаю думать и говорить по-итальянски. Если бы хотя по два месяца пожить в этих мирах, может быть, я бы успел порядком ознакомиться с ними. Теперь же все будет мельком, отрывочно, бестолково. Думаю только, что меня опять потянет сюда — и в другой раз я побываю здесь дольше и стану наблюдать спокойнее.

Как бы то ни было, но это бестолковое путешествие является лишь каким-то переломом в жизни. Так давно я его добивался, так много ждал от него, так прямо полагал в нем *окончательное образование моего ума и сердца*, что меня берет и смех и страх. В сущности ведь эта поездка — пу-

стяки; ее можно делать всякий год вместо переезда на дачу; об ней не стоит ни говорить, ни писать. Между тем, есть что-то, что заставляет задумываться...

Да ты что думаешь? Ты думаешь, что я эгоистически заставляю тебя принимать участие в моем развитии, да пожалуй еще рисуюсь перед тобою? Совсем не то! Я обещал к тебе писать и начал это письмо с самою любовною целью — с намерением бранить тебя. Дело жуткое — ты человек шекотливый... Ну, так и быть!

В последнее время в Петербурге мне было просто жаль тебя; твое *демоническое* поведение, то есть подчинение минуте, забвение завтрашнего и вчерашнего и единственное ощущение настоящего, — привело тебя в крутое положение. Дивился я твоей бодрости, но ведь я видел, чем она покупается; быть в твоём положении я ни за что бы не хотел.

И все это тем досаднее, тем обиднее даже со стороны, что ведь ты — все-таки *большой человек*, что твоё слово могло бы иметь страшный вес, если бы... И подумать — что человек, который мог бы произносить приговоры, мечется с просьбами и повсюду встречает отказы — а кто виноват?

Да кто бы они ни были, все эти редакторы, они должны бы ловить твои статьи, выпрашивать их как драгоценность, как благополучия! — а ведь дело почти наоборот!

Скажу тебе и насчет твоих статей. Самый злой упрек был тебе сделан не «Искрой», не «Современником», а Катковым. Он — помнится — злобно заметил, что в твоих статьях все хорошо, только дурно, что мысли — *полумысли* и чувства — *получувства*<sup>41</sup>. Положим, что это слишком механически; я лучше скажу, что в твоих статьях — *зародыши* многих мыслей и *зародыши* многих чувств, но — только зародыши.

17/5 авг<усга>. Коли начал, то уж докончу. Ты не можешь сердиться на меня за мое определение, потому что ведь это не одна твоя черта, это общая черта нашей литературы — бездна зародышей и ничего целого, развившегося, выполненного. Не за то я тебя упрекаю, что у тебя есть такие зародыши; напротив, в них вся твоя сила; у других нет и того, чем ты так необыкновенно богат. Но мне кажется, что дело могло бы быть и иначе, что эти зародыши могли бы развиваться; мне кажется, что ты не только порождаешь одни зародыши, но больше и ничего не желаешь, больше ни о чем и не хлопчешь. Чуть мысль блеснула, чуть явился очерк, намёк, тип — и ты доволен, тебе больше ничего и не нужно. Даже в твоих суждениях есть этот же характер. Ты возводишь в *явления* разные мелочи, ты намёки и зародыши принимаешь за полные явления.

#### Примечания

1. Н. Н. Страхов в воспоминаниях говорит, что рекомендовал Григорьева Каткову в качестве ведущего критика «Русского вестника». Здесь же упоминается о визите к Григорьеву на дачу в Полустово («Воспоминания», с. 436—437). Сам Григорьев изложил историю своего неудачного сотрудничества с Катковым в «Кратком послужном списке...» (там же, с. 380).

2. Только что была опубликована статья Страхова «Об атомистической теории вещества» («Рус. вестник», 1860, май, кн. 2, с. 143—194). Затем до 1875 года статьи Страхова в «Рус. вестнике» неизвестны. Наиболее интенсивно Страхов сотрудничал в журнале в 1887—1895 гг.

3. Цитата из Евангелия (Матф., 14, 31).

4. Тушинцами, т. е. предателями (от Тушинского лагеря Лжедмитрия) Григорьев считал всех «западников», ошибочно причисляя туда и круг сотрудников «Современника».

5. Среди стихотворений Страхова не удалось обнаружить подобное.



6. Речь идет о С. С. Дудышкине и его статье «Пушкин — народный поэт» («Отеч. записки», 1860, № 4, о. III, с. 57—74).
7. См. письмо I и прим. 1.
8. Статья Григорьева о Пушкине неизвестна.
9. А. Н. Серов, известный композитор и музыкальный критик, был близким другом Григорьева. См. статью Григорьева: ««Юдифь», опера в 5 актах А. Н. Серова» («Якорь», 1863, № 12, с. 222—226).
10. Полонский был вторым редактором «Русского слова» в 1859 г., Григорьев — заместителем главного редактора. Из-за «двоевластия» между ними происходили трения, закончившиеся разрывом Григорьева с редакцией журнала (см. «Звенья», I, М.—Л., 1932, с. 300—303, 308—309).
11. Алексей Феофилактович Писемский.
12. Имеется в виду «Библиотека для чтения», редактором которой был с 1856 г. А. В. Дружинин.
13. А. И. Хмельницкий, заведующий редакцией «Русского слова»; из-за конфликта с ним Григорьев покинул журнал («Воспоминания», с. 379).
14. Григорьев восторженно приветствовал талант К. Случевского-поэта («Воспоминания», с. 298—299, 306—307, 652—653).
15. В. А. Кокорев, известный миллионер-откупщик и либеральный публицист.
16. Григорьев посвятил «Псковитянке» Л. Мея особую критическую статью («Время», 1861, № 4, о. II, с. 128—150).
17. В. В. Крестовский, тогда начинающий поэт, а впоследствии автор известного бульварного романа «Петербургские трущобы».
18. Литературовед и журналист А. П. Милоков, зав. редакцией либерального журнала «Светоч». Оставил мемуары о встречах с Григорьевым («Воспоминания», с. 557—565). Ни во «Времени», ни в «Светоче» сочинения Н. А. Середы не обнаружены.
19. Имеется в виду статья: Я. Сахаров, О воспитании в духе народности, «Молва», 1857, № 27, 12. X, с. 316—321. Во «Времени» статей Сахарова нет.
20. Большая статья Григорьева «Граф Л. Толстой и его сочинения» («Время», 1862, № 1, о. II, с. 1—30; № 9, о. II, с. 1—27).
21. Перевод 1-й песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» («Время», 1862, № 7, с. 183—216).
22. Статья появилась под заглавием: «По поводу одного, мало замечаемого современною критикою явления. Письмо из Оренбурга к Н. Косице. Письмо первое» («Якорь», 1863, № 2, с. 21—25).
23. В письме, очевидно, идет речь о выплате М. Ф. Дубровской постоянного денежного пособия. Из письма же следует, что по возвращении из Оренбурга в Петербург Григорьев купил старую мебель для совместной жизни с Марией Федоровной. Разрыв с нею произошел после 9. III. 1863, т. к. судя по письму Дубровской к Страхову от этого числа, они еще жили вместе («Уч. зап. ТГУ», в. 139, 1963, с. 348).
24. Такое прозвище связано с философскими занятиями Страхова вообще и с изучением Спинозы в частности: Григорьеву была известна его статья-перевод «Значение и жизнь Спинозы (Из истории новой философии Куно Фишера)» («Светоч», 1861, № 9, о. II, с. 99—128).
25. Тарасов дом, долговая тюрьма Петербурга. Помещался в I Роте Измайловского полка (ныне I-я Красноармейская ул.), № 2 (Указано С. А. Рейсером).
26. Имеются, наверное, в виду «Мои литературные и нравственные скитальчества».
27. Григорьев не успел написать эту статью.
28. Пить, есть и выходить (от франц. boire, manger, sortir). «Выходить» — здесь в смысле иметь приличную одежду для выхода из комнаты.
29. Речь идет об опере: «Роберт-дьявол <...> Музыка Мейербера. Либретто Скриба и Делявиня. Перевод Ап. Григорьева», Спб., <1863>.

30. Михаил Михайлович Достоевский, издатель-редактор «Эпохи», скончавшийся 10. VI. 1864.

31. Точное название статьи: «Отживающие в литературе явления. Д. В. Григорович. Два генерала. Эпизод из романа («Русск. вестник», 1864) г.» («Эпоха», 1864, № 7, о. VII, с. 1—26).

32. Д. В. Аверкиев, будущий драматург, в те годы был, после Григорьева, вторым ведущим критиком в журнале «Эпоха». Друг Григорьева, автор первого некролога, которым откликнулась «Эпоха» на смерть Григорьева (1864, № 8, о. VIII, с. 1—16).

33. «Парадоксы органической критики», письма I—II («Эпоха», 1864, № 5, с. 255—273; № 6, с. 264—277).

34. В. А. Зайцев, критик «Русского слова», вульгарный истолкователь революционно-демократической эстетики, был объектом неоднократных полемических выпадов Григорьева: см. «Оса», 1863, №№ 18, 21, 22.

35. Иван Алексеевич Шестаков, военный деятель и писатель, в 1864 г. — контр-адмирал, пом. начальника IV отдела Гл. упр. военно-учебных заведений. Очевидно, он помогал Григорьеву окончательно освободиться от службы в Оренбургском кадетском корпусе. См. о нем и в письме 9.

36. Четверг был 30. VII. 1864 (ст. стиль). Следовательно, или четверг, но 30-го; или 31-го, но пятница.

37. Имеется в виду Д. В. Аверкиев (см. прим. 32).

38. Статья Эдельсона «Идея организма» опубликована в конце марта 1860 г. (цензурное разрешение тома — 22. III), а 17. IX. 1860 Григорьев обращался к Страхову на «ты». Скорее всего письмо можно датировать апрелем-маем, т. к. 12 мая Страхов идеи письма изложил в рецензии на труд Эдельсона (см. прим. 3 к вступ. статье данной публикации).

39. Письмо относится к 1862 г., т. к. именно летом этого года Страхов впервые выехал за границу: об этом он говорит в отрывке дневникового характера от 31/19. VII. 1862, написанном в Дрездене (архив Н. Н. Страхова, I, 5279 д).

40. Палаццо Питти — один из крупнейших и красивейших дворцов-замков Флоренции. Галерея Уфици — знаменитое собрание произведений искусства.

41. Подобный печатный отзыв Каткова не найден. Возможно, суждение было высказано устно.

## М. А. СЕРГЕЕВ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

Вступ. статья З. Г. Минц

Печатаемые в настоящем томе воспоминания об А. М. Горьком написаны Михаилом Алексеевичем Сергеевым — одним из старейших деятелей советской культуры.

М. А. Сергеев родился 31 марта 1888 г. в гор. Вильно. Отец его, писатель и педагог Алексей Николаевич Сергеев (1840—1910), «человек шестидесятих годов», воспитывал детей «в отрицательном отношении к чинам и званиям»,<sup>1</sup> в том духе подлинного демократизма и человечности, который входил в кровь и в быт лучших представителей русской интеллигенции XIX века. М. А. Сергеев закончил Виленскую гимназию, причем еще в гимназические годы начал работать в искровской организации РСДРП (б). В 1906 г., когда семья Сергеевых переехала в Петербург, М. А. поступил на юридический факультет Спб университета, а по окончании его работал присяжным поверенным. Человек законченно демократических убеждений и огромной активности, Михаил Алексеевич Сергеев с первых дней Советской власти отдает себя революции.

Послеоктябрьская деятельность М. А. Сергеева необычайно многогранна. Но все же можно, пожалуй, выделить четыре периода, в каждый из которых наиболее ярко проявлялась какая-то из этих граней.

Первый период — годы Гражданской войны. В это время М. А. ведет преимущественно партийную и советскую организаторскую работу. Он участвует в национализации банков, а с 1918 года является первым комиссаром Северо-Западной конторы Госбанка. Тогда же М. А. Сергеев участвует в установлении Советской власти в Пскове, Двинске, Вильно. В 1919 году М. А. по поручению ЦК партии едет в Крым, а позже — в Екатеринбург (в составе Комиссии ЦК и Совнаркома по установлению Советской власти на Урале). Здесь он работает в бюро Губкома, в Госбанке, заведует Губполитпросветом. Здесь же выявляется и тот круг интересов М. А. Сергеева, который определит профиль его дальнейшей работы. М. А. все больше привлекают вопросы создания новой культуры, появление которой было невозможно без любви и бережного отношения к культуре прошлого. Он работает в Комитете по учреждению Уральского университета в гор. Екатеринбурге, а затем назначается заместителем ректора университета. Тогда же М. А. Сергеев помогает созданию Фундаментальной библиотеки Уральского университета.

В 1920 г. Сергеева избирают делегатом IX съезда РКП(б).

С 1922 г. М. А. Сергеев — в Петрограде. Он вновь руководит конторой Госбанка, работает в Наркомвнешторге. Он часто бывает за границей, занимаясь, в частности, и практическими вопросами организации новой культуры — изданием книг и журналов.

<sup>1</sup> Евг. Петряев, Михаил Алексеевич Сергеев, «Сибирские огни», 1963, № 4, стр. 169. Среди весьма немногочисленных работ о жизни и творчестве М. А. Сергеева, носящих преимущественно «юбилейный» характер (см. приложение II) или характер рецензий на ту или иную работу ученого (см. приложения I—II), статья Евг. Петряева выделяется своей обстоятельностью.

С середины 1920-х гг. этот — культурный, литературно-организационный — аспект деятельности Сергеева становится для него основным. Он возглавляет рабочее кооперативное издательство «Прибой».

«Прибой» — не только одно из самых больших советских издательств 1920-х гг., но и издательство с ярко выраженной «своей», нестандартной программой. Издательство партийно-советское, выпускавшее огромными тиражами общественно-политические книги и брошюры, «Прибой» в области художественной литературы проводил гибкую, совершенно чуждую рапповской вульгаризации линию, поддерживаемую С. М. Кировым. В этом издательстве печатались произведения советских писателей, принадлежавших к разным группировкам (К. А. Федина, Юр. Либединского, М. Зощенко, А. Толстого, О. Форш, М. Шагинян и мн. др.), русских писателей (например, И. Бунина, И. Шмелева и мн. др.), мемуары и др. интересные памятники русской культуры. В 1927 г., после слияния «Прибоя» с Госиздатом РСФСР, М. А. Сергеев избирается заместителем председателя правления Издательства писателей в Ленинграде, возглавлявшегося К. А. Фединым, — издательства, принявшего, в числе множества других интересных работ, первое (комментированное) издание Собрания сочинений А. А. Блока (12-томник). В те же годы М. А. работает редактором издательства «Красной газеты» и журнала «Вокруг света».

Работа М. А. Сергеева этих лет совершенно недостаточно привлекала и привлекает внимание историков советской культуры. А, между тем, работа эта была очень высоко оценена, в частности, А. М. Горьким.<sup>2</sup> Такой, к примеру, «частный» эпизод культурно-организаторской деятельности М. А. Сергеева, как создание, при поддержке С. М. Кирова, «фиктивного» (при «Прибое») книгоиздательства «Книжные новинки», может пролить совершенно новый свет на перипетии сложной борьбы за подлинно-революционное, антивульгаризаторское понимание задач советского искусства.

Третий период деятельности М. А. Сергеева связан с тем, что по-прежнему интенсивная организаторская работа его начинает сочетаться с углубленными научно-исследовательскими занятиями.

В 1924 году создается Комитет Севера, в работе которого Сергеев принимает активное участие с конца 20-х гг.

С 1929 года М. А. Сергеев — член правления Акционерного Камчатского общества (АКО), руководитель научно-исследовательского отдела АКО. Тогда же он избирается членом Центрального и Дальневосточного комитетов Севера, работает уполномоченным и консультантом Далькрайисполкома по научной работе, является также консультантом и членом Ученого Совета Института оленеводства Института экономики Севера. С 1931 года М. А. Сергеев — заведующий экономической секции и руководитель аспирантуры научно-исследовательской ассоциации Института народов Севера, заместитель директора по научной части в Институте полярного земледелия, позже — старший научный сотрудник Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Он читает лекции для аспирантов в Институте народов Севера, для студентов и слушателей курсов оленеводства — в Ленинградском Зоотехническом институте, для студентов ЛГУ — на кафедре этнографии Восточного факультета. В эти годы он много ездит, изучая советский Север (Кольский полуостров), Сибирь и Дальний Восток.

Так, в 1932 г. М. А. Сергеев по поручению ЦК ВКП(б) и Президиума ЦИК обследовал Нарымский край, в 1936—37 гг. предпринял большую поездку по Сибири и т. д., работал во Владивостоке (Дальневосточный филиал

<sup>2</sup> Ср., например: «Сейчас сильно развивает деятельность «Прибой», во главе которого стоит мой знакомый <...> Сергеев, человек культурный» (С. Н. Сергеев-Ценский, Собрание сочинений, т. 3, 1955, стр. 577). Высоко отзывался об организаторских способностях М. А. Сергеева и К. А. Федин (См.: М. Горький и советские писатели. Неизданная переписка, Литературное наследство, т. 70, М., изд. АН СССР, 1963, стр. 515—516, 525).

АН СССР, Приморское отделение Географического общества), в музеях Сибири.

В эти годы появляется ряд больших монографий М. А. Сергеева, при- несших ему известность краеведа-североведа, географа и этнографа: «Совет- ская Камчатка» (1932), «Народное хозяйство Камчатского края» (1936) и мн. др.

Не только научной доброкачественностью, широтой охвата материала и серьезностью мысли интересны все эти исследования. Они характеризуются и некоей, так сказать, принципиальной энциклопедичностью, которая возникает не как следствие поверхностного эклектизма, а в результате продуманного стремления к всестороннему охвату изучаемой действительности, к созда- нию целостной, не разорванной картины мира. А за этим стоит другая, еще более существенная особенность трудов М. А. Сергеева — их гуманистич- ность, четкое осознание человека как главного объекта и цели научных изучений. «Важнейшей особенностью исследований М. А. Сергеева является комплексная постановка вопросов. Мы нигде не встретим у автора «бес- челочечной» географии», — справедливо пишут о нем авторы юбилейной ста- тьи «Крупный северовед».<sup>3</sup>

Поэтому между литературно-издательской деятельностью М. А. Сергеева в 1920-х гг. и научной работой последующих десятилетий — глубокая, ор- ганическая связь. И то, и другое — различные формы изучения жизни, че- ловека, культуры и борьбы за человека и культуру. Поэтому же так нераз- рывно слиты в жизни Сергеева наука и человечность, пафос воспитания, вы- раживания, товарищеской помощи.

«Любой выступающий на поприще науки в изучении народностей Севе- ра всегда найдет поддержку, совет и помощь у этого скромного ученого, — писала об М. А. в дни его 75-летнего юбилея газета «Советская Чукотка».<sup>4</sup>

В 1941—44 годах М. А. Сергеев работал в Ленинграде, Коми АССР и Сибири заместителем директора по научной части института Полярного земле- делия. В послевоенные годы он создает большой, обобщающий труд «Нека- питалистический путь развития малых народностей Севера» (1955). В эти же годы он выступает как организатор, редактор и соавтор монументального труда «Народы Сибири». И тогда же на первый план в многообразной дея- тельности ученого вновь выступают интересы гуманитарные, собственно, ни- когда и не иссякавшие (так, с 1934 г. М. А. — член Союза писателей, с 1935 года он работает в Московском критико-библиотечном институте), но все же отодвинутые в 1930-х гг. на второй план. В 1940-х гг. Сергеев работает в науч- но-библиографическом отделе и экспертной комиссии БАН, в Книжной палате; под его редакцией вышло 5 сборников Сказок народов Севера. Он активно сотрудничает в журналах «Сибирские огни», «Дальний Восток», «Советская этнография» и мн. др. В эти же годы Сергеев постоянно выступает как редак- тор книг по Сибири, составитель многочисленных библиографий по советскому Северу и Востоку, блестящий книговед. О каждой из этих областей деятель- ности Сергеева можно было бы писать много<sup>5</sup>. Но для нас важнее иное — то, что составляет специфику последнего этапа работы этого интересного дея- теля советской культуры. Та активная человечность, которая составляла движущую силу литературно-организационной деятельности Сергеева, кото- рая обусловила оригинальный профиль его краеведческих работ, теперь ста- новится для него ключом к осмыслению общих закономерностей пройденного

<sup>3</sup> А. Тюрденев, К. Кузakov, кандидаты экономических наук, Крупный северовед, «Магаданская правда», 1963, 4 августа, № 182 (8269).

<sup>4</sup> Э. Селитренник, Друг чукотского народа, «Советская Чукотка», 1963, 13 апреля, № 91 (5832).

<sup>5</sup> М. А. Сергеев — не только знаток, но и собиратель книг. Часть быв- шей библиотеки ученого — североведческая, сибироведческая — сейчас нахо- дится на Камчатке (см.: В. Федотов, Клад для библиографов, «Вечер- ний Новосибирск», 1958, 7 октября, № 196).

им самим и его современниками длинного и сложного пути. В этом смысле М. А. Сергеев отнюдь не одинок: один из основных аспектов творчества современных литераторов старшего поколения — стремление понять общие законы в их единственно реальном, непосредственно жизненном преломлении — так, как они отразились в жизни «моей», «его»<sup>6</sup>. Это стремление и возродило столь характерный для литературы последних лет жанр мемуаров — оно же толкнуло и М. А. Сергеева к написанию публикуемых ниже воспоминаний.

Скончался М. А. Сергеев 11 мая 1965 г.

Воспоминания А. М. Сергеева написаны очень своеобразно. Они не похожи на большинство современных мемуаров на темы литературные и общекультурные, тяготеющих обычно к беллетризованной (а часто — и подлинно литературной) манере изложения. «Об одном замысле А. М. Горького» — это почти историко-литературная статья, построенная на широком знании «горьковщины», с великолепным аппаратом, фактически, не требующим традиционной работы «публикатора и комментатора». Несколько необычно в мемуарах, написанных от первого лица, и почти полное исчезновение «я» — рассказчика и очевидца изображаемого. Все эти особенности (а также — специфика языка) появились не случайно; это — не инерция научного или делового стиля, а сознательная, четко продуманная позиция мемуариста. Возникает она из последовательно проведенного устремления к полной, абсолютной правде изображения — правде, не заслоненной ничем: ни внешней эмоциональностью, ни даже субъективностью «моей» позиции, ни беллетризованной формой повествования. Мы далеки от представления о том, что подобный подход к самому понятию «правда мемуаров» — единственный. По-видимому, здесь принципиально возможны и нужны разные подходы к материалу. Но важно подчеркнуть, что здесь перед нами — именно сознательная концепция того, какими должны быть литературные мемуары.<sup>7</sup> Подобная позиция, однако, никак не означает отказа от своих точек зрения на изображаемые события. Напротив, весь публикуемый материал пронизан четкой — и глубоко органичной для М. А. Сергеева — концепцией.

Центральное место в воспоминаниях занимают горьковские материалы. После окончания Гражданской войны главными задачами становятся позитивные — в частности, культурное строительство. Понимаемое по-горьковски широко, это культурное строительство должно было включить и охрану и освоение культурных традиций прошлого, и контакт с передовыми писателями Запада. Так смотрел на задачу времени и М. А. Сергеев, и потому-то и сейчас он выделил именно этот аспект в многообразной (и с разных сторон известной М. А. Сергееву) деятельности Горького. Первостепенный интерес представляют включенные в текст мемуаров публикации двух писем Горького и проспекта неосуществленного журнала «Собеседник». Они позволяют и уточнить ряд фактов из биографии писателя (эпизод с обыском Горького фашистами), и углубить наши знания о взглядах Горького на за-

<sup>6</sup> См.: З. Минц, Е. Г. Полонская и её литературные воспоминания, Труды по русской и славянской филологии, т. VI, Тарту, изд. ТГУ, 1963, стр. 375—376.

<sup>7</sup> «Писать о себе — значит заслонять собой главное в своем повествовании или считать этим главным — самого себя. По-моему, хочешь писать о себе — пиши автобиографию», — таков приблизительный смысл слов, сказанных М. А. Сергеевым в беседе с автором настоящей статьи.

дачи советской журналистики и — шире — литературной и культурной политики. Эти материалы, безусловно, привлекут внимание исследователей.

С горьковскими материалами тесно связана и другая линия публикуемых воспоминаний. М. А. Сергеев стремится расширить наши (порой еще весьма ограниченные) представления о круге тех, кто рядом с Горьким боролся в 1920-х гг. за рост новой культуры, за ознакомление с нею передовой общественности. Многие из этих людей у нас забыты, многие же были прямо оклеветаны — сначала вулгаризаторами-демагогами из РАПП, затем продолжившей их ошибки критикой периода культа личности. Таков, например, проф. Ф. А. Браун, прямо посланный Советским правительством за границу для осуществления задач сближения передовой научной общественности Европы с советской наукой и объявленный уже посмертно (в годы культа личности) эмигрантом.

Не менее интересна и биография З. И. Гржебина. Художник прогрессивных убеждений, автор карикатур в период первой русской революции, он стал после Октября деятельным участником «Общества социалистической печати». Его Берлинское издательство (и это прекрасно видно по характеру выпускавшейся им книжной продукции) ни в коей мере не было эмигрантским. Книгоиздательство З. И. Гржебина пыталось облегчить разуху полиграфии, ввозя в Советскую Россию научно-популярные и учебные издания и пособия. Деятели РАПП объявили издательство Гржебина эмигрантским. С другой стороны — что, впрочем, гораздо естественнее! — Гржебина постоянно травил безэмигрантская пресса (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус и др.), злобно клеветавшая на него.

Как сообщил М. А. Сергеев, Горький рассказал ему, что З. И. Гржебин умер в бедности в Париже в начале 1930-х гг.

«Воскreshают» воспоминания М. А. Сергеева и имена таких несправедливо забытых деятелей Советского государства, как Керженцев и др. Значительно более сложна, но не менее любопытна фигура Вяч. Иванова, также возникающая со страниц воспоминаний М. А. Сергеева. То, что Вяч. Иванов уехал из Советского Союза, — столь же непреложная истина, как и то, что до Октября «Вячеслав великолепный» был одним из признанных вождей символизма. Но, по-видимому, сложный путь Вяч. Иванова не должен оцениваться односторонне. Так, еще до Октября Вяч. Иванов, при всей противоречивости его творчества, безусловно, сочувствовал передовым общественным исканиям и пытался — пусть путано, непоследовательно, в формах наивного-иллюзорного «мистического анархизма» — протестовать против произвола самодержавия. После Октября Вяч. Иванов несколько лет вел очень интенсивную педагогическую и организационную работу в Бакинском университете, бывшем в эти годы любопытным очагом филологической культуры. У нас нет абсолютно никаких оснований считать этот период жизни Вяч. Иванова приспособленческим, а его работу в Университете — службой для пайка. Значительно правильнее говорить об определенном периоде эволюции Вяч. Иванова, периоде, когда он пытался «примирить» свой мистицизм с верой в историческую неизбежность революции (попытка, типичская для целого ряда символистов, начиная от А. Белого). Разумеется, «примирение» здесь было невозможным. Реальностью было либо движение к отказу от мистицизма (А. Блок), либо путь к отрицанию классовой борьбы. И Вяч. Иванов, не сумевший пойти первым из этих путей, решил в конце концов уехать в Италию. Путь этот, однако, не был столь примитивным, как принято думать. Уже живя за границей, Вяч. Иванов стремится не прерывать связей с Советским Союзом. Более того — он хочет активно содействовать ознакомлению Запада с растущей советской культурой, а советских людей — с современной итальянской литературой (отсюда — его сотрудничество в горьковской «Беседе» и намечавшееся участие в журнале «Собеседник»). В письме к М. А. Сергееву из Рима от 27 октября 1925 г. Вяч. Иванов писал: «Связаться с Ленинизмом я очень рад, могу исполнять его поручения и, согласно его директивам, информировать его, если это потребуется <...>; переводить <...> не буду, дру-

гих же переводчиков могу найти, как и взять на себя присмотр за их работой»<sup>9</sup> Вяч. Иванов в эти годы участвует в работе Гиза, много общается с Горьким и с радостью соглашается войти в редакцию «Собеседника», а затем грустит о невозможности появления этого издания. В письме от 24 октября 1924 г. читаем: «Алексей Максимович сообщал мне, что ждет Вашего приезда. О крушении журнального плана глубоко сожалею»<sup>10</sup> И снова — в уже цитированном письме от 27 октября: «Сожалею, что журнальный план Горького рухнул». В этом же письме — очень интересное указание на еще один замысел Вяч. Иванова: «Сожалею и о том, что не могу лично говорить с Вами о моем замысле поэтического перевода Данте, который давно меня занимает и который я бы надеялся осуществить с помощью Ленгиза». Именно эти стороны деятельности Вяч. Иванова освещаются в публикуемых материалах.

Воспоминания М. А. Сергеева помогают нам шире и глубже представить себе культурную политику, проводившуюся в 1920-х гг., позицию Горького, помогающего выяснить круг горьковских (в той или иной степени последовательных) единомышленников.

## ПРИЛОЖЕНИЯ \*

### 1. ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ, СТАТЬИ, ПРЕДИСЛОВИЯ, РЕЦЕНЗИИ М. А. СЕРГЕЕВА.

#### 1918

1. Гражданское законодательство Советской власти. Доклад, сделанный на Съезде комиссаров юстиции Северной трудовой коммуны 10 июня 1918 г., «Северная Коммуна», 14, 16, 23 и 24 июля (утренний выпуск), 3 и 5 августа (вечернее прибавление); №№ 38, 40, 52, 54, 70, 71. П.

2. Годовщина национализации банков, «Петроградская правда», 27 декабря, № 285.

3. Доклад на Первом финансовом съезде Северной области. Первый финансовый съезд Северной области. Краткий отчет, П., 1918, стр. 4, 23, 36—38; — Стенографический отчет, П., 1918, стр. 4—5, 92, 122—130.

#### 1919

4. Российская коммунистическая партия (большевиков). Почему Советская власть есть власть трудящихся? Екатеринбургский Губернский Комитет Российской коммунистической партии, Екатеринбург (Листовка без подписи).

5. Новые деньги, «Северная Коммуна», 29 марта, № 70 (без подписи).

6. Памяти тов. Н. И. Жукова, «Петроградская правда», 10 января, № 6.

7. К выпуску новых денежных знаков, «Петроградская правда», 14 марта, № 58.

8. Псков—Двинск—Вильна (Путевые впечатления), «Петроградская правда», 20 и 21 марта, №№ 62 и 63.

<sup>8</sup> Речь шла о переводах на русский язык произведений современной итальянской литературы.

<sup>9</sup> Личный архив М. А. Сергеева.

<sup>10</sup> Там же.

\* Приложения I и II составлены группой учеников М. А. Сергеева, под руководством А. И. Рауда (Тарту).



9. В Народном банке, газ. «Уральский рабочий», 5 сентября, № 27, Екатеринбург.

10. Наша финансовая политика за два года, «Уральский рабочий», 9 ноября, № 82.

## 1920

11. Конспект лекций по истории РСДРП и РКП. Издание Екатеринбург. Губ. Комитета РКП(б), Январь 1920, Типогр. Политотдела III Армии, 34 стр.

12. Наш долг (К предстоящей неделе фронта), «Уральский рабочий», 16 января, № 11.

13—15. «Неделя Красного фронта». Инструкция уездно-городским (районным) комиссиям «Недели Красного фронта», уездным и районным комитетам РКП(б).

Инструкция по проведению «Недели Красного фронта» волостным и сельским комиссиям.

Инструкция по проведению волостных беспартийных конференций рабочих и крестьянок. Губернская комиссия по проведению «Недели Красного фронта», «Уральский рабочий», 16 января, № 11 (без подписи).

16. «Из искры возгорится пламя», «Уральский рабочий», 28 января, № 20.

17. Очередная победа, «Уральский рабочий», 3 февраля, № 25.

18. Беспартийные конференции, «Уральский рабочий», 7 февраля, № 29.

19. Красная Гвардия и Красная Армия, «Уральский рабочий», 22 февраля, № 42.

20. Долой разгильдяйство! «Уральский рабочий», 29 февраля, № 48.

21. Смотр нашим силам (к Всеуральскому субботнику), «Уральский рабочий», 7 марта, № 54.

22. Наша партия и В. И. Ленин, «Уральский рабочий», 22 апреля, № 95

23. Первое Мая в истории русского рабочего движения, «Уральский рабочий», 1 мая, № 104.

24. Лучшему из лучших (Памяти тов. К. А. Тимирязева), «Уральский рабочий», 4 мая, № 105.

25. Предложение Англии и наш ответ, «Уральский рабочий», 28 июля, № 177.

26. Настоящий момент и задачи трудящихся, «Уральский рабочий», 30 июля, № 179.

## 1921

27—28. Социальная революция и финансы. Сборник к III Конгрессу Коммунистического Интернационала. Народный комиссариат финансов, М., стр. 159 (М. А. Сергееву принадлежат: гл. III. Аннулирование государственных займов, стр. 66—70. и гл. IV. Национализация и ликвидация кредитных учреждений, стр. 71—78).

29. Партия и беспартийные (К открытию Екатеринбургской рабочей конференции), «Уральский рабочий», 12 июня, № 130.

30. Финансовые заметки (в Губернском финансовом отделе), «Уральский рабочий», 16 октября, № 236 (подпись: С. В.).

31. Наша финансовая политика, «Уральский рабочий», 26, 27 и 28 октября, №№ 244—246 (подпись: С. Волохов).

32. Наша финансовая политика. Итоги четырех лет, «Уральский рабочий», 7 ноября, № 255 (подпись: С. Волохов).

## 1922

33. Дин. Работа Госбанка (Беседа с управляющим Северо-Западной областной конторой Госбанка тов. М. А. Сергеевым), газ. «Маховик». Орган Сев.-Зап. областн. бюро ВЦСПС, Сев.-Зап. областн. Экосо и Петрогубпрофсовета, 4 февраля, № 27, П.

## 1928

34. Сигрид Ундсет, Обездоленные, Перевод с норвежского М. А. Дьяконова. Предисловие к русскому изданию (подпись: М. С.), Госуд. издат., Л., 243 стр.

35. Г. К. Честертон, Новый Дон-Кихот. Роман. Перевод с английского Л. Л. Слонимской. Предисловие к русскому изданию, Госуд. издат. Л., 244 стр.

36. Рецензия: Новинки европейской литературы. Макс Эйт, За плугом и тисками, Еженедельник «Читатель и писатель», 2 декабря, № 48, М.

## 1929

37. Оноре Бальзак (1799—1850), «Красная Панорама», № 52, стр. 12—13, Л.

38. Певец фламандской земли (о творчестве Стина Стревельса), «Вестник иностранной литературы», № 2, стр. 255—229, М.

39. Памяти И. Е. Котлякова, «Красная газета», Веч. выпуск, 16 июня, № 148, Л.

40. Без просвещения нет коммунизма, «Красная газета», Веч. вып., 8 ноября, № 281 (подпись: С. М.).

41. Жорж Занд (1804—1876), Собрание сочинений, т. I. Консуэло, Роман. Перевод с французского под редакцией А. Н. Горлина, Изд. «Красная газета», Л., 405 стр. Предисловие, стр. 3—8 (подпись: М. С.).

42. Камилл Лемонье, Завод, Роман. Перевод А. Н. Горлина, Изд. «Красная газета», Л., 311 стр. Предисловие к русскому изданию, стр. 3—8 (подпись: М. С.).

43. Ганс Сохачев, Будни. Перевод с немецкого П. Бернштейн, И. А. Ивича, «Прибой», Л., 240 стр. Предисловие к русскому изданию (подпись: М. С.).

44. С. М. Степняк-Кравчинский, Собрание сочинений, Том. I. Андрей Кожухов. Перевод с английского Ф. М. Степняк, Изд. «Красная газета», Л., 320 стр. Предисловие (подпись: М. С.).

45. С. М. Степняк-Кравчинский, Собрание сочинений, т. II, Изд. «Красная газета», Л., 160 стр. От издательства (предисловие, без подписи).

46. Стин Стревелс, Батрак, Перевод с фламандского Н. А. Александрова, «Прибой», Л., 160 стр. Предисловие к русскому изданию (стр. 3—9).

47. Рецензия: Малая советская энциклопедия, Том III, М., 1929. — «Красная газета», Веч. вып., 26 сентября, № 241 (подпись: С. М.).

## 1930

48. Лицо Камчатского округа. В кн.: Советская Камчатка, Политико-экономический и литературный альманах, Приложение к газ. «Полярная звезда», Петропавловск-Камчатский, декабрь, 1930, стр. 2—6.

49. Лицом к производству, «Полярная звезда», 26 июля, № 58. Петропавловск-Камчатский (подпись: С.).

## 1931

50. Камчатка. I. Ее прошлое. II. Ее настоящее, «Природа и люди», № 10, стр. 37—42; № 11—12, стр. 36—40; № 13—14, стр. 51—55, Л.  
 51. ПНОК — Первый ненецкий оленеводческий колхоз, «Советское строительство», № 5—6, стр. 118—124, М.  
 52. Советская Камчатка, «Советское строительство», № 8, стр. 81—96.  
 53. Советская Камчатка, «Стройка», № 17—18, стр. 5—7, Л.  
 54. Социалистическая стройка на краю света, «Стройка», № 28, стр. 3—5.  
 55. Земля неведомая. Новые фильмы о Камчатке, «Красная газета», Веч. вып., 30 июля, № 178.  
 56. Долой ненужный балласт, Стенная газета Ленинградского Дома печати «Красная стройка», № 7 (37) (подпись: Б.).

## 1932

57. Советская Камчатка, Предисловие Председателя Комитета Севера при Президиуме ВЦИК П. Г. Смидовича, Соцэкгиз, Л., 263 стр. с иллюстр., 2 вкл. карты.  
 Рецензии: Г. П. [Потехин], «Советское строительство», 1933, № 2, стр. 110—112; К. Прусак, «Камчатская правда», 1936, № 162; П. Устюгов, «Советский Север», 1933, № 1, стр. 133—135; К. Шавров, «Тихоокеанская звезда», 1933, 27 апреля, № 88.  
 58. Лесное хозяйство Камчатки, «Лесное хозяйство и лесозаготовка», № 6, стр. 73—75, Л.

## 1933\*

59. К вопросу о народнохозяйственной переписи Крайнего Севера, «Советская этнография», № 3—4, стр. 9—28, Л.  
 60. Корякский национальный округ, «Советское строительство», № 12, стр. 99—106.  
 61. Положение туземного населения реки Кеть. Доклад на бюро Комитета Севера, 21 декабря 1932 г., «Советский Север», № 1, хроника, стр. 126, М.

## 1934

62. Камчатский Край. Центр. бюро краеведения, изд. «Советская Азия», М., 92 стр. 2 вкл. карты.  
 Рецензии: Обзор литературы о ДВК. Районы Севера. Камчатка (книги М. А. Сергеева «Советская Камчатка и «Камчатский край»), «Тихоокеанский коммунист», 1935, № 1, стр. 54; И. Сенекин, «Советское краеведение», 1935, № 2, стр. 80.  
 63. Корякский национальный округ. Научно-исследовательская ассоциация Института народов Севера ЦИК СССР, Труды по экономике, том I, изд. Института народов Севера, Л., 142 стр., вкл. карта.  
 Рецензии: Б. Бондаренко и В. Самойлов, «Землеведение», 1935, т. XXXVII. вып. I, стр. 110—112. З. Карпенко, «Тихоокеанская звезда», 1934, 27 ноября; М. Косвен, «Советский Север», 1934, № 4, стр. 102; Обзор литературы о ДВК. Районы Севера. Корякский округ, «Тихоокеанский коммунист», 1935, № 1, стр. 55; Ю. П. н [Потехин], «Революция и национальности», 1934, № 10, стр. 93—96; П. Тайгин, «Советское строительство», 1934, № 10, стр. 104—105; К. Шавров, «Советская этнография», 1934, № 5, стр. 118—121; Сообщение: Изд. Института народов Севера ЦИК СССР. Проспект изданий, Л., 1933.

64. Десять лет работы Комитета Севера, «Советское строительство», № 7, стр. 93—100.
65. Задачи второй пятилетки на Севере, «Революция и национальности», № 7, стр. 42—50, М.
66. Реконструкция быта народов Севера, «Революция и национальности», № 3, стр. 90—95.
67. Реконструкция хозяйства малых народов Севера во втором пятилетии, «Советское строительство», № 8, стр. 96—103.
68. С. И. Абрамович-Блэк, Записки гидрографа, Кн. I, Земля и люди, ЯАССР — 1933. Редакция и предисловие (стр. 7—14) М. Сергеева, Изд. писателей в Ленинграде, 261 стр.
- Рецензия: И. Сац, На пути к художественной правде (по поводу книги С. Абрамовича-Блэк), «Литературный критик», 1935, № 1, стр. 132—147, М.
69. Северное промышленное хозяйство, Сборник статей под редакцией М. А. Сергеева и Н. Г. Казанского. С предисловием М. А. Сергеева. Научно-исследовательская ассоциация Института народов Севера ЦИК СССР. В помощь учителю национальной начальной школы Крайнего Севера, выпуск шестой, КОИЗ, Л., 100 стр.
70. Ганс Фаллада, Что же дальше? Роман. Вступительное слово Константина Федина. Предисловие М. А. Сергеева. Перевод с немецкого П. С. Бернштейна, Л. И. Вольфсон и Н. А. Логрина. Под редакцией В. А. Зоргенфрея, Л., Кооперат. изд. «Время».

### 1935

- 71—73. Советский Север, Сборник статей. Под редакцией и с предисловием М. А. Сергеева, Ленингр. обл. изд., приложение к журн. «Вестник знания», 355 стр. с многочисл. иллюстр. (верстка). М. А. Сергееву принадлежат, кроме предисловия (стр. 3—5), статьи: «Национальное строительство на Крайнем Севере» (стр. 145—161) и «Морской зверобойный промысел Севера СССР» (стр. 288—302).
74. Л. С. Берг, Физико-географические (ландшафтные) зоны СССР, Часть I, Введение. Тундра. Лесная зона. Лесостепь, Издание Ленингр. госуд. унив., Л., 1935, 427 стр. (верстка). Предисловие «От редакции» (без подписи).
75. Дальневосточный Север (Камчатская область ДВК), «Вестник знания», № 4, стр. 293—297, Л.
76. Китобойная промышленность СССР, «Вестник знания», № 8, стр. 603—609.
77. Почему нет массовой книжки? «Советская Арктика», № 5, стр. 78—79, М. (Напечатана без авторской корректуры).
78. Рецензия: Библиография Дальневосточного края (1890—1931). Ответственная редакция: А. Н. Асаткин, В. А. Самойлов, т. II. Геология, полезные ископаемые, палеонтология. Дальневост. краев. исполн. комитет, изд. Всесоюзн. ассоц. библиографии, М., 1935, 415 стр. — «На рубеже», сентябрь, кн. 9, стр. 137—139, Хабаровск.

### 1936

79. Народное хозяйство Камчатского края, Академия наук СССР. Совет по изуч. производит. сил (СОПС), изд. АН СССР, М., 815 стр. с 145 иллюстр.
- Рецензии: С. Александров, «За индустриализацию», 1936, 10 июля, № 159, М.; Б. С., «Тихий океан», 1936, № 4(10), стр. 178—180, М. [в рецензии автор назван ошибочно М. А. Семеновым — см. «Тихий океан», 1937, № 1(11), стр. 183]; В. Самойлов, «Книга и пролетарская революция», 1936, № 7, стр. 55—58; А. Скачко, «Плановое хозяйство», 1936, № 11, стр. 221—224, М.; Ф. С. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1936, 4 июля, № 154; Сообщения: Новая книга о Камчатке, «Книжные новости», 1936, № 1, стр. 9; Новая книга о Камчатке (проспект), изд. АН СССР, М., 1936; Новые книги о

Камчатке, «Тихоокеанская звезда», 1936, 1 июня, № 124; Автор «Советской Камчатки» тов. Сергеев в Петропавловске, «Камчатская правда», 1936, 10 июля, № 157.

80. Пушное звероводство и островное хозяйство Дальневосточного Севера. В кн.: Г. Е. Рахманин и М. А. Сергеев, Очерки по охотничьему хозяйству и звероводству Крайнего Севера, Научно-исследов. ассоц. Института народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича, Известия, вып. 6, Изд. Института народов Севера, Л., 122 стр.

81. Якутский фольклор, Тексты и переводы А. А. Попова. Литературная обработка Е. М. Тагер. Общая редакция и предисловие М. А. Сергеева. Вступительная статья акад. А. Н. Самойловича, «Советский писатель», Л., 322 стр. с застав., концовк. и шмттцитулами.

Рецензии: Э. Гофман, «Литературная газета», 1936, 15 сентября, № 52; И. Гудков, «Советская Арктика», 1937, № 1, стр. 100—101; Сообщения: Якутский фольклор, «Литературный Ленинград», 1935, 20 декабря; Издание сборника якутского народного творчества, «Социалистическая Якутия», 1936.

82. Проблемы краевой библиографии, «Книга и пролетарская революция», № 8, стр. 109—112, М.

83. А. Ф. Анисимов, Родовое общество эвенков (тунгусов), Научно-исследоват. ассоц. Института народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича, Труды по этнографии, т. I, Л., 1936, 195 стр. с рис. и вкл. картой. Предисловие (без подписи).

84. Рецензия: Книга с ошибками, В. Г. Островский. Остров Врангеля. Северное краевое Издательство, Архангельск, 1935, 88 стр. с иллюстр. — «На рубеже», сентябрь—декабрь, кн. 5—6, стр. 246—248.

85. Рецензия: Расцвет Нарыма, Проблемы освоения Севера Западной Сибири. Научно-исследоват. институт экономики при Зап.-Сиб. Крайплане, Зап.-Сиб. краев. изд-во, Новосибирск, 1935, 261 стр. — Журн. «Книга и пролетарская революция», № 5, стр. 90—92.

86. Рецензия: Советская Арктика, Н. В. Пинегин, Новая Земля, Севкрайгиз, Архангельск, 1935, 126 стр.; Б. Г. Островский, Остров Врангеля, Севкрайгиз, Архангельск, 1935, 88 стр. — «Книга и пролетарская революция», № 4, стр. 81—84.

#### 1937

87. Долганский фольклор, Вступительная статья, тексты и переводы А. А. Попова. Литературная обработка Е. М. Тагер. Общая редакция и предисловие М. А. Сергеева, Л., «Советский писатель», 259 стр. с застав., концовк. и шмттцитулами.

88. Шантары, «Наша страна», № 4, стр. 48—49, М.

89. Рецензия: А. Ф. Анисимов, Родовое общество эвенков (тунгусов). Научно-исследоват. ассоц. Института народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича, Труды по этнографии, т. I. Изд. Института народов Севера, Л., 1936, 195 стр. — «Книга и пролетарская революция», № 4, стр. 161—162.

90. Рецензия: Чарлз Терли, Фритьоф Нансен. Перевод с английского Р. В. Чеснокова под редакцией и с предисловием М. А. Дьяконова, Севгиз, Архангельск, 1936, 147 стр. — «Книга и пролетарская революция», № 5, стр. 146—147.

#### 1938

91. Советские острова Тихого океана, Соцэкгиз, Л., 282 стр., 12 вкл. листов иллюстр., 4 вкл. карты.

Рецензии: Н. Б. [Баранский], «География в школе», 1938, № 4, стр. 87—88; А. Ведищев, «Книга и пролетарская революция», 1938, № 8—9.

стр. 84—85; В. Самойлов, «Наша страна», 1938, № 12, стр. 53; И. Сергеев, Наша страна, Книги по географии СССР. Научная редакция проф. Г. Н. Черданцева, Библиотека СССР им. В. И. Ленина, М., 1946, стр. 51—52.

92. Академик В. Л. Комаров как исследователь населения Камчатки (1908—1938); Советская этнография, Сборник статей I, Институт этнографии АН СССР, Л., стр. 5—11 и отд. отт.

93. К вопросу об использовании растительных ресурсов Камчатки, Вестник Дальневосточного филиала АН СССР, № 28(1), стр. 109—112 и отд. отт., Владивосток.

94. Тихоокеанские лососи, «Юный натуралист», № 9, стр. 14—16, М.

95. Луораветланы, Большая Советская энциклопедия, т. 37, столб. 497—499, М.

## 1939

96. Академик В. Л. Комаров как исследователь Дальнего Востока и Камчатки, Вестник Академии наук СССР, № 10, стр. 32—42 и отд. отт., М.

97. На Крайнем Северо-Востоке СССР, В кн.: Родина. Иллюстрированная книга для чтения. Предисловие президента Академии наук СССР В. Л. Комарова. Редактор-составитель И. В. Сергеев, изд. «Молодая гвардия», М., 1939, 567 стр. с многочисл. портрет., картами и иллюстр., стр. 334—344 (без подписи).

98. Народы Севера, Большая советская энциклопедия, т. 41, столб. 233—238.

99. Нивхи (или нивухи), Большая советская энциклопедия, т. 41, столб. 822—823.

100. Нымыланы, Большая советская энциклопедия, т. 42, столб. 412—414.

101. Огонь, Большая советская энциклопедия, т. 42, столб. 711—712 (без подписи).

102. Одулы, Большая советская энциклопедия, т. 42, столб. 760 (без подписи).

103. Ольчи, Большая советская энциклопедия, т. 43, столб. 114 (без подписи).

104. Ороки, Большая советская энциклопедия, т. 43, столб. 371 (без подписи).

105. Орочи, Большая советская энциклопедия, т. 43, столб. 371—372 (без подписи).

106. Орочны, Большая советская энциклопедия, т. 43, столб. 372 (без подписи).

107. Остяки, Большая советская энциклопедия, т. 43, столб. 518 (без подписи).

108. Палеоазиатские народы, Большая советская энциклопедия, т. 43, столб. 783—784.

## 1940

109—111. Оборона Петропавловска на Камчатке, Военно-Морское издательство НКВМФ СССР, Л., 76 стр. с 2 иллюстр.

Второе переработанное издание, Военно-Морское издательство ВММ СССР, М., 1952, 96 стр. с заст., концовк. и иллюстр.

Третье дополненное издание, Военное издательство Министерства обороны СССР, М., 1954, 112 стр. с заст., концовк. и иллюстр.

Рецензии: Л. Плюшкин, «Книга и пролетарская революция», 1940, № 10—11, стр. 86—87; Ф. Слободчиков, «Камчатская правда», 1952, 14 августа, № 192.

112. Академик В. Л. Комаров и исследования Камчатки (1908—1938). Приложение: Библиография камчатских работ акад. В. Л. Комарова. В кн.: Камчатский сборник, I, посвященный президенту Академии наук СССР ака-

демику Владимиру Леонтьевичу Комарову. К 30-летию исследовательской работы по Камчатке (1908—1938). Ответственный редактор. М. А. Сергеев, Академия наук СССР, Л., 277 стр. с портретом, вклад. картой, многочисл. иллюстр. и отд. отт. (стр. 53—66).

113. Камчатский заповедник Лопатка — Асача. В кн.: Камчатский сборник, I, Академия наук СССР, Л., 277 стр. с портр., вклад. картой, многочисл. иллюстр. и отд. отт. (стр. 226—276).

114. Героическая оборона Петропавловска на Камчатке. 20—24 августа (1—5 сентября) 1854 г., «Знамя», кн. 4—5, стр. 233—259.

Рецензии: В. Михайлов, «Литературная газета», 1940, 4 августа, № 42; Р. Моран, «Красная звезда», 1940, 16 июля, № 164. Сообщение: «Вечерняя Москва», 1940, 3 июля.

115. Малые народы Севера СССР, «География в школе», № 1, стр. 29—31, М.

116. Саами, «География в школе», № 1, стр. 32—36.

117. Тофалары сегодня (к истории национального строительства), Советская этнография, Сборник статей. IV, Институт этнографии Академии наук СССР, Таллин, стр. 55—77 и отд. отт.

118. Поморы, Большая советская энциклопедия, Том 46, столб. 399 (без подписи).

119. Пян-Хасава, Большая советская энциклопедия. Том 47, столб. 717 (без подписи).

120. Рецензия: О картах II тома Большого советского атласа мира, Журн. «Геодестист», № 4, стр. 23—26 (напеч. без авторской корректуры), М.

#### 1941

121—122. Первые русские кругосветные плаванья, В кн.: Н. Нозиков, Русские кругосветные мореплаватели. Под редакцией и с вступительной статьей (стр. 3—17) М. А. Сергеева, Гос. Военно-Морское издательство НКВМФ СССР, Л., 208 стр. с иллюстр., портр. и вкл. картами.

Второе переработанное издание, Военное издательство МВС СССР, М., 1947, 295 стр. с иллюстр., портр. и вклад. картами.

123. Н. М. Ковязин, Хозяйство эвенков и его реконструкция (Эвенкийский национальный округ) (Кандидатская диссертация). Редакция и послесловие М. А. Сергеева, Научно-исслед. ассоциация Института народов Севера им. П. Г. Сидовича, изд. Главсевморпути, Л. (верстка).

124. Якутская АССР, «Спутник агитатора», № 3, стр. 35—37, М.

#### 1944

125. Академик Владимир Леонтьевич Комаров как исследователь Дальнего Востока, Доклад на открытом заседании Совета Ленинградского Дома ученых им. М. Горького, посвященном 75-летию со дня рождения президента Академии наук СССР В. Л. Комарова, 13 октября 1944 г., «Ленинградская правда», 1944, 14 октября, № 246.

126. Саамы, Большая советская энциклопедия, том 50, столб. 80—81. (без подписи).

127. Сагайцы, Большая советская энциклопедия, том. 50, столб. 97 (без подписи).

128. Самоеды, Большая советская энциклопедия, том. 50, столб. 184 (без подписи).

129. Саха, Большая советская энциклопедия, том 50, столб. 326—327.

130. Селькупы, Большая советская энциклопедия, том 50, столб. 697—698.

## 1945

131. Русские на Тихом океане в XVII—XIX веках, «Звезда», № 7, стр. 131—135; № 8, стр. 148—154, Л.
132. Двухсотдвадцатилетие Академии наук СССР (от союзнета наук к Всесоюзной Академии), «Звезда», № 7, стр. 122—130 (подпись: С. А. Михайлов. Соавтор: К. И. Шафрановский).
133. Сборник трудов ленинградских ученых в блокаде. Вступительная статья и редакция, издание Ленингр. Дома ученых им. М. Горького, Л., (верстка).
134. Курильские острова (справка), «Пропаганда и агитация», № 22, стр. 47—48, Л.
135. На Дальнем Востоке, «Ленинград», № 15—16, стр. 1—3.
136. Сахалин, «Пропаганда и агитация», № 23—24, стр. 47—49.
137. Иван Кратт, Остров Баранова, Роман. Редакция и предисловие М. А. Сергеева (стр. 3—6, без подписи), Лениздат, 216 стр. с заставк., концовк. и иллюстр.
138. В. А. Самойлов, Семен Дежнев и его время, С приложением отписок и челобитных Семена Дежнева о его походах и открытиях. Предисловие М. А. Сергеева (стр. 3—8), изд. Главсевморпути, М., 151 стр. с заставк., концовк. и иллюстр.
- Рецензии: А. Андреев, «Советская этнография», 1947, № 2, стр. 248; М. Н. Куфаев, «Дальний Восток», 1946, кн. 5—6, стр. 244—246; П. Т., «География в школе», 1946, № 1, стр. 79.
139. Сибирские бухарцы, Большая советская энциклопедия, том 51, столб. 60 (без подписи).
140. Выставка, посвященная населению Курильских островов и Сахалина, «Ленинградская правда», 14 декабря, № 290.

## 1946

141. Возвращенные Курилы, «Ленинград», № 3—4, стр. 42—43.
142. Прошлое и настоящее Курильских островов, «Тихоокеанская звезда», 15 марта, № 63, Хабаровск.
143. Южный Сахалин и Курильские острова, «География в школе», № 1, стр. 13—19.
144. Тавгийцы, Большая советская энциклопедия, т. 53, столб. 397—398 (без подписи).
145. Тазы, Большая советская энциклопедия, т. 53, столб. 457—458 (без подписи).
146. Теленгеты, Большая советская энциклопедия, т. 53, столб. 777 (без подписи).
147. Телеуты, Большая советская энциклопедия, т. 53, столб. 781—782 (без подписи).
148. Рецензия: А. С. Аллилуева, Воспоминания, «Советский писатель», 1946. — «Звезда», № 10, стр. 210—212.

## 1947

149. Курильские острова, Географгиз, М., 152 стр. с иллюстр. и картами, 2 вкладыш. карты.
150. Исследования народов Дальнего Востока в советскую эпоху, «Дальний Восток», № 4, стр. 81—87, Хабаровск.
- 151—152. Малые народы Севера в эпоху социализма, «Советская этнография», № 4, стр. 126—158 и отд. отт., М.
- Отзыв: Т. А. Жданко, Обсуждение научно-исследовательской работы



Института этнографии Академии наук СССР, «Советская этнография», 1949, № 1, стр. 166.

Рекоменд. в качестве учебн. пособия: проф. В. К. Никольский, История первобытного общества. Учебно-методич. пособие для студентов-заочников педагогических и учительских институтов, Учпедгиз, М., 1951, стр. 95; Его же, Программа курса «История первобытного общества» (для исторических факультетов государственных университетов и педагогических институтов), изд. «Советская наука», М., 1951, стр. 16.

То же, на нем. яз.: М. А. Sergejew, Die kleinen Völker des Nordens in der Epoche des Sozialismus, Sowjetwissenschaft, 1948, Nr. 4, S. 29—74. Übersetzt von O. Mehlitz. Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion, Berlin.

153. Сойоты, Большая советская энциклопедия, т. 52, столб. 21 (без подписи).

154. Солоны, Большая советская энциклопедия, т. 52, столб. 78 (без подписи).

155. Тубалары (Туба-кижи, пыш-кижи — «лесные люди»), Большая советская энциклопедия, т. 55, столб. 97 (без подписи).

156. 250-летие открытия Камчатки (Беседа с М. А. Сергеевым), «Ленинградская правда», 23 декабря, № 299.

#### 1948

157—158. Ф. П. Врангель, Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. Под общей редакцией контр-адм. Е. Шведе, изд. Главсевморпути, М., 455 стр. с портр., иллюстр. и вклад. картами. М. А. Сергееву принадлежат: статья «Экспедиция Ф. П. Врангеля и Ф. Ф. Матюшкина и изучение малых народов Крайнего Северо-Востока» (стр. 411—430) и «Словарь этнографических терминов и местных названий» (стр. 431—441). Отд. отт.

Рецензия: Р. Борисов, «Красный флот», 1949, 29 июня, № 151.

159. Эскимосы, Энциклопедический словарь Гранат, 7-е издание, том 54, столб. 516—520, М.

160. А. А. Попов, Нганасаны, Вып. I, Материальная культура, Академия наук СССР. Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, новая серия, т. III, Л., 122 стр. с иллюстр., 18 таблиц и карта. М. А. Сергееву принадлежат: «От редакции», «Предисловие» (без подписи) и фактическая редакция.

161. Народы Северной Азии. Капитальный труд советских ученых, «Ленинградская правда», 27 августа, № 203.

#### 1949

162. К вопросу о применении термина «Крайний Север», «Летопись Севера», I (стр. 189—208), изд. Главсевморпути, М., 315 стр. с иллюстр.

163. Рецензия: А. А. Попов, Нганасаны, Вып. I, Материальная культура, Л., 1948. — Известия Всесоюзного географического общества, т. 81, вып. 3, стр. 351—352 и отд. отт.

164. Рецензия: Новый труд по этнографии Севера (А. А. Попов, Нганасаны, Вып. I, Материальная культура, Л., 1948). — «Летопись Севера», I (стр. 291—295), изд. Главсевморпути, М.

#### 1950

165. Василий Николаевич Скалон (к 25-летию научной и общественной деятельности), Известия Всесоюзного географического общества, т. 82, вып. 2, стр. 205—206 и отд. отт.

166. Рецензия: «Мы — люди Севера» (Рассказы, повести, стихи и песни писателей и поэтов народов Севера), «Молодая гвардия», Л., 1949, 288 стр. — «Звезда» № 3, стр. 191—193.

167. Рецензия: На Дальнем Востоке (П. Далецкий, Концессия, Изд. 3-е переработ., Лениздат, 1949, 485 стр.). — «Звезда», № 2, стр. 183—185.

## 1951

168—169. Сказки народов Севера, Составит.: М. Г. Воскобойников, Г. А. Меновщиков. Общая редакция М. А. Сергеева, Гос. изд. худож. литературы, Л., 669 стр. с шмуц-титлами, заставками и концовками. М. А. Сергееву принадлежат вступит. статья «Сказки народов Севера» (стр. V—XVI) и «Словарь этнографических терминов, географических и местных названий и оборотов речи» (стр. 644—661).

Сообщение: Фольклор народов Крайнего Севера, «Сталинская трибуна», 1951, 26 июня, № 124, Ханты-Мансийск (Перепеч. из «Тюменской правды»).

170. Города Аляски, «Полярная правда», 30 декабря, № 306, Мурманск.

171. О поэзии народов Севера, «Сибирские огни», № 3, стр. 111—112, Новосибирск.

172—173. Поэзия народов Обского Севера, «Тюменская правда», 14 августа, № 159; перепечат. в газ. «Сталинская трибуна», 17 августа, № 161, Ханты-Мансийск.

174. Творчество народов Севера, «Камчатская правда», 24 июня, № 145, Петропавловск-Камчатский.

175. Рецензия: В. Л. Комаров, Избранные сочинения, т. VI, Путешествие по Камчатке в 1908—1909 гг., изд. Академии наук СССР, М., 1950, 526 стр. с иллюстр. — «Советская книга», № 4, стр. 27—30, М.

176. Рецензия: Творчество народов Сибири (Сказки народов Сибири, сост. А. Коптелов. Новосибирск, 1949; Пламенное слово. Стихи, рассказы, повести. Сборник, сост. А. Коптелов, Новосибирск, 1950; А. А. Коптелов, Литература народов Сибири. Новосибирск, 1948) — «Советская этнография», № 4, стр. 225—230 и отд. отд.

177. Рецензия: Неудачное переиздание (А. А. Черкасов, Записки охотника Восточной Сибири, Иркутск, 1950, 239 стр.) — «Сибирские огни», № 5, стр. 117—119.

178. Рецензия: У народа удэ (Ю. Шестакова, Вместе с друзьями, Хабаровск, 1950) — «Сибирские огни», № 4, стр. 108—111.

## 1952

179—180. Эвенкийские сказки, Собраны и обработаны М. Пинегиной, Г. Коненкиным и др., Редакция и вступительная статья М. А. Сергеева. Читинское обл. изд., 112 стр. с иллюстр. Помимо статьи «Эвенки и их сказочное творчество» (стр. 5—14), М. А. Сергееву принадлежит «Словарик местных и этнографических терминов» (стр. 109—111).

Рецензии: С. Бройдо, «Забайкальский рабочий», 1952, 12 февраля, № 36, Чита; М. Булатов, в кн.: Об изданиях сказок для детей, Детгиз, М., 1955, стр. 355—357.

181. Литература народов Севера, «Сибирские огни», № 5, стр. 155—166.

182. Героическая оборона Петропавловска, «Камчатская правда», 24 января, № 21; 1 февраля, № 27; 8 февраля, № 33.

183—184. Русская Америка (1732—1867), «Звезда», № 2, стр. 130—144 (верстка).

То же (перераб.), Литерат.-худож. альманах «Советское Приморье», 13, стр. 292—330, Владивосток.

185. Так живут народы Американского Севера, «Полярная правда», 5 января, № 4, Мурманск.

186. Иван Григорьевич Истомина, Предисловие к «Ямальским рассказам» Ивана Истомина, «Сибирские огни», № 5, стр. 92 (без подписи).

187. Рецензия: Возрожденный народ (С. Бытовой, Поезд пришел на Тумнин, «Советский писатель», Л., 1951, 240 стр.). — «Звезда», № 1, стр. 170—171.

188. Рецензия: «В степи Агинской». Сборник, Читгиз, 1952, 124 стр. — «Сибирские огни», № 6, стр. 186—187.

189. Рецензия: В. В. Невский, Первое путешествие россиян вокруг света, Географгиз, 1951, 272 стр. с иллюстр. и картой. — «Советская книга», № 2, стр. 73—77.

190. Фольклор народов Сибири (Нанайские сказки, Л., 1950; Сказки бабушки Нено, Л., 1943; Г. А. Меновщиков, Чукотские, эскимосские, корякские сказки, Хабаровск, 1950; А. Тороев, Бурятские сказки, Иркутск, 1951; От всего сердца, Лит.-худож. альманах «Советское Приморье», 9, Владивосток, 1950). — «Сибирские огни», № 2, стр. 179—183.

### 1953

191. Народы Обского Севера (с прилож. «Словарика местных слов»), Библиотека школьника-краеведа, Новосибирское книжное изд-во, 149 стр. с иллюстр.

Рецензии: А. Л. Биркенгоф, «География в школе», 1954, № 5, стр. 78; А. Мисюрев, «Советская Сибирь», 1953, С. Рослый, «Дальний Восток», 1954, № 1, стр. 188—189.

192. На Крайнем Севере, «Крстьянка», № 8, стр. 23—24, М. (Соавтор: С. Кожевников).

193. Рецензия: М. Венюков, Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии, Дальгиз, Хабаровск, 1952, 303 стр. с вкл. портр. — «Советская этнография», № 2, стр. 230—235 и отд. отд.

194. Рецензия: Доржи, сын Банзара (Ч. Цыдендамбаев, Доржи, сын Банзара, Авториз. пер. с бур.-монг. М. Степанова, Иркутск, 1952). — «Сибирские огни», № 4, стр. 187—188.

195. Рецензия: Народ, нашедший счастье (Н. Максимов, Поиски счастья, Профиздат, М., 1952, 524 стр.) — «Литературная газета», 21 мая, № 60, М.

196. Рецензия: Поиски счастья (Н. Максимов, Поиски счастья, Роман, Хабаровск, 1953, 524 стр.) — «Дальний Восток», № 5, стр. 167—170.

197. Рецензия: Новая тайга (Новая тайга. Песни, сказки и стихи народов Севера, Сост. В. Кривошеин, Детгиз, Л., 1952, 98 стр.). — «Сибирские огни», № 2, стр. 189—190.

198. Рецензия: О правде исторической и художественной (В. Л. Григорьев, Григорий Шелихов. Исторический роман, «Советский писатель», М., 1952). — «Дальний Восток», № 2, стр. 177—181.

199. Рецензия: Г. А. Сарычев, Путешествие по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану, Географгиз, М., 1952. — «Советская этнография», № 1, стр. 201—203 и отд. отд.

200. Рецензия: Великое кочевье (А. Коптелов, Великое кочевье. Роман. Исправл. и дополн. издание, «Советский писатель», М., 1952, 484 стр.) — Лит.-худож. альманах «Енисей», кн. II, Красноярск, стр. 200—203, (Соавтор: Ген. Гор).

201. Рецензия: Солнце на Амуре (Андрей Пассар, Солнечный свет, Хабаровск, 1952). — «Дальний Восток», № 4, стр. 203—204 (соавтор: А. Пунтинева).

202—203. Сказки о животных. Обработка М. А. Сергеева, Читинское книжное издательство, 86 стр. с заст., конц. и иллюстр. М. А. Сергееву принадлежит также предисловие «О народах Севера и их сказках» (стр. 3—4).

Сообщение: «Забайкальский рабочий», 1955, 9 января.

204. Литературное творчество народов Дальнего Востока, «Дальний Восток», № 4, стр. 163—174.

205. Алевтина Николаевна Орлова (К 80-летию со дня рождения и 60-летию научно-общественной деятельности), Известия Всес. геогр. общ-ва, т. 86, вып. 4, стр. 362—363 с портр. и отд. отт. (Соавтор: Е. Д. Петряев).

206. Рецензия: Скачок через века (Ген. Гор, Юноша с далекой реки, Роман, «Советский писатель», 1953, 277 стр.) — «Дальний Восток», № 1, стр. 181—183.

207. Рецензия: В помощь туристам (В. Н. Скалон, По Сибири. В помощь туристам, Профиздат, М., 1953) — «Сибирские огни», № 4, стр. 185—186 (Соавтор: А. Л. Биркенгоф) (Напечатано без авторской корректуры).

## 1955

208. Некапиталистический путь развития малых народов Севера, Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Новая серия, т. XXVII, изд. Академии наук СССР, Л., 569 стр., 15 таблиц.

Сообщения: Народы Севера. Труд этнографа М. А. Сергеева, «Вечерний Ленинград», 1947, 6 июля, № 156; В. И. Чичеров, Работа Института этнографии: ... в 1947 г., «Советская этнография», 1948, № 3, стр. 132; В несколько строк, «Ленинградская правда», 1949, 2 февраля, № 26; Проспект книг на 1951 год, Изд. Академии наук СССР, Академкнига, М., 1951, стр. 24; Новая книга. М. А. Сергеев, Некапиталистический путь... (проспект), изд. Академии наук СССР, Лен отд., Академкнига, Л., 1955.

Рецензии и отзывы: П. Берков, «Звезда», 1957, № 2, стр. 214—216; М. М. Броднев, «Советская этнография», 1957, № 3, стр. 203—206; М. Бударин, «Сибирские огни», 1958, № 4, стр. 175—177; Генн. Гор, «Нева», 1957, № 1, стр. 208; Н. Н. Диков, Записки Чукотского краеведческого музея, вып. I, Магадан, 1958, стр. 75—76; Б. О. Долгих, В. А. Тоголуков, «Советская этнография» (гранки); О. Журавина, «Тихоокеанская звезда», 1956, 22 мая; К. Кузаков, Газеты (национальных округов): «Красный Север», 1956, 30 марта (Салехард), «Советская Чукотка», 1956, 9 июня, № 114 (Анадырь); «Советская Эвенкия», 1956, 16 июня, № 74 (Тура); «Советский Таймыр», 1956, 22 марта, № 39 (Дудинка); «Сталинская трибуна», 1956, 27 мая, № 107 (Ханты-Мансийск); А. А. Попов, «Дальний Восток», 1956, № 6, стр. 167—171; Т. Семушкин, «Огонек», 1956, 18 ноября, № 47.

209—212. Творчество народов Севера. Редакция, предисловие и комментарии М. А. Сергеева, Лениздат, 447 стр. с заставк., концовк. и шмуцтит-тулами. М. А. Сергееву принадлежат также «Краткие биографические справки о некоторых авторах» (стр. 416—430) и «Словарь этнографических терминов, географических названий, местных слов и выражений» (стр. 431—443).

Рецензии: Е. Ананьев, «Тюменская правда», 1956, 22 января; В. Афанасьев, «Социалистическая Якутия», 1955, 9 августа, № 187; О. Журавина, «Дальний Восток», 1955, № 6, стр. 182—184; Г. Курский, «Красное знамя», 1955, 10 июля, № 162 (Владивосток); Н. Максимов, лит.-худож. альманах «На Севере дальнем», 4, стр. 175—176 (Магадан); Г. Ходжер, «Тихоокеанская звезда», 1955, 16 октября (Хабаровск).

213. Литература малых народов Севера, «Дружба народов», 1955, № 12, стр. 146—152.

214. Литературное творчество народов Севера, «Советская этнография», № 3, стр. 173—187. и отд. отт.

215. Зачинатель эвенской литературы Н. С. Тарабукин (1910—1950). Лит.-худож. альманах «На Севере дальнем», 3, стр. 162—170 (Магадан).
216. Творчество зачинателя эвенской литературы Н. С. Тарабукина. Ученые записки Института языка, литературы и истории Якутского филиала Академии наук СССР, вып. 3, стр. 204—215 (Якутск).
217. Героическая оборона Петропавловска-на-Камчатке, лит.-худож. альманах «Советское Приморье», 18, стр. 257—276 (Владивосток).
218. Изобразительное искусство народов Дальнего Востока, «Дальний Восток», № 6, стр. 160—169 (Соавтор: С. В. Иванов).
219. Рецензия: С. Бытовой, На счастливой реке, «Советский писатель», Л., 1954. — «Советская этнография», № 1, стр. 160—162 и отд. отт.
220. Рецензия: Л. И. Леонов, В высоких широтах (записки натуралиста), Географгиз, М., 1953, 120 стр. с иллюстр. и портр., 2-е изд., 1954; В. М. Сдобников, По арктической тундре (очерки натуралиста), Географгиз, М., 1953, 128 стр. с иллюстр. — Известия Всес. географ. общ-ва, т. 87, вып. 2, стр. 189—190 (Соавтор: А. Л. Биркенгоф).
221. Рецензия: В. Н. Скалон, По Сибири. В помощь туристам, Профиздат, М., 1953, 83 стр. с иллюстр. — Известия Всесоюз. геогр. общ-ва, т. 87, вып. 1, стр. 81—83 (Соавтор: А. Л. Биркенгоф).

## 1950—1955

Большая советская энциклопедия.  
2-е издание. Статьи (без подписи)

222. Арктические народы, т. 3, стр. 35.
223. Богораз-Тан. В. Г., т. 5, стр. 355—356.
224. Камчадалы, т. 19, стр. 552.
225. Ненцы, т. 29, стр. 420.
226. Парка, т. 32, стр. 115.
227. Пимы, т. 33, стр. 46.
228. Саами, т. 37, стр. 554.
229. Селькупы, т. 38, стр. 422.
230. Сибиряковская экспедиция, т. 38, стр. 661.

## 1956

231—233. Народы Сибири, Под редакцией М. Г. Левина и Л. П. Потапова. Академия наук СССР. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Л., 1083 стр. с многочисл. иллюстр. таблицами и вкл. картой.

М. А. Сергееву принадлежат статьи «Социалистическое строительство у народностей Северной Сибири и Дальнего Востока» (стр. 543—569) и «Тофалары» (стр. 530—539), а также редакция «Списка литературы» (стр. 993—1016).

Более широкое участие М. А. Сергеева в этом издании видно из следующего.

Подготовка первого варианта, под руководством М. А. Сергеева и Г. Н. Прокофьева, была начата в 1937 г. и завершилась в 1941 г. рукописью «Народы Сибири и Дальнего Востока», Том IV издания «Народы СССР». Под редакцией М. А. Сергеева (Институт этнографии Академии наук СССР, Л., 1937, 896 стр.). Второй вариант, составлявший том V издания «Народы мира» и носивший название «Народы Северной Азии», закончен под редакцией М. А. Сергеева в 1945 г. Третий и четвертый варианты готовились с 1945 г. по 1949 г. включительно в двух полотомах. В 1950 г. участие М. А. Сергеева, в качестве редактора-организатора, прекратилось.

В упомянутых вариантах М. А. Сергееву принадлежали следующие ра-

боты, частично вошедшие в появившееся в 1956 г. издание «Народы Севера», но не указанные в предисловии (стр. 5—8):

1. От редакции издания (предисловие к многотомнику «Народы СССР»), 5 стр. (соавтор: Н. А. Кисляков).

2. От редакции тома (предисловие к тому «Народы Сибири и Дальнего Востока»), 17 стр.

3. Одна из вступительных статей «Пути некапиталистического развития народов Сибири и Дальнего Востока», 80 стр.

4. Третья часть статьи «Якуты» («Социалистическое строительство у якутов»), 20 стр. (соавтор: Н. Н. Грибановский).

5. Третья часть статьи «Эвены» («Социалистическое строительство у эвенов»), 20 стр.

6. Исторический раздел статьи «Чукчи», 5 стр.

7. Список литературы, 33 стр. (совместно с А. А. Поповым).

8. Указатель терминов, 18 стр. (совместно с А. А. Поповым).

Сообщения: Новые труды советских этнографов о Крайнем Севере, «Ленинградская правда». 1944. 27 декабря, № 307: Народы мира, т. V, Народы СССР. Северная Азия. Отв. редактор С. П. Толстов. Редактор тома М. А. Сергеев, 45 авт. листов. Рефераты научно-исследов. работ за 1944 г. Отделение истории и философии, издательство Академии наук СССР, М., 1945, стр. 41; Н. Н. Степанов, В Институте этнографии Академии наук СССР, Краткие сообщения Института этнографии, I, 1946, стр. 114; М. Рабинович, Институт этнографии в годы Великой Отечественной войны, «Советская этнография», 1946, стр. 227; М. Сергеев, «Народы Северной Азии». Капитальный труд советских ученых, «Ленинградская правда», 1948, 27 августа, № 203; Книга о народах Сибири, «Социалистическая Якутия», 1948, 6 октября, № 237; О томе «Народы Северной Азии» многотомника «Народы мира». Краткие сообщения Института этнографии, V, 1949, стр. 91; Т. Жданко, Работа Института этнографии в 1948 г., «Советская этнография», 1949, № 2, стр. 153; «Народы мира». Новый труд советских ученых, «Вечерний Ленинград», 1949, 14 мая, № 112; «Народы Сибири», «Сталинская трибуна», 1951, 27 октября, № 212 (перепечатано из «Тюменской правды»).

Рецензия: И. С. Вдовин и В. Н. Чернецов, «Сов. этнография», 1958, № 3, стр. 184—190.

234—235. Литература народов Сибири. Сборник статей, Новосибирск, 184 стр. М. А. Сергееву принадлежат: статьи «Литература народов Севера» (стр. 131—168) и сводка «Литература народов Сибири» (Материалы к библиографии) (стр. 169—183).

Рецензия: П. Берков, «Звезда», 1957, № 2, стр. 214—216; В. Одионов, «Советская Сибирь», 1956, 15 июня, № 137 (Новосибирск).

236. Литература народов Крайнего Северо-Востока, лит.-худож. альманах «На Севере дальнем», 5, стр. 181—193.

237—238. Сказки народов Северо-Востока, Под редакцией Н. В. Козлова. Предисловие (стр. 3—16) и комментарии М. А. Сергеева, Магадан, 327 стр.

Рецензия: П. Скорик, «Магаданская правда», 1956 г., 16 декабря, № 293.

239. Изобретатели письменности (из истории национального строительства на Севере), лит.-худож. альманах «На Севере дальнем», 4, стр. 141—149.

240. Изобразительное искусство народов Сибири, «Сибирские огни», № 4, стр. 155—168 (соавтор: С. В. Иванов).

241. Марк Константинович Азадовский, «Сибирские огни», № 1, стр. 172—174 (напеч. без авторской корректуры, в искаженном виде).

242. Неутомимый исследователь, Памяти В. П. Зиссера, лит.-худож. альманах «На Севере дальнем», 4, стр. 179—180 (некролог принадлежит М. А. Сергееву и В. Н. Скалон).

243. Памяти А. Н. Орловой, «Сибирские огни», № 6 (некролог принадлежит М. А. Сергееву, Е. Д. Петряеву и В. Н. Скалон).

244. Рецензия: Новинки о Крайнем Севере (информация об успехах науки и передового опыта). Бюллетень научно-технической информации Научно-исследовательского института полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства, № 1, Л., — лит.-худож. альманах «На Севере дальнем», 4, стр. 176—177.

245. Рецензия: Новинки о Крайнем Севере. Борьба с волками в тундре. В. П. Макридин. Использование самолета для борьбы с волками. Архангельск, 1955. — лит.-худож. альманах «На Севере дальнем», 4, стр. 177—178 (подпись М. С. Михайлов, ошибочно указан соавтор В. Н. Скалон).

246. Рецензия: Содержательная книга о преображенном крае («Преображенный край», Магадан, 1956) — «Магаданская правда», 30 июня, № 151.

247. Рецензия: Преображенный край. Сборник, Магадан, 1956, 400 стр. — журн. «Дальний Восток», № 6, стр. 179—180.

248. Рецензия: Авиоохота на волка. В. П. Макридин, Использование самолета для борьбы с волками, Архангельск, 1955. — газ. «Советский Таймыр», 9 октября, № 121 (Дудинка).

249. Рецензия: Борьба с волками в тундре (В. П. Макридин, Использование самолета для борьбы с волками, Архангельск, 1955) — газ. «Крайний Север», 13 октября, № 203 (Салехард).

250. Рецензия: Журнал северного студенчества («Северник», Журнал студенческого научного общества, 1 Ленингр. гос. педагогич. ин-т им. Герцена. Факультет народов Севера, 1955, 103 стр.) — «Красный Север», 16 октября, № 205 (Салехард).

251. Рецензия: Журнал северной молодежи. Хорошая инициатива студентов Института им. Герцена. — «Советская Чукотка», 5 октября, № 198 (Анадырь).

252. Рецензия: Новый бюллетень о Крайнем Севере (Бюллетень научно-технической информации Научно-исследовательского института полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства, № 1, Л., 1956) — газ. «Красный Север», 10 октября, № 201 (Салехард).

253. Рецензия: Путешествия Сергея Владимировича Обручева, лит.-худож. альманах «На Севере дальнем», 5, стр. 198—201 (соавтор: А. Л. Биркенгоф).

254. Рецензия: Известия Иркутского сельскохозяйственного института, вып. 6, 1955. — Зоологический журнал, т. XXXV, вып. 12, стр. 1911—1912 и отд. отд. (соавтор: В. М. Сдобников).

1957

255. Малые народы Советского Севера, Магаданское книжное издательство, 156 стр.

Рецензии: И. Вдовина, газ. «Магаданская правда», 1958, 9 марта; Н. Н. Дикова, Записки Чукотского краеведческого музея, вып. 1, Магадан, 1958, стр. 75—76.

256—258. Северные сказки о животных, Подготовил М. А. Сергеев, Магаданское книжное издательство, 127 стр. с иллюстр. М. А. Сергееву принадлежат также: Предисловие (стр. 3—4, без подписи) и «Словарик местных слов» (стр. 124).

259—261. Верный друг, Сказки эвенков. Записал и перевел И. И. Суворов. Редакция М. А. Сергеева, Новосибирск, 84 стр. с иллюстр. М. А. Сергееву принадлежит также вступительная статья «Эвенки и их сказки» (стр. 3—4) и «Словарик местных и эвенкийских слов» (стр. 81—82).

Рецензия: М. Н. Николаев, «Советская Эвенкия», 1957, 8 сентября, № 103.

262. Культура народов советского Крайнего Севера за сорок лет. Forty years of cultural development of the Soviet northern peoples. By

М. А. Sergeyev (Resumé), Вестник истории мировой культуры, Сентябрь-октябрь, 1957, 5, Академия наук СССР, Отделение исторических наук, стр. 165—181 (Л.).

263—266. И. С. Архинчеев, Материалы для характеристики социальных отношений чукчей в связи с социалистической реконструкцией хозяйства, Сибирский этнографический сборник, II, Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Новая серия, т. XXXV, стр. 43—98 и отд. отт. М. А. Сергееву принадлежат переработка, редактura, вступ. статья (стр. 38—43) и примечания (напечатана без авторской корректуры, с искажением). — Она поможет познать многое (сокращенная вступит. статья М. А. Сергеева к работе И. С. Архинчеева), «Советская Чукотка», 26 июля, № 145.

Рецензия: Н. Н. Дикова, Зап. Чукот. краеведч. музея, вып. I, Магадан, 1958, стр. 75—76.

267. Потери науки. Памяти А. Н. Орловой, Известия Всесоюз. географич. общ-ва, т. 89, № 1, стр. 71—72 и отд. отт. (соавтор: Е. Д. Петряев).

268. Памяти А. Н. Орловой, альманах «Новая Сибирь», кн. 36, стр. 343—345, Иркутск (соавторы: Е. Д. Петряев, В. Н. Скалон).

269. Рецензия: Народы Сибири (Народы Сибири, Академия наук СССР. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Л., 1956). — «Советская Чукотка», 3 октября, № 194.

270. Рецензия: Новые исследования о народах Чукотки (Сибирский этнографический сборник, II, Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Новая серия, т. XXXV, Л., 1957). — «Советская Чукотка», 12 октября, № 201.

271. Рецензия: Северник, Журнал студенческого научного общества, I. Гос. педагогич. ин-т им. Герцена, факультет народов Севера, Л., 1955, 103 стр. — «Сибирские огни», № 1, стр. 188.

272. Рецензия: Мастерство натуралиста (В. М. Сдобников, По тайге и тундре. Записки натуралиста, Изд. 2-е перераб. и дополн., Географгиз, М., 1956) — «Дальний Восток», № 1, стр. 186—187 (соавтор: А. Л. Биркенгоф).

273—274. Телеграмма из города Ленина, Авраменко, Бытовой, Гор, Далецкий, Саянов, Сергеев, Федоров, «Советская Чукотка», 7 ноября, № 220.

То же, на чукотском яз.: «Ленинградгыпы Анадырь», редакциягты «Советкэн Чукотка», Авраменко, Бытовой, Гор, Далецкий, Саянов, Сергеев, Федоров, «Советкэн Чукотка», 7 ноябрьх, № 219.

275. Ленинградгыпы Анадырь, редакциягты «Советкэн Чукотка», Вдовин, Иванов, Окладников, Потапов, Сергеев, «Советкэн Чукотка», 7 ноябрьх, № 219.

## 1958

276. Развитие экономики и культуры малых народов Севера в годы Советской власти. В кн.: Дальний Восток за 40 лет Советской власти, Академия наук СССР, Сибирское отделение. Дальневост. филиал АН СССР им. В. Л. Комарова, г. Комсомольск-на-Амуре, 554 стр. и отд. отт. (стр. 73—91) (напеч. без авторской корректуры).

277. Рецензия: Книга о Дальстрое (Дальстрой, К 25-летию, Магад. книжн. изд., 1956, 239 стр.: с иллюстр. Тираж 10000. Цена 6 р. 80 к) — «Дальний Восток», № 5, стр. 188—190.

278. Рецензия: Труды Сибирских музеев (Якутский республ. краеведч. музей им. Емельяна Ярославского, Сборник научных статей, Выпуск II, Якутск, 1957, 185 стр. — Магаданский областной краеведч. музей. Краеведческие записки, вып. I, Магадан, 1958, 108 стр.) — «Сибирские огни», № 12, стр. 181—183.

279. Рецензия: Тувинская поэзия (Поэты Тувы, Книга стихов. Составление и предисловие Д. Романенко. Под ред. А. Жарова, Кызыл, 1956, 182 стр.). — «Сибирские огни», № 1, стр. 177—179 (соавтор: Ген. Гор).



280. Рецензия: Н. М. Кокосов, В. И. Никулин, В. И. Харин, Ханты — Мансийский национальный округ (Очерки природы и хозяйства). Уральский филиал АН СССР, Свердловск, 1956. — Известия Всесоюзн. географич. общ-ва, т. 90 (соавтор: А. Л. Биркенгоф).

#### 1959

281. Искусство народов Амура, Каталог выставки. Материалы выставки собраны и каталог составлен художником Е. К. Эвенбах. Ответственный редактор и автор вступительной статьи М. А. Сергеев. Ленингр. Союз советских художников, «Художник РСФСР», Л., 60 стр. с заст. и конц. и 17 табл. иллюстр.

Рецензия: В. Зенкин, «Декоративное искусство», 1960, № 4, стр. 31—32, 5 рис.

282. Рецензия на книгу «Дальстрой» (1931—1956). — «Проблемы Севера», вып. 3. Комиссия по проблемам Севера Совета по изучению производительных сил. Академия наук СССР, М., стр. 199—204 и отд. отт.

283. Рецензия: Книжки и брошюры о Хабаровске, «Сибирские огни», № 2, стр. 170—172.

284. Рецензия: Классический труд об охоте в Сибири [А. А. Черкасов, Записки охотника Восточной Сибири (1856—1863)]. Вступит. статья, подготовка текста и примечания Е. Д. Петряева, Чита, 1958, 352 стр.) — «Сибирские огни», № 10, стр. 184—185.

285. Рецензия: Полезное издание (Магаданский оленевод, Бюллетень Магад. обл. управл. сельским хозяйством, вып. I, Магадан, 1958), «Магаданская правда», 14 января, № 11 (соавтор: С. Друри).

#### 1960

286. Как был издан роман «Разгром», В кн.: А. Фадеев, Письма к дальневосточникам. А. Фадеев в воспоминаниях, Владивосток, 1960, стр. 519—520 (без авторской корректуры).

287. M. Sergejeus, Par pagajuso, В кн.: Ianis Lutere-Bobis lappuses no revolucionara pagridnieka dzives. Rakstu krajums sastadijis A. Lutere. Latvijas valsts izdevnieciba, Riga, стр. 235—243, 314, 322.

288. Историческое прошлое Камчатки, В кн.: Проблемы развития производительных сил Камчатской области, Акад. наук СССР. Совет по изуч. производит. сил. Сектор природных ресурсов и экономики Севера, М., 1960, Приложение, стр. 398—419.

#### 1961.

289. Рецензия: Врач, исследователь и общественник (Е. Д. Петряев, Н. В. Кирилов — исследователь Забайкалья и Дальнего Востока, Чита, 1960.) — «Дальний Восток», 1961, № 5, стр. 186—187 (Соавтор: В. Н. Скалон).

#### 1962.

290. Комитет содействия народностям северных окраин, Летопись Севера, т. III, Акад. наук СССР. Комиссия по проблемам Севера, Госуд. изд. геогр. лит-ры, М., 1962, стр. 72—81.

291. Из прошлого. В кн.: Янис Лутер-Бобис, Страницы жизни революционера-подпольщика. Сборник статей и воспоминаний. Составитель А. Лутер, Латв. госуд. изд-во, Рига, 1962, стр. 311—320.

292. Василий Иннокентьевич Подгорбунский (Некролог), Известия Всесоюз. Географ. общ-ва, т. 94, 1962, № 5, «Потери науки», стр. 447—448 (Совместно с М. М. Лавровым, В. Н. Скалон, А. Н. Окладниковым и др.).

## 1963.

293. Рецензия: Труд по истории Северного морского пути (Д. М. Пинхенсон, Проблема Северно-Морского пути в эпоху капитализма. История открытия и освоения Северно-Морского пути, т. II, изд. «Морской транспорт», Л., 1962, 776 стр.) — Известия Акад. наук СССР, серия географическая, 5, М., 1963 (соавтор: П. А. Гордиенко).

294. Василий Николаевич Скалон. (К 60-летию со дня рождения и 40-летию исследовательской деятельности). Известия Всесоюз. Географич. общ-ва, т. 95, «Юбилей», 1963, стр. 465—466 (соавтор: Е. Д. Петряев).

294—А) Из опыта руководства КПСС некапиталистическим развитием малых народов Советского Севера, «Вопросы истории КПСС», № 8, стр. 98—105.

294—Б) Самураи на Камчатке (Эпизод из русско-японской войны). Летопись Севера, т. IV. Сборник по вопросам исторической географии, истории географических открытий и исследований на Севере. Совет по изуч. производ. сил при Госплане СССР. Комиссия по проблемам Севера. Издат-во соц.-экон. литературы «Мысль», М., стр. 228—236.

294—В) Творчество Н. С. Тарабукина, «Сибирские Огни», № 2, «Литературные портреты», стр. 179—183.

294—Г) Рецензия: Возрожденное издание (Записки Забайкальск. отдела Всесоюз. географич. общ-ва, Чита, вып. XVIII, 100 стр.; т. XIX [труды Геологич. секции], 1913, 148 стр.; т. XX, 1923, 122 стр.) — Известия Всесоюз. геогр. об-ва, т. 96, стр. 361—362 (совместно с Е. Д. Петряевым).

294—Д) Письмо в редакцию (об академическом переиздании труда А. А. Черкасова под редакцией, со вступительной статьей и комментариями Е. Е. Сыроечковского), «Сибирские Огни», № 3, стр. 190—192 (совместно с В. К. Жаровым, И. П. Копыловым и др., всего 13 подписей).

## II. Редактура.

295. Первый финансовый съезд Северной области. Краткий отчет, Экспедиция заготовления государственных бумаг, Пг., 1918, 39 стр.

296. Первый финансовый съезд Северной области. Стенографический отчет, Экспед. заготовл. госуд. бумаг, Пг., 1918, 131 стр.

297. Петроградский монетный двор, Отчет за 1922 г., Пг., (6 г.), 31 стр.

298. Отчет о деятельности Петроградского монетного двора за время с 1 января по 1 октября 1923 г., Пг., (6 г.), 91 стр., 48 диаграмм, 2 чертежа.

299. Banque de L'Etat. R.S.F.S.R. Moscou, 1923, 42 p.

300. Н. Анциферов, Б. Брюллов, В. Конашевич, В. Макаров, Э. Нэф, О. Рындина, Т. Сапожникова, Окрестности Ленинграда, Путеводитель. Под редакцией Б. П. Брюллова и М. А. Сергеева, Гос. изд., Л., 1927, 384 стр., 30 иллюстр., 7 карт, 5 планов и справочные сведения (31 стр.).

301. Н. Анциферов и О. Рындина, Детское село, Под редакцией Б. П. Брюллова и М. А. Сергеева, Гос. изд., Л., 1927, 96 стр., 7 рис. и карта.

302. В. Конашевич, Павловск, Под редакцией Б. П. Брюллова и М. А. Сергеева, Гос. изд., Л., 1927, 96 стр., 10 рис. и карта.

303. В. Макаров, Гатчина, Под редакцией Б. П. Брюллова и М. А. Сергеева, Гос. изд., Л., 1927, 72 стр., 7 рис. и карта.

304. Т. Сапожникова, Петергоф. Ораниенбаум. Стрельна, Под. ре-

дакцией Б. П. Брюллова и М. А. Сергеева, Гос. изд., Л., 1927, 144 стр., 18 рис. и карта.

305. Минувшие дни, Иллюстрированный исторический альманах. Под редакцией М. А. Сергеева и П. И. Чагина, 1—4, изд. «Красной газеты», Л., 1927—1928.

Рецензии: Л. Мамет, «Красная печать», 1928, № 5, стр. 47—49; У. Фридланд, «Коммунистическая революция», 1928, № 23—24, стр. 26; А. В. Шестаков, «Историк-марксист», 1928, т. 7, стр. 276—277; J. W. Bienstock, *Mesure de France*, t. CCIII, Paris, 1928, p. 232—233.

306. Вокруг света, Журнал путешествий, открытий, изобретений, приключений, изд. «Красной газеты», Отв. редактор М. А. Сергеев, Л., 1929, №№ 6—52.

307. Сборник литературных материалов для ШКМ. Составили: Я. Б. Кузьминов, С. М. Лубэ и В. Е. Поляков под редакцией М. А. Сергеева, Гос. учебно-педагогич. изд., Л., 1931, 104 стр.

308. В. Александров, И. Котов, М. Мушкин, Фабрика имени Степана Халтурина. Работы — ударники политехнической школе. Серия под общей редакцией М. А. Сергеева, Гос. учебно-педагогич. изд-во, Л., 1931, 88 стр. с иллюстр.

309. В. Ершин, В. Михалев, И. Каравашкин..., Плюс электрификация. Завод «Электроаппарат». Работы — ударники политехнической школе, Гос. учебно-педагогич. изд-во, Л., 1931, 96 стр. с иллюстр.

310. Спеваконская, Востоков, Болтушкин, Товарищ Большой Казицкий. Завод им. Казецкого, Работы-ударники — политехнической школе, Гос. учебно-педагогич. изд-во, Л., 1932, 72 стр. с иллюстр.

311. Н. Пинегин, В стране песцов. Иллюстрации автора, Изд. писателей в Ленинграде, 1932, 247 стр.

312. Ан. Скачко, Народы Крайнего Севера и реконструкция северного хозяйства. Научно-исследов. ассоциация Института народов Севера ЦИК СССР, Ленпартиздат, Л., 1934, 73 стр. (верстка).

313. М. А. Дьяконов, Четыре тысячи миль на «Сибирякове». Рис. Л. Канторовича, Изд. писателей в Ленинграде, 1934, 60 стр.

314. Лев Канторович, Холодное море. Автолитографии и рисунки автора, Изд. писателей в Ленинграде, 1934, 72 стр.

315. Тан-Богораз, Чукчи, изд. Инст-та народов Севера ЦИК СССР, Л., 1934, 191 стр. (верстка).

316. С. Б. Окунь, Очерки по истории колониальной политики царизма в Камчатском крае [Кандидатская диссертация], Соцэкгиз, Л., 1935, 151 стр.

317. Н. М. Ковязин, В. М. Крылов, А. Г. Подэкрат, Очерки по промысловому хозяйству и оленеводству Крайнего Севера [Сборник работ аспирантов]. Научно-исследоват. ассоциация Ин-та народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича. Известия, вып. 5, изд. Ин-та народов Севера, Л., 1936, 116 стр.

318. Библиография Дальневосточного края, 1890—1931. Редакц. коллегия: акад. В. Л. Комаров, А. Н. Асаткин, В. А. Самойлов, М. А. Сергеев, И. И. Яковкин, т. XIV, Геодезия. Картография. Редактор М. А. Сергеев. Дальневосточный краевой исполнительный комитет, изд. АН СССР, Л., 1937, 661 стр. (верстка).

319. Б. Н. Вишняковский, Антропология народов Севера. Ин-т антроп. и этногр. АН СССР. Научно-исслед. ассоц. Ин-та народов Севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича, изд. АН СССР, М., 1937 (верстка).

320. И. Н. Устюжанинов, Шантарские острова, изд. АН СССР, М., 1937 (верстка).

321. Н. П. Никольшин, Первобытные производственные объединения и социалистическое строительство у эвенков [Кандидатская диссертация]. Научно-исследов. ассоциация Ин-та народов Севера им. П. Г. Смидовича, изд. Главсевморпути, Л., 1939, 144 стр.

322. А. А. Рылов, Воспоминания, гос. изд. «Искусство», Л., 1940, 232 стр. с вкл. портр. и иллюстр. в тексте.

323. Шорский фольклор, Записи, перевод, вступит. статья и примечания Н. П. Дыренковой. Ин-т этнографии АН СССР. Фольклорная комиссия, изд. АН СССР, Л., 1940, 448 стр.

324. Иван Кратт, Остров Баранова, «Звезда», 1945, №№ 1—4.

325. Т. П. Кравец, Петр Николаевич Лебедев и его творчество, В кн.: Петр Николаевич Лебедев. Библиографический указатель. Сост. А. М. Лукомская под ред. К. И. Шафрановского, изд. АН СССР, Л., 1950, стр. 11—32.

326. С. В. Славин, Экономика Сибири и освоение плаваний в Сибирь через Карское море в эпоху развития капитализма в России, Ученые записки Ленингр. госуд. ун-в., № 115, Факультет народов Севера, вып. I, Л., 1950, стр. 141—214.

327. В. Н. Увачан, Советская Эвенкия, Ученые записки Ленингр. госуд. ун-в., № 115, Факультет народов Севера, вып. I, Л., 1950, стр. 117—134.

328. В. Н. Скалон, Русские землепроходцы — исследователи Сибири XVII века, Московское общество испытателей природы, М., 1951, 199 стр.

329. В. Н. Увачан, Переход к социализму малых народов Севера (по материалам Эвенкийского и Таймырского национальных округов), Госполитиздат. М., 1958, 184 стр.

330. Ходжер Григорий, Чайки собираются над морем. Повесть, «Советский писатель», Л., 1960, 211 стр.

331. И. С. Гурвич, К. Г. Кузак, Корякский национальный округ (Очерки географии, истории, этнографии, экономики). Редактор М. А. Сергеев. Акад. наук СССР. Комиссия по проблемам Севера Совета по изуч. производит. сил при Президиуме Академии наук СССР, Инст-т этнографии им. Миклухо-Маклая, М., 1960, 302 стр.

332. Север поет, Стихи поэтов Крайнего Севера. Редакторы-составители Г. С. Семенов и М. А. Сергеев, «Советский писатель», Л., 1961, 340 стр. с шмуцтитулами, заставками и концовками.

Рецензия: Д. Романенко, «Литература и жизнь», 1962, 25 марта. Кроме того, М. А. Сергеев принимал участие в редакционной работе:

Издательства Петросовета (1918—1919).

Народного Комиссариата финансов (1918—1923).

Отдела переводной литературы Ленгиза и Ленинградского отделения Госиздата (1922—1929).

Издательства «Прибой» (1925—1927).

Книжного отдела Издательства «Красной газеты» (1927—1929).

Издательства Academia (1926—1929).

Издательства «Земля и фабрика» (1927—1929).

Издательства писателей в Ленинграде (1928—1935).

Научно-библиографического отдела Библиотеки Академии наук СССР, в частности, по «Библиографии Якутии» и «Библиографии Дальневосточного края» (1930—1949).

Научно-исследовательского института оленеводства (1931—1934).

Научно-исследовательской ассоциации Института народов Севера ЦИК СССР (1932—1940).

Северной редакции Партиздата (1933—1934).

Издательства Академии наук СССР (1933—1937).

Научно-исследовательского Института полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства (1934—1944).

Института антропологии и этнографии Академии наук СССР (1937—1949).

Военно-Морского издательства (1940—1941).

Издательства «Молодая Гвардия» (1948—1950).

### III. Об М. А. Сергееве<sup>1</sup>

1. Петряев, Е. в г., Михаил Алексеевич Сергеев, «Сибирские огни», 1963, № 4, стр. 165—169.

<sup>1</sup> Рец. на отдельные работы М. А. Сергеева см. в разделах I—II.

2. Он же, Следопыт Севера, «Уральский следопыт», 1963, № 5, стр. 77.
3. Селитренник, Э., Друг чукотского народа, «Советская Чукотка», 1963, 13 апреля, № 91 (Анадырь).
4. Тюрденев, А.; Кузаков, К., Кандидаты экономических наук. Крупный северовед, «Магаданская правда», 1963, 4 августа, № 182 (8269).
5. Они же, Знаток Севера, «Советская Эвенкия», 1963, 11 мая, № 56 (3305).
6. Они же, Крупный северовед, «Советский Таймыр», 1963, 21 мая, № 62 (Дудинка).
7. Вступительная заметка редакции к статье: М. А. Сергеев, Самурай на Камчатке, Летопись Севера. IV, М., 1964, стр. 228—229 (см. № 294—Б).

## ОБ ОДНОМ ЗАМЫСЛЕ А. М. ГОРЬКОГО (ВОСПОМИНАНИЯ)

М. А. Сергеев

В 1925 г. мне предстояла длительная поездка за границу: в Германию и Италию. Пользуясь этим, заведующий Ленгиз'ом И. И. Ионов<sup>1</sup>, связанный со мною личными и служебными отношениями, дал мне несколько поручений, касавшихся издательства. Наиболее существенным из них были переговоры с находившимся в Италии А. М. Горьким по поводу задуманного им нового журнала «Собеседник».

Нужно напомнить, что Горький издавна был близок к «толстым» ежемесячным журналам, а после революции тяга его к журнальной деятельности усилилась и вышла далеко за рамки обычного интереса к литературно-художественной периодике.

Помнится, еще в 1918 г. он высказывал намерение издавать под своей редакцией внепартийный журнал «Будущее».<sup>2</sup> В 1918—1919 гг. он принял живое участие в подготовке и выпуске детского журнала «Северное Сияние» (органа Народных Комиссариатов просвещения и социального обеспечения).<sup>3</sup> В 1921 г. он участвовал в редакции Петербургского журнала «Дом искусств»<sup>4</sup> и в издании первого советского ежемесячника «Красная новь», а спустя

<sup>1</sup> Ленгиз (Ленингр. Госиздат, ранее — Петрогосиздат) был образован в 1919 г. на базе первого советского издательства, возникшего в феврале 1918 г., — «Издательства Петрогр. Совета раб., крест. и солдат. депутатов». Ленгиз оставался самостоятельным и после организации в Москве, в 1921 г. Госиздата (Гиза). См.: Доклад завед. Ленингр. отдел. Гос. Изд. за 1923—1924 гг. Губерн. исполн. комитету Ленингр. Совета раб., крест. и солд. деп., Л. 1924, стр. 3—4 и сл.; также: И. Ионов, 1917—1918—1923, «Литературный Ежедневник», 1923, № 13, стр. 9. (Пг.). Бессменным руководителем Ленгиза был старый большевик, политкаторжанин Илья Иванович Ионов.

<sup>2</sup> Возможно, что этот же «литературный внепартийный журнал», тоже под ред. М. Горького, но под другим названием («Завтра») фигурировал в каталоге Библиотеки «Жизнь мира» издательства З. И. Гржебина («Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 3, 1917—1929, М., 1959, стр. 128—129. В дальнейшем ссылки на этот источник приводятся с сокращением названия и без указаний выпуска).

<sup>3</sup> «Северное Сияние». Ежемесячный журнал для детей с приложением книг, учебных пособий и игр. Редакторский коллектив под председательством М. Горького. Пг., 1919, №№ 1—2, 3—4, 7—9, 10—12; 1920, №№ 1—6, 7—12.

<sup>4</sup> «Дом искусств», № 1, Пг., 1921 (на обложке 1920). Редакционная коллегия: М. Горький, М. Добужинский, Евг. Замятин, Н. Радлов, К. Чуковский. № 2 (и последний) журнала вышел в том же 1921 г. без участия Горького.

несколько лет — в выпуске «Русского Современника»<sup>5</sup>. Известна горячая поддержка, оказанная Горьким старейшему советскому журналу Сибири — «Сибирские Огни», появившемуся в 1922 г.<sup>6</sup>

Но кроме этой, наиболее близкой ему журнальной области, Горький принимал деятельное участие в организации и редактировании изданий совершенно иного типа: журнала производственной пропаганды для рабочих «Наш журнал» (1921) и информационного журнала «Наука и ее работники»<sup>7</sup> (1921—1922).

После отъезда в 1921 г. за границу Горький задумал издавать там внепартийный журнал «Путник», предназначенный для России. Намерение Горького, возможно, возникло в связи с тем, что не осуществилось предположенное в Петербурге в 1922 г. издание журнала «Новая Европа», во главе с Е. И. Замятиным и К. И. Чуковским. Журнал этот предназначался для освещения литературной и художественной жизни Запада<sup>7-а</sup>. Так или иначе, но весной 1922 г., живя в Берлине, Горький занялся вплотную подготовкой издания и обратился ко многим выдающимся европейским писателям с просьбой об участии в журнале и помощи ему в присылке необходимых сотрудников. Известны письма его по этому поводу Ромен Роллану, Эптону Синклеру, Герберту Уэллсу, Стефану Цвейгу, Бернарду Шоу, Францу Эллису<sup>8</sup>.

По замыслу Горького, журнал должен был знакомить советского читателя с литературной и научной жизнью Запада. Таким информационным задачам он придавал огромное значение, что сказалось особенно сильно в переписке его с Г. Уэллсом. Так, сообщая в письме от 16 апреля 1922 г. о назначении журнала, Горький писал: «...издание — совершенно необходимое для моих соотечественников, как вы знаете, несколько одиночавших за восемь лет почти полного отчуждения от европейской жизни».<sup>9</sup> В другом письме тому же адресату, от 21 февраля 1923 г., он выразил эту мысль еще ярче: «... Так хочется дать своей стране возможность ознакомиться с духовной жизнью Европы, от которой Россия оторвана. Мне кажется, что в наши безумные дни работа разума должна быть особенно подчеркнута. Мы как бы забыли организующее и спасительное значение труда, огромную роль духа».<sup>10</sup>

Прогрессивные европейские писатели прекрасно понимали роль Горького в развитии культурных связей России с Западом. Так, в письме к нему Ромена Роллана от 18 марта 1918 г. мы читаем следующее: «Вы были подобны высокой арке, соединяющей два мира, прошлый и будущий, а также Россию и Запад. Приветствую арку! Она царит над дорогой, и те, которые придут вслед за нами, еще долго будут ее видеть».<sup>10а</sup>

Аналогичную оценку этой деятельности Горького дал Г. Уэллс после

<sup>5</sup> «Русский Современник». Литерат.-худож. журнал, издаваемый при ближайшем участии М. Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова, К. Чуковского, Абр. Ефроса. Издатель Н. И. Магаром. Отв. ред. А. Н. Тихонов. кн. 1—4. 1924 (Л.).

<sup>6</sup> «Горький и Сибирь». Письма, воспоминания. Состав. С. Е. Кожевников, А. Л. Коптелов, Новосибирск, 1961, стр. 31—34; также: «М. Горький и сибирские писатели». Сборник воспоминаний. Состав.: С. Кожевников и А. Коптелов, Новосибирск, 1950, стр. 24—28.

<sup>7</sup> «Летопись», стр. 215, 263.

<sup>7-а</sup> Новая русская книга, ежемесячный критико-библиографический журнал, Берлин, 1922, апрель, № 4, Хроника и разные заметки, стр. 31.

<sup>8</sup> Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами, Архив А. М. Горького, т. VIII. М., 1960, стр. 8—9, 12—13, 15, 16, 59, 71—72, 92, 282—283, 307, 310, 318 и др. В дальнейшем ссылки под сокращенным названием.

<sup>9</sup> Там же, стр. 72.

<sup>10</sup> Там же, стр. 73.

<sup>10-а</sup> Там же, стр. 333. Также: Н. Жегалов, Великая дружба. К 90-летию со дня рождения Горького, «В мире книг», 1963, № 2, стр. 23 (М.).

своей поездки в Россию в 1920 г.: «Он глубоко и страстно убежден, — писал Уэллс о Горьком, — в ценности западной науки и культуры и в необходимости сохранения связи русской умственной жизни с общей умственной жизнью человечества в эти сумрачные годы голода, войны и общественных бедствий. Он нашел себе надежную опору в лице Ленина»<sup>10-6</sup>.

Наиболее подробно журнальное начинание Горького освещено в упомянутом письме Уэллсу от 16 апреля 1922 г. Там сообщается предположенный состав сотрудников: русских (С. П. Костычев, С. Ф. Ольденбург, И. П. Павлов, С. Ф. Платонов, Б. И. Словцов, Ю. А. Филиппенко) и западно-европейских ученых (Д. Кейнс, Ф. Нитти, О. Шпенглер, Э. Штейнах, А. Эйнштейн), русских писателей (А. Белый, А. Ремизов, А. Толстой и др.) и европейских литераторов (Гвидо да Верона, Келлерман, Т. Манн, П. Милль, Р. Роллан, К. Фаррер, Цукколи). Далее следует просьба к Уэллсу лично участвовать в журнале, пригласить по его усмотрению английских литераторов и рекомендовать сотрудника для периодических обзоров английской литературы<sup>11</sup>. С аналогичными просьбами Горький обратился в мае 1922 г. и к Ромену Роллану<sup>12</sup>.

Очень заботился он о привлечении иностранных ученых для освещения новейших успехов европейской науки, особенно в области физики, исследований радия и теории атома. Он просит Уэллса и Шоу привлечь выдающихся английских ученых Эрнеста Резерфорда и Фредерика Содди к участию в журнале и указать авторов для статей об их трудах<sup>13</sup>.

Горький подчеркивал внепартийный характер журнала. В письмах Шоу, С. Цвейгу, Ромену Роллану он сообщает, что «журнал — аполитический, интернациональный», «посвящен исключительно вопросам искусства, науки и совершенно чужд политики», что «главные редакторы журнала политически совершенно независимые люди; это — профессор А. Пинкевич и Тарле, член Академии наук С. Ольденбург, я и граф Алексей Толстой»<sup>14</sup>.

Весною 1922 г. в петроградской печати появилось следующее сообщение: «В Берлине будет выходить научно-литературный журнал «Путник», предназначенный, главным образом, для распространения в России. Журнал будет выходить по типу старых наших ежемесячников книгами в 25 печатных листов. Главными руководителями журнала будут М. Горький, проф. Ф. А. Браун и акад. С. Ф. Ольденбург. В литературном отделе журнала примут ближайшее участие гг. А. Н. Толстой и А. М. Ремизов. В первых выпусках «Путника» будут напечатаны, между прочим, «Воспоминания» М. Горького. Журнал ставит своей целью всестороннее ознакомление русского читателя с мировой литературой и наукой и с общественно-политической жизнью Запада»<sup>15</sup>.

Тогда же откликнулась на предстоящий выход «Путника» и зарубежная русская печать, сообщавшая, между прочим, что выпускать его будет издательство З. И. Гржебина и что в журнале появятся произведения живущих в России литераторов, приобретенные этим издателем<sup>16</sup>.

Вот из этого-то замысла и возникла известная горьковская «Беседа», которую, после ее прекращения, должен был заменить «Собеседник».

В процессе окончательной подготовки издания первоначальное название «Путник» сменилось новым — «Беседа», изменилась и периодичность журнала и состав руководителей.

<sup>10-6</sup> Г. Д. Уэллс, Россия во мгле, Госиздат Украины, 1922, стр. 14.

<sup>11</sup> «Переписка», стр. 71—72.

<sup>12</sup> Там же, стр. 333—334.

<sup>13</sup> Там же, стр. 59—60, 73, 323—324.

<sup>14</sup> Там же, стр. 59, 13, 334.

<sup>15</sup> Литературные записки. Литературно-общественный и критико-библиографический журнал, 1922, 25 мая, № 1, Литературная хроника, стр. 20 (Пг.).

<sup>16</sup> Новая русская книга. Ежемесячный критико-библиографический журнал, 1922, май, № 5, Пресса, стр. 44 (Берлин).



Обо всем этом я узнал лично от Алексея Максимовича в Берлине, в апреле 1923 г. Тогда же он сообщил о близком выходе первой книжки «Беседы» и своим намерении поставить об этом в известность «Москву», видимо, для допуска журнала в Россию.

Примерно через месяц появился первый номер журнала.<sup>17</sup>

Поскольку «Беседа» не только в настоящее время, но и в годы ее издания встречалась очень редко, комплекты ее имеются лишь в немногих крупных книгохранилищах, в частных же собраниях обычно отсутствуют, — могут оказаться небезынтересными краткие сведения о журнале.

Задуманная и анонсированная в качестве двухмесячника<sup>18</sup>, «Беседа» выходила очень нерегулярно и просуществовала недолго. Всего с мая 1923 г. по март 1925 г. вышло вместо 12 лишь 6 книг: в 1923 — три, за весь 1924 г. — две и в 1925 г. — одна (сдвоенный номер 6—7). После выхода этой книги в марте 1925 г. журнал прекратил существование.<sup>19</sup>

Содержание «Беседы» отличалось интересным и разнообразным литературно-художественным и научным материалом.<sup>20</sup>

Русская поэзия представлена А. Блоком, Н. Берберовой, С. Киссиным, Н. Оцупом, С. Парноком, Ф. Сологубом, В. Ходасевичем, Н. Чуковским. В превосходном переводе В. Ходасевича опубликована большая поэма известного еврейского писателя С. Черниковского «Свадьба Эльки» (кн. 4 и 5).

В отделе прозы — новые произведения А. Белого («Из воспоминаний» и др.), М. Горького («Из дневника», «О Льве Толстом», «О С. А. Толстой», «Карамора», «Рассказ о необычайном» и др.), И. Каллиникова, В. Лидина, П. Муратова, А. Ремизова, В. Сизова, В. Шкловского, В. Юрезанского. Помещены и пьесы покойного «серапиона» Л. Лунца («Вне закона» и «Город правды»), речь его (1922 г.) «На Запад» и теплая заметка Горького «Памяти Льва Лунца» (кн. 5).<sup>20а</sup>

Из иностранной прозы напечатаны произведения Д. Голсуорси, Л. Пирранделло, Г. и М. Сиерра, М. Синклера, С. Цвейга. Известный востоковед В. М. Алексеев опубликовал в своем переводе старинную китайскую повесть «Царевна заоблачных плущей», а Н. Берберова — балладу немецкого поэта XVIII в. Г. А. Бюргера. Появились и интересные обзоры новейшей иностранной литературы: английской (Голсуорси), немецкой (А. Лютера), американской (Б. Кларка), французской литературы в Бельгии (Ф. Элленса), испанской драматургии (Г. Сиерра). По русской литературе напечатаны новые материалы о Салтыкове-Щедрине (А. Ляковского) и большое исследование В. Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина» (кн. 2, 3, 5—7).<sup>21</sup>

<sup>17</sup> «Беседа». Журнал литературы и науки, издаваемый при ближайшем участии проф. Б. Ф. Адлера, Андрея Белого, проф. Ф. А. Брауна, М. Горького и В. Ф. Ходасевича. Книга 1—6/7, 1923—1925 (Берлин). (На двух последних книгах не значится проф. Адлер, а в самой последней — и А. Белый).

<sup>18</sup> Чрезвычайно скупой титул журнала умалчивает о сроках выхода, они указаны лишь в объявлениях о «Беседе» в каталогах издательства «Эпоха», приложенных к журналу.

<sup>19</sup> Календарные даты выхода приведены лишь в первых трех выпусках, на остальных отсутствовали указания на месяц, а иногда даже на год издания. Время их появления устанавливается лишь типографскими данными.

<sup>20</sup> Подробный состав сотрудников помещен в каталогах изд-ва «Эпоха» (кн. 2 и след. «Беседы»).

<sup>20а</sup> В «Беседе», как и в некоторых других берлинских русских журналах и альманахах, печатались в те годы и советские, и проживавшие за границей русские писатели.

<sup>21</sup> Первая часть этой работы появилась в отдельном издании в Ленинграде (Изд-во «Мысль», 1924), но в сильно искаженном виде, что и вызвало протест автора (кн. 6—7, «Беседы», стр. 478—479).

Несомненную ценность представляла и научная часть журнала, хотя сам Горький и опорочивал ее впоследствии.<sup>22</sup>

Оригинальные и на высоком научном уровне публикации крупных ученых освещали новейшие течения научной мысли Запада в различных областях знания.

Особенно интересными были статьи по гуманитарным наукам, в частности, по археологии и древней истории. Известному германисту Ф. А. Брауну принадлежат исторические и филологические изыскания: «Первобытное население Европы», «Варяги на Руси» и «Заимствованные слова» (на немецко-французском и русско-немецком языковом материале). Проф. Штейндорф опубликовал сообщение о нашедшей в те годы находке гробницы Тутенхамона, Ф. Биркнер — о доисторической археологии Европы, а К. Шухгардт — по славянской археологии в Германии (о древних западных, полабских славянах). Обзорную статью о развитии этнографической науки в Германии дал проф. К. Войле. Несколько публикаций освещали современную культуру Бельгии (Ф. Элленс), Греции (П. Якобсталь) и Америки (В. Петерс). О немецком философе Эрнсте Трельч напечатал статью проф. Т. Литт; Ромен Роллан опубликовал обширное исследование о жизни, деятельности и учении Махатма Ганди и статью о Ренане. Физика представлена работами проф. О. Викера (о Рентгене), Л. Ульвига (о теории относительности и атомистике) и Г. Шмидта (о теории относительности и радиотелефонии). Разнообразный информационный материал сообщали и завершавшие томики журнала отделы «Смесь», «Научные заметки» и «Библиография», содержавшие сведения об экспедициях, рецензии о научных новинках, обзоры европейской периодики и т. д.

В книжке пятой журнала редакция сообщила о значительном расширении научного отдела и приглашении в качестве его руководителей новых крупных ученых. Однако после этого появился лишь один, последний выпуск «Беседы» (кн. 6—7, 1925).

Причины неожиданного прекращения журнала остались неизвестными. По мнению некоторых его сотрудников, вызвано это было большой убыточностью «Беседы». Издание было рассчитано на распространение в России, но предположение это совершенно не оправдалось. Подписка на журнал отсутствовала. Отдельные книжки его то разрешались к ввозу и продавались в розницу, то не допускались — причем запрет отнюдь не вызывался содержанием того или иного номера — и проникали лишь случайно. Тем самым журнал не оправдывал своего назначения знакомить русского читателя с литературой и наукой Запада. В этих условиях инициатором прекращения «Беседы» мог быть и сам Горький, выражавший недовольство таким ее положением. Возможно, однако, что решение это исходило от издательства «Эпоха» в виду убыточности журнала<sup>23</sup>.

Нужно заметить, что почти одновременно с «Беседой» закрылся и другой журнал — «Современный Запад»<sup>24</sup> — с такими же задачами, выпускавшийся в Петербурге, несомненно по инициативе или с помощью Горького, издательством «Всемирная Литература».

Вскоре после прекращения «Беседы» Горький предпринимает очередную попытку издания нового журнала («Собеседник»), такого же типа и назна-

<sup>22</sup> См. ниже (стр. 206—207) записку Горького о журнале «Собеседник».

<sup>23</sup> Указание «Летописи» (стр. 372), что издателем «Беседы» являлся С. Г. Каплун, основано на недоразумении: С. Г. Каплун-Сумский, журналист и секретарь «Дома искусств» в Берлине, возглавлял берлинское отделение Петроградского издательства «Эпоха», выпускавшее «Беседу».

<sup>24</sup> «Современный Запад». Журнал литературы, науки и искусства. Редакционная коллегия: Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов, К. И. Чуковский. Издательство «Всемирная Литература», кн. 1—2, 3—4, 1922—1923 гг.; кн. 1—2 (5—6), 1924.

чения. Как сообщил Ионов перед отъездом моим за границу, Горький еще летом 1925 г. уведомил Госиздат (в Москве) и Ленгиз о намерении выпустить журнал и прислал им небольшую объяснительную записку<sup>25</sup>, переданную мне в копии и гласившую следующее:

### «Собеседник»

#### Журнал Научно-Литературный

Цель: Дать новому русскому читателю картину — возможно полную — научной и литературной жизни Европы и обеих Америк.

Беллетристика, стихи — переводы наиболее резко очерченных современных авторов Европы и обеих Америк.

Статьи по истории и теории современной литературы. О попытках создать новые формы словесного творчества, о распаде старых идеологий, как этот процесс отражается в творчестве авторов Запада.

Характеристика наиболее читаемых в России писателей: Джека Лондона, О. Генри, Уэллса, Локка и т. д. Критики существующего и «примирители».

Наука. Современные достижения в области положительных наук, прежде всего — в химии, физике, биологии, медицине. Обязательные указания на связь между чисто исследовательскими задачами науки и отражением их в практике, в технике. Подчеркивание основного взгляда науки: в нашем мире нет ничего незначительного, все должно быть исследовано. В основу технически важного открытия Флетнера — замена судовых парусов вращающимися парусами — легко наблюдение над неправильным полетом теннисных мячей. Борьба против Дарвинизма, как одно из частных выражений общей реакции и т. д.

Хроника. Как отражается в Европе и Америке русское искусство. Суждения иностранцев о русских художниках и ученых.

Сотрудники: проф. Ф. А. Браун в Лейпциге, поэт Вячеслав Иванов, М. Горький, проф. А. Старков.

О русской беллетристике не говорится, потому что покамест за границей России молодых сил еще нет, хотя они возникают и организуются. Старые литераторы, конечно, неприемлемы в виду их враждебного отношения к современной России.

Состав редакции: Ф. Браун,<sup>26</sup> Вяч. Иванов, М. Горький. Секретарь для

<sup>25</sup> Очевидно, об этой записке («проекте программы литературно-научного журнала «Собеседник»») упоминается в «Летописи» (стр. 417).

<sup>26</sup> Федор Александрович Браун (1862—1942) — до революции профессор Петербургского университета, декан филологического факультета и проректор. После революции — член коллегии экспертов (по отделу Запада), редактор и председатель редакционной коллегии немецкого отдела «Всемирной литературы». Находясь в длительной служебной командировке Наркомпроса, исполнял поручения наркомата и немало содействовал сотрудничеству Германии и Советской России в области культурной работы. В частности, руководил советской «Постоянной научной комиссией по выписке иностранной литературы» и непосредственно участвовал в организации известной «Выставки немецкой книги 1914—1923 гг.», устроенной Русско-Германским обществом «Книга» в Московском историческом музее в 1923 г., на которую откликнулся статьей на двух языках в специальном выпуске германского журнала «Das deutsche Buch. Sonderheft «Russland» III, 1923, Leipzig. Ф. А. Браун был близок к Горькому и являлся деятельным сотрудником издательства Гржебина, выпускавшего много учебной и научной литературы для Наркомпроса. В то же самое время Браун читал лекции в Лейпцигском университете, удостоившем его степени доктора философии *honoris causa*, и был избран корреспондентом шведской Академии Наук.

переписки с иностранцами, знающий по крайней мере 3 языка кроме русского. Таковой — есть.<sup>27</sup>

На первой поре журнал должен выходить не более 4 или 6 книг в год, ибо собрать достаточно ценный материал не легко.

Научные статьи «Беседы» были совершенно не удовлетворительны.

Каждому переводу с иностранного предпосылаются краткие пояснения и характеристика авторов.

А. Лешков».

25, VII. 25 г.

Даже беглое сопоставление программы «Собеседника» и содержания «Беседы» приводит к мысли о больших принципиальных различиях между ними. Это относится, как видно, к русской беллетристике и, особенно, к научному отделу. Перед последним, в отличие от некоторой бесплановости в «Беседе», в новом журнале поставлены отчетливые задачи: явно господствовала «положительная наука», связь теории с практикой («техникой»).

Мне было поручено передать Горькому положительный ответ на его записку от 25 июля 1925 г. и решить с ним все необходимые вопросы об издании «Собеседника».

Однако, в силу неожиданных обстоятельств, личные переговоры не состоялись, и все дело о журнале было закончено путем переписки.

Не мешая коснуться предварительно одного пограничного эпизода, вызванного именем Горького.

По пути в Италию я провел около недели в Берлине, встречаясь там, между прочими знакомыми, с лицами, близкими к Горькому. Не помню, кто именно из них — З. И. Гржебин или П. П. Крючков — вручил мне увесистый сверток рукописей с просьбой передать его Алексею Максимовичу.

Мне предстояло пересечь две границы: германо-австрийскую и австро-итальянскую. Переезд через первую прошел благополучно, с минимальными формальностями. Пограничные чины прошли по вагонам и быстро проверили паспорта с визами, без какого-либо досмотра багажа. Иначе произошло в Бренеро, на итальянской границе. И там пограничники лишь бегло взглянули на документы и совершенно не осматривали вещей. Внимание их привлек лишь сверток с крупной надписью «Для Горького». Узнав от меня о содержимом свертка («рукописи для Горького»), старший из них заявил о необходимости досмотра и предложил пройти для этого на вокзал. На мое возражение, что из-за задержки я могу отстать от поезда, меня проводили в багажный вагон, где в пути до следующей станции и состоялся досмотр. И он оказался поверхностным: один из чинов, владевший немного русским языком, просмотрел названия («титульные листы») доброго десятка рукописей, совсем не интересуясь их содержанием.

Лишь впоследствии, уже в Италии, мне стали понятны причины этого события. А корректное поведение пограничников и быстрота всей процедуры объяснялись, видимо, наличием у меня служебного паспорта Народного Комиссариата внешней торговли. Италия в те первые годы фашистского режима была очень заинтересована в торговых отношениях с Советской Россией и принимала особые меры к их развитию.

В Италии я провел сентябрь и октябрь 1925 г., большей частью в Мера-но, где усиленно лечился. Меня навещали отдохавшие там же советские послы Н. Н. Крестинский (в Германии) и П. М. Керженцев (в Италии). В наших беседах часто упоминался Горький: его энергичная и разнообразная литературно-общественная деятельность в интересах Советской России и различные, связанные с нею начинания. П. М. Керженцев, хорошо осведомлен-

<sup>27</sup> Горький имел в виду Марию Игнатьевну Закревскую (Будберг, Бенкендорф) — своего близкого друга и сотрудника.

ный о жизни Горького в Сорренто и встречавшийся с ним лично, сообщил, что Алексей Максимович по-прежнему живо интересуется изданием «Собеседника», ждет ответа из Москвы и предпринимает шаги к привлечению сотрудников будущего журнала. По словам Горького Керженцеву, недавно посетивший его Вяч. И. Иванов тоже относится положительно к выпуску «Собеседника» и согласился войти в его редакцию. Тут же Керженцев, встречавшийся в Риме с Вяч. Ивановым, сказал, что В. И. Иванов давно уже сотрудничает с Госиздатом, и горячо поддержал его желание установить с издательством более тесную связь, а также предложение Иванова исполнить для Гиза новый поэтический перевод Данте.

Переговоры с В. И. Ивановым я отложил до окончательного выяснения дела с Горьким, которому и написал, вскоре после приезда, подробное письмо о «Собеседнике». Сообщил, что предложенное им в записке от 25 июля издание журнала принято, и я собираюсь повидаться с ним в конце сентября для окончательных переговоров и решений.<sup>28</sup>

Тут же я привел подробный перечень вопросов, подлежащих разрешению в нашей беседе. Наиболее существенными, а, возможно, и спорными были, видимо, вопросы о месте издания и составе редакции.

Алексей Максимович предполагал выпускать журнал за границей (очевидно, в Берлине), а Ленгиз — в Ленинграде. Редакцию, намеченную Горьким в составе трех видных, но проживавших за границей, деятелей (Ф. А. Браун, В. И. Иванова и его самого) предлагалось пополнить одним-двумя ленинградцами (акад. С. Ф. Ольденбургом и И. И. Ионовым).

Ответным письмом от 15 сентября Горький предложил мне приехать в Сорренто в любое время.

Вскоре после этого П. М. Керженцев сообщил о неожиданной неприятности, постигшей Горького. Фашистская полиция обыскала виллу, занятую Горьким с семьей, и изъяла рукописи и переписку. Возмущенный Алексей Максимович написал по этому поводу Муссолини, собирается уезжать из Италии и посылает М. И. Закревскую во Францию для приискания и устройства жилья под Парижем или на юге страны.

Затем последовал другой досадный эпизод: у М. И. Закревской были отобраны при выезде из Италии рукописи и другие бумаги Горького.

Алексей Максимович впал, по словам П. М. Керженцева, в подавленное состояние, и ему теперь не до литературных дел, и не до переговоров о «Собеседнике» — в частности. Поэтому Керженцев советовал мне не предпринимать поездки в Сорренто без нового запроса.

В новом письме Алексею Максимовичу от 3 октября я глухо упоминал о его настроениях, выражал надежду, что издание все же осуществится, и уведомлял о намерении приехать в конце месяца. Не получая долго ответа, я повторно обратился к нему 16 октября. Ссылаясь на беседы с П. М. Керженцевым и пояснив, что единственной целью поездки в Неаполь являются переговоры о журнале, я прямо ставил вопрос о необходимости и целесообразности свидания с ним.

Ответное письмо Горького от 18 октября внесло полную ясность в дело о «Собеседнике». Он писал:

«Дорогой Михаил Сергеевич,

Совершенно верно: ехать Вам сюда — смысла нет. От всяческих литературных затей я принужден отказаться, ибо «не вижу моего будущего». Даже не уверен, что Вы получите это письмо.

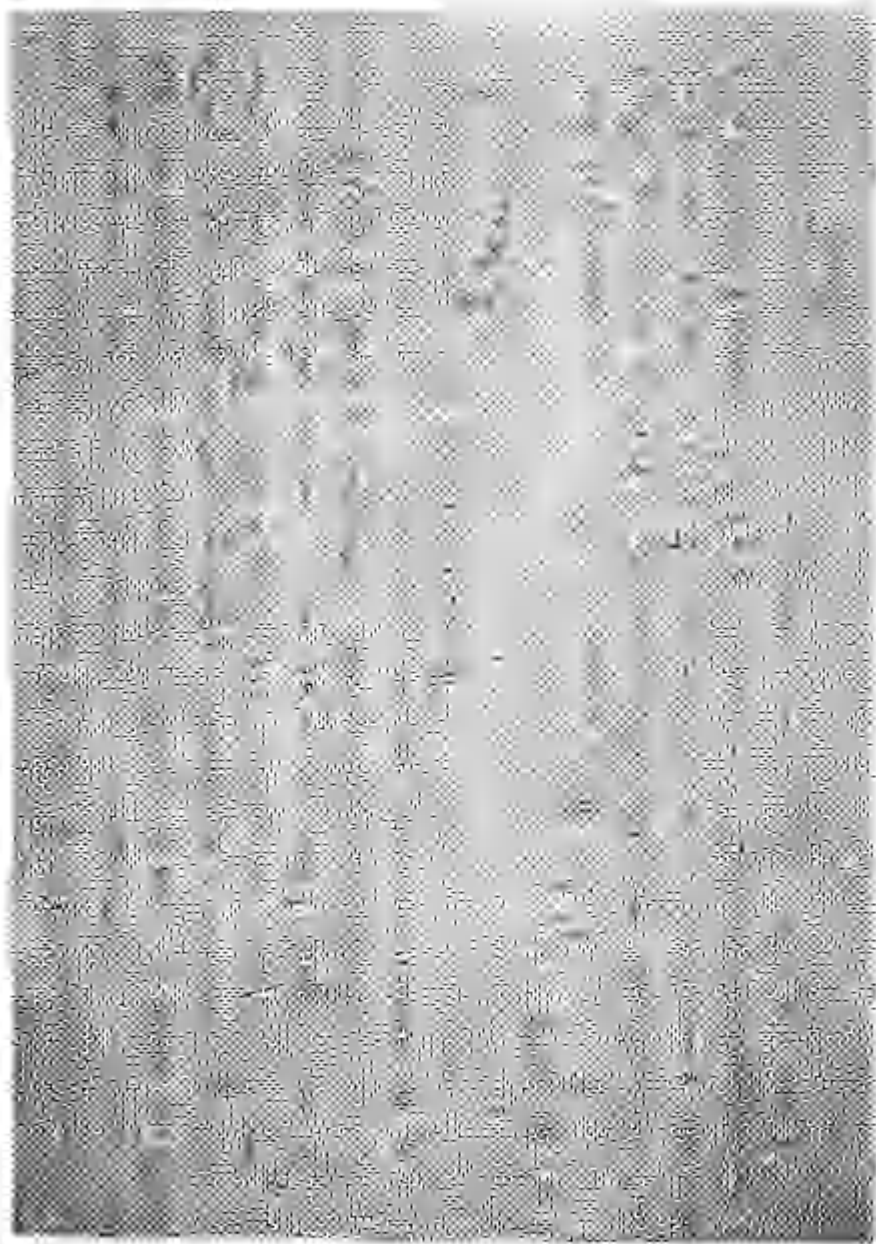
Измучительная нелепица совершенно расстроила мне нервы.

Желаю здоровья

А. Пешков».

18. X. 25.

<sup>28</sup> Письмо А. М. Горькому от 9 сентября 1925 г., как и другие нижеупомянутые письма ему, находится в «Архиве А. М. Горького» (Москва). Ответы А. М. Горького — у автора этого очерка.



Пикъмо Горыого

оставались безуспешными. Трудность получения оригинала вызывалась довольно сложным, запутанным положением авторских прав Горького. Право издания значительной части произведений было уступлено им в 1919 г. издателю З. И. Гржебину.<sup>31</sup> Затем, в 1922 г., Горький заключил универсальный договор с Торговым представительством РСФСР в Германии, предоставивший Торгпредству право издания полного собрания сочинений на русском языке в Германии или России. Торговое представительство приобрело у Гржебина полученные им в 1919 г. издательские права и, в свою очередь, передало Госиздату право опубликования части тиражей выпускаемых по универсальному договору произведений Горького.

В то же время авторские интересы Горького требовали опубликования новых произведений за границей раньше, чем в России. Иначе, за отсутствием международных конвенций России с другими государствами, авторские права не были бы защищены за рубежом от самовольной перепечатки или переводов. Именно так мотивировал сам Горький необходимость первого издания «Дела Артамоновых» в Берлине в письме А. К. Воронскому от 18 июня 1925 г.<sup>32</sup>

При таких условиях получение оригинала повести (от самого автора или, с его разрешения, от Торгпредства) было возможно, в лучшем случае, лишь для одновременного с берлинским или непосредственно за ним следовавшего издания в России. Мария Федоровна Андреева, с которой я встречался в Берлине, посоветовала просить Алексея Максимовича о соответственном воздействии его на Торгпредство. Из Мерана я дважды напоминал Горькому о просьбе Ленгиза и получил Р.С. к письму от 18. X. следующий ответ:

«Рукопись «Артамоновых» находится в Берлине, в «Книге»,<sup>33</sup> ибо, оказывается, хозяин ее — Берлинское торгпредство и право вести переговоры с. Ионовым принадлежит ему».<sup>34</sup>

Мне осталось неизвестным, вмешался ли все-таки Горький в это дело, но, как бы то ни было, я в конце концов получил в Торгпредстве, в конце ноября, верстку повести. Она вышла в Берлине, в издательстве «Книга», в самом конце декабря 1925 г., а вскоре после этого — и в Ленгизе.

<sup>31</sup> Зиновий Исаевич Гржебин был в 1918 г., вместе с Горьким, Ладыженским и Тихоновым, учредителем Изд-ва «Всемирная Литература», а в 1919 г., по инициативе и с помощью Горького, открыл «Издательство З. И. Гржебина» (с отделениями в Москве, Петрограде и Берлине), которое, в виду тяжелого положения полиграфической промышленности, должно было печатать книги за границей для ввоза их в Россию. Горький принял в издательстве Гржебина «самое горячее участие», считал его «своим делом» («Летопись», стр. 126—127, 194: записи о письмах Горького В. В. Воровскому и В. И. Ленину), организовал редакционную часть, руководил составлением издательских планов, приглашением авторов, писал предисловия к некоторым изданиям. Гржебин печатал книги в Стокгольме и Лейпциге. Выходили серии учебной и научной литературы, русских классиков и современных поэтов и прозаиков, биографий замечательных людей, историко-революционных воспоминаний и детских книг. В конце 20-х гг. Гржебин закрыл издательство и работал в советском торгпредстве в Париже, где и скончался в 1929 году.

<sup>32</sup> «Летопись», стр. 411.

<sup>33</sup> «Книга» — русско-германское книготорговое и издательское акционерное общество, основанное в 1921 г. Правление находилось в Берлине, отделение — в Москве. Общество занималось покупкой и продажей книг и учебных пособий в Германии, России и других странах, издавало учебники, научно-популярную литературу и произведения русских писателей.

<sup>34</sup> См. письмо А. М. Горького от 18 октября 1925 г.

## ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ НА ЭСТОНСКОЙ СЦЕНЕ

Ниголь Андресен

Валерий Брюсов создал только одно драматическое произведение. Это — «Земля, сцены из будущих времен», которая впервые появилась в книге «Земная ось» в 1906 году, идея же ее, по признанию самого автора, возникла у него уже в 1894 году. Хотя, по мнению Брюсова, эти сцены больше подходят для чтения, чем для представления, они были поставлены на сцене и в Эстонии, в переводе.

Возможно, при включении в репертуар «Земли», свое значение имело и мнение Александра Блока о драме. Он был от нее в восхищении и назвал ее «многоголосным гимном механическому мирозерцанию».<sup>1</sup> Там же Блок называет драму самым современным и торжественным произведением. «Можно сказать, что драма Брюсова раскрывает связи Брюсова-прозаика с Брюсовым-поэтом — связь, которая иначе была бы неясна для будущих поколений».<sup>2</sup>

«Землю» поставил на эстонской сцене экспериментальный театр любителей Hottmikiteater (Утренний театр) под руководством очень талантливого режиссера Аугуста Бахмана (1897—1923). Театр дал в 1921—1923 гг. три постановки, в том числе «Человека-массу» Э. Толлера. Новаторские постановки «Утреннего театра» завоевали всеобщее признание среди людей искусства. Большим успехом пользовались они и среди рабочих, оценивших высокую революционную идейность постановок.

Молодой режиссер умер летом 1923 года. Коллектив не пожелал прекратить работу, и режиссером стала артистка театра «Эстония» Хилда Глезер (1893—1932), участвовавшая уже в постановках театра, в частности, в прекрасной роли Женщины из «Человека-массы». Артисты готовили постановку драмы «Земля» в течение шести месяцев, причем театр давал представления ранее подготовленных пьес. Спектакли ставились в театре «Эстония» по воскресеньям с 11 часов. Премьера «Земли» состоялась 6 апреля 1924 года.

Это была первая постановка Хильды Глезер, которая затем стала видным режиссером. «В этой постановке она ярко раскрыла свои способности режиссера», — сказал о ней виднейший артист Альберт Юксип.<sup>3</sup> В следующем сезоне она поставила в театре «Эстония» драму «РУР» Карела Чапека.

«Земля» В. Брюсова слишком длинна для театральной постановки. Она была сокращена примерно на треть, но все существенное было сохранено. Режиссер стремился к раскрытию духа возмущения в драме, старался подчеркнуть ее созвучие с революционным напряжением в Эстонии того времени.

В спектакле принимали участие и молодые рабочие. Молодежь прекрасно передала революционное звучание драмы.

<sup>1</sup> «Золотое Руно» 1, 1907; перепечатано: Александр Блок, Собрание сочинений в 8 тт., т. 5, М.—Л., 1962, стр. 641.

<sup>2</sup> Там же, стр. 642.

<sup>3</sup> Albert Üksip, Hilda Gleser. Tallinn 1934, lk. 14.



Это возмутило и испугало реакционного зрителя. Одним из таких зрителей оказался рецензент местной немецкой газеты. В своей рецензии<sup>4</sup> он отметил сильное русское влияние на театральный коллектив, называя Мейерхольда, Вахтангова и Таирова (которых Глезер знала только по литературе). Драму же критик считал экспрессионистической, причем революционно-экспрессионистической. Он продолжал: «Брюсов — единственный из оставшихся в живых высоко-талантливых поэтов, который официально примкнул к Ленину. Без сомнения, в советские годы родилась и эта драма. Чудовище, как сценическое произведение, программная речь в семи картинах: угнетатели и угнетаемые, орден освободителей, борьба и освобождение, апофеоз со звоном сфер о будущих временах». Другой критик, признавая пьесу, не преминул поучать автора.<sup>5</sup> Пьеса была повторена еще один раз.

Драму перевел на эстонский язык автор этих строк.

В печати перевод не появился.

Постановка «Земли» показала возможность современного звучания пьесы на эстонской сцене, и, благодаря этой постановке, Брюсов-драматург стал нам так же близок, как и Брюсов-поэт.

---

<sup>4</sup> А. К-г, «Estonia»-Theater. ... Waleri Brjussows Drama «Erde». Revaler Bote 84, 9 April 1924.

<sup>5</sup> А. А., Hommikuteater. Päevaleht 90, 12. aprillil 1924.

## РАДИЩЕВ — ЧИТАТЕЛЬ ЛЕТОПИСИ.

Публикация и вступительная заметка Ю. М. Лотмана

Конец XVIII века — время оживления интереса к древней русской литературе и многочисленных попыток изучения и издания отдельных ее памятников. Особенное внимание привлекали летописи. Место Радищева в этом широком научном движении еще не полностью прояснено. Известный интерес в этом смысле могут представить публикуемые ниже пометы Радищева на тексте «Повести временных лет».

В истории изучения русского летописания выписки-маргиналии Радищева занимают особое место. Радищев не оставил в этой области специальных трудов, однако, мысль его постоянно обращалась к русской литературе древнейшего периода. Из памятников литературы русского средневековья его особенно привлекали «Слово о полку Игореве» и «Повесть временных лет». Это не случайно. Радищев боролся за коренное преобразование литературы, против дворянского искусства. Антитеза народной музыки и салонной арии, придворной хвалебной оды и крестьянской песни проходит через все его творчество. Говоря о народном певце, Радищев замечает: «Неискусный хотя его напев, но нежностью изречения сопровождаемый, проник в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взращенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> А. Н. Радищев, Полн. собр. соч. т. I, М.-Л., Изд. АН СССР, 1938. стр. 373.

Отрицательное отношение ко всей системе дворянского искусства вызвало поиски художественных форм, опирающихся на народную, национальную традицию. Это явилось одной из причин интереса Радищева к народному творчеству и древней русской литературе. Так, работая над реформой русского стихосложения, в поисках ритмической структуры, ораторской по природе и всецело подчиненной *содержанию*, Радищев обратился к «Слову о полку Игореве», дав в «Песнях, петых на состязаниях» весьма интересное истолкование жанровой природы «Слова» как свободного, определяемого содержанием, сочетания ораторской прозы с поэтическими текстами разнообразной ритмической структуры.

Представление об общей эстетической природе древней русской литературы и фольклора вытекало из общих воззрений на прошлое русской культуры. Еще В. К. Тредиаковский в 1755 году высказал, хотя и сопроводив ее многочисленными оговорками, мысль о том, что подлинный облик русской поэзии в ее исконных ритмических формах сохранился лишь в народных песнях. Мысль эта была нужна Тредиаковскому для того, чтобы, с рационалистических позиций, осудить средневековую церковную культуру как чуждую национальному духу, а свой «разумный» метод представить в качестве возвращения к исконным основам поэзии. Он писал: «Начавшееся у нас христианство, истребившее все идольские богослужения и уничтожившее вконец сплетение песни стихами в похвалу идолам, лишило нас без мала на

шесть сот лет богочтителного стихотворения. Пребывало двоюродное родство его токмо, чтоб так сказать, как в залоге, у самого оногo простогo народа в подлых его песнях; и преходило от века в век не без престарения <...> так что и поныне, но уже незнающие и суетно строптивые люди зазирают неосновательно, ежели кто народную старинную песню приведет токмо в свидетельство на письмо, хотя и с извинением в необходимости. о первоначальном нашем стихотворении.»<sup>2</sup>

Ход мысли Радищева был иным: древнейший период русской литературы был для него народным, ибо отразил докняжеский, вечевой этап жизни народа. Так Радищев переосмыслил «Слово о полку Игореве», используя его образы для рассказа о борьбе свободных новгородцев против насиликов-варягов — будущих основоположников антинародной княжеской власти.

Общие взгляды Радищева на природу древней русской литературы определили и характер его выписок и помет на тексте летописи. Его, с одной стороны, интересуют отражения в летописи легенд и быта народа в древнейший период, а, с другой стороны, сведения о борьбе народа с захватчиками-князьями. Радищева привлекают легенды явно языческого характера. Так, пометой «зри» на полях и в специально составленном им оглавлении важнейших мест летописи помечены рассказ о смерти Олега от змеи, легенда о расправе Ольги с древлянами и др. Вместе с тем он старательно фиксирует все упоминания о насилиях князей и народном отпоре им.

Достоинo внимания то, что памятники древней письменности интересуют Радищева не только как исторические документы, но и как литературные произведения. Мы видели, что в «Слове о полку Игореве» его привлекла не только идейная ткань произведения, но и его художественная структура. Это же характерно и для его подхода к житийной литературе. Она привлекала Радищева богатством образов героев-подвижников. Показательна в этом отношении автобиографическая повесть в форме жития «Положив не-преоборимую преграду», в которой он писал: «По истинне достоин тот к оному (лику святых. — Ю. Л.) причтен быть, кто забывая даже свое благосостояние, старается ежечасно облегчать бедствия себе подобных.»<sup>3</sup>

Не случайно, что повесть, в центре которой стоит образ «вождя» бунтующих студентов (а за ним вырисовываются контуры фигуры народного руководителя), человека, «подавшего некогда» своим молодым друзьям «пример мужества», учителя Радищева «по крайней мере в твердости», — названа «житием». Интерес к героическим образам житийной литературы проявился и в том, что в уста клинского певца Радищев вложил духовный стих — фольклорный жанр, наиболее тесно связанный с агиографией.

Попытка Радищева, отказавшись от господствовавших в русской литературе его времени повествовательных жанров, возродить, создавая героическую биографию «сочувственника» народа, переосмысленную традицию древней русской литературы, в высшей мере примечательна. Ее можно сравнить с радищевской тенденцией использовать церковно-славянскую, архангелскую лексику для создания революционно-патетического стиля.

Художественное использование летописей в творчестве Радищева разнообразно — от прямого включения цитат и отрывков (гл. «Новгород» в «Путешествии из Петербурга в Москву») до вольной переработки отдельных сюжетных мотивов в «Песнях, петьх на состязаниях». Ограничимся одним

<sup>2</sup> В. К. Тредиаковский, Стихотворения, «Советский писатель», 1935, стр. 422-423.

<sup>3</sup> А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. I, стр. 400. Ср. в воспоминаниях сына Радищева: «Находясь в крепости за свою книгу, Радищев велел написать себе образ одного святого, вверженного в темницу за то, что слишком смело говорил правду, с надписью: «Блаженны изгнанны правды ради» (В. П. Семенников, Радищев. Очерки и исследования, М.—Пг., 1923, стр. 238).

примером: Радищев отметил на полях летописи и в оглавлении важнейших помет ряд упоминаний о предзнаменованиях, например: «В се же лето бысть знамение <...> явися столп огнен от земли до небеси, а молния освети всю землю, и в небеси погрене в 1 час ночи и весь мир виде». «Того же лета на зиму февраля 17 дня бысть гром страшен, зарази дву детей и храмину зажже (пометы Радищева: на полях — «зри», в списке — «о знаменнии», «о громи».)».

В «Песнях, петьх на состязаниях»:

Велик, велик ты, о Перун!

Велик ты также и ужасен,  
Когда преступны человеки  
Твой образ исказив пороком гнусным  
Сзывают гром твой с небеси!  
Твой гром губительный карающ,  
И стрелы молнии твоей крылатой.  
Тогда твоя десница сильна, рдяна  
Вращая огонь, удар вознесши в верх,  
Превыше всех верхов холмистого Олимпа  
Низвержет молнию и гром,  
И звук, и треск, и смерть, и ужас.

И гром твой глухоутлозвонной  
Ударил с треском в верх сосны ветвистой  
И раздробил ее в осколки малы.

Не менее существенное значение имело изучение летописей для формирования политической доктрины Радищева.

Отношение к истории у теоретиков XVIII в. строилось на основаниях, принципиально отличных от современных. Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге», противопоставляя историзм XIX в. «простому метафизическому, исключительно механическому материализму XVIII века», писал: «В противоположность наивно-революционному, простому отрицанию всей протекшей истории, современный материализм видит в истории процесс развития человечества, причем его задачей является открытие законов движения этого процесса»<sup>4</sup>. Характеристика метафизики XVIII века применима и к Радищеву. В основе его исторических воззрений лежали представления о неких вечных справедливых, основанных на природе человека формах общежития, с точки зрения которых и оценивались все исторические факты. В таком освещении история общества, по сути дела, заменялась теорией общества. Реальный ход истории оценивался с точки зрения соответствия или несоответствия его априорным теоретическим формулам. Такой подход, при всей очевидной его научной несостоятельности, был глубоко революционен.

Он оценивал исторически сложившийся угнетательский (в первую очередь, феодальный) общественный порядок с точки зрения «естественного» уклада и решительно отвергал его как не соответствующий природе человека. Более того, в условиях диалектического теоретического мышления всякая попытка подходить к историческим фактам без уже готового теоретического критерия, класть в основу рассуждений сам факт существования того или иного явления неизбежно приводила к реакционному представлению о существующем (т. е. феодальном) укладе как нормальном.

То, что общественная теория не извлекалась из исторических фактов, а априорно в них привносилась, еще не означало, что сама по себе эта теория была результатом беспочвенного вымысла. Она логически вытекала из учения о человеке, выработанного материализмом XVIII в., и была закономерно

<sup>4</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 1-е, т. XIV, стр. 25.

обусловлена как прогрессом естественных наук, так и наличным уровнем классовой борьбы, определившим идеологические искания эпохи. Весь социальный опыт антифеодалных сил сконцентрировался непосредственно в философии и уж затем, в качестве законченного учения, привносился в отдельные отрасли умственной жизни. Прогрессивное историческое мышление XVIII в. насквозь философично, как философичны политические, юридические и нравственные теории, эстетика и художественная практика этой эпохи.

В основе подхода А. Н. Радищева к историческому материалу лежало представление о верховном характере народной власти. Правительство, получая власть из рук народа, непосредственно ему подчиняется, присягает на верность народной воле и сменяется народом, если теряет его доверие. Мысль об исконном характере «соборной» власти народа Радищев старался подтвердить наблюдениями над формами современного ему крестьянского самоуправления. В «Описании Петербургской губернии» он писал: «Казенные крестьяне внутренне управляются сами собою. Есть у них головы, старосты, десятские, которые отправляют род внутреннего благочиния; общественные же дела решат на сходах: что мир, то есть собрание крестьян, положило, то и правилом почитается»<sup>5</sup>. Крестьянский сход, находившийся в руках помещика или царских чиновников, в условиях начинавшегося расслоения деревни, конечно, не был выразителем народных интересов. Зато Радищеву, внимательно следившему за народными волнениями, бесспорно, были хорошо известны те формы власти, которые стихийно создавал народ. Ограничимся одним примером, поскольку в силу хронологических и географических обстоятельств он, по всей вероятности, находился в поле зрения Радищева,<sup>6</sup> — так называемым Кижским восстанием. Оно выработало любопытные организационные формы, в которых отразились юридические представления самих крестьян. Исследователь вопроса пишет: «Большую роль во время Кижского восстания играли крестьянские съезды — народные собрания (сходки). На короткое время они во многих случаях действительно стали выражать волю большинства крестьян, а не только лишь кучки богатеев и царских чиновников».<sup>7</sup>

На съездах вопросы решались общим обсуждением («обще горланят и приговаривают», — злобно комментировала следственная комиссия<sup>8</sup>), причем в «таковых съездах» «не было ни первого, ни последнего».<sup>9</sup> Восставший народ прогонял прежних старост. Выбранные народом новые старосты без санкции съезда отказывались выполнять даже решения следственной комиссии, донося, что «они без своего съезда ни к чему тому приступить не могут».<sup>10</sup>

Стихийные устремления народной массы и теоретические построения демократической мысли XVIII в., формировавшей, вслед за «Общественным договором» Руссо, идею народного суверенитета, сливались в своих конечных выводах.

Обращаясь к русской истории, Радищев искал в ней доказательств все той же идеи верховного характера народной власти, того, что «вечевый колокол, палладиум вольности Новгородской, и собрание народа, об общих нуждах судящего, кажется быть нечто в России древнее, и роду славянскому сосущественно».<sup>11</sup> Характерно, что приведенное высказывание Ради-

<sup>5</sup> А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. III, стр. 130.

<sup>6</sup> Осенью 1771 г. Радищев вернулся в Петербург, а летом того же года было подавлено восстание приписных олонечских крестьян. Судебная расправа и казнь руководителей восставших приходится на осень 1771 — январь 1772 г.

<sup>7</sup> Я. Балагуров, Кижское восстание 1769—1771 гг., Петрозаводск, 1951, стр. 64—65.

<sup>8</sup> Там же, стр. 66.

<sup>9</sup> Там же, стр. 69.

<sup>10</sup> Там же, стр. 66—67.

<sup>11</sup> А. Н. Радищев, Полн. собр. соч. т. II, стр. 145.

шев в примечании прямо подтверждал ссылкой на крестьянские сходы: «Что собрания общественные в России были употребительны, в том доказательство служат остатки оных; и сии соблюдалися токмо в селах и деревнях. Когда крестьяне судить имеют о делах, до селения их касающихся, то делают сход; и на сем правильно, если не по закону основанном собрании, распоряжают они своими делами. Можно понять, сколь таковые сходы бывают шумны и расстройны; но общий приговор, хотя словесный, исполняется». Радищев писал эти строки в Сибири и, естественно, не мог договаривать до конца своей мысли. Указав, что «даже до нынешних времен закон колокола, биющего, есть созыв народа», он осторожно в качестве цели созыва назвал «спасение отечества». Однако ему прекрасно было известно, что в его время («нынешние времена») народные ополчения для защиты от внешних врагов не созывались. Звон колокола был обычным сигналом крестьянского восстания. В Кijах сигналом выступления было то, что «вдруг ударили в колокол тревогу».<sup>12</sup> Ср. в «Путешествии»: «Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно».<sup>13</sup> Подобные воззрения определили и подход Радищева к изучению источников по русской истории.

Изучая материалы, Радищев старательно подбирал случаи изгнания князей, в чем усматривал проявление народного суверенитета. «Кн<язя> Всеволода, — записывал он, — н<ово> городцы, лиша правления, держали два месяца в заточении». И дальше: «С Ярославом Ярославичем в<еликим> кн<язем> н<овгородским> они сделали по войне письменное примирение, из коего видно, сколь мало они в<еликого> кн<язя> почитали».<sup>14</sup>

Особенно интересна следующая выписка: «Когда новгородцы в л<ето> 1186 выгнали от себя Ярослава Володим<ировича>, а взяли Мстислава Давид<овича> княжить, то продолжатель Нестеров говорит...»<sup>15</sup>. На этом месте лист рукописи обрывается, однако, обращение к соответствующему месту летописи позволяет установить, какие слова летописца привлекли внимание писателя. На 279 странице издания, которым пользовался Радищев, после слов: «выгнаша новгородцы Ярослава Володимировича, а Мстислава Давидовича пояша к себе княжить», — находим привлеченное Радищевым резюме: «таков бо бе их обычай».<sup>16</sup> В этих словах писатель видел подтверждение своей мысли о том, что право народа судить о степени соответствия *действий государственной власти его интересам* находит свою опору в исторических традициях древней Руси.

Внимание Радищева привлекает также политическая история Новгородской республики. Выписывая слова о том, что «Воробей посадник... бе велими сладкоречив... иде на торжище и паче всех увеща», — он делает вывод: «Из сего видно, что красноречие тогда было почитаемо и народные собрания во употреблении»<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Я. Балагуров, указ. соч., стр. 53.

<sup>13</sup> А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. I, стр. 320.

<sup>14</sup> Там же, т. III, стр. 36.

<sup>15</sup> Там же, стр. 34.

<sup>16</sup> Библиотека Российская историческая, содержащая древние летописи и всякие записки, способствующие к объяснению истории и географии российских древних и средних времен, ч. I, СПб., при имп. АН., 1767, стр. 279. На идеологическую значимость этого вывода до Радищева, совсем с иных позиций, обратил внимание еще средневековый летописец. Акад. А. А. Шахматов писал: «„Таков бо бе их обычай,“ — замечает суздальский летописец, но прибавка москвича, уже мечтавшего о покорении Новгорода, свидетельствует о более раздраженном отношении к вольностям новгородским: он пишет: „Так бо их обычай блядиных детей!“» (А. А. Шахматов. Обзорение русских летописных сводов XIV—XVI вв., М.—Л., изд. АН СССР, 1938, стр. 39).

<sup>17</sup> А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. III, стр. 34, курсив Радищева.

Правление древней Руси представлялось Радищеву формой государственной власти, в которой непосредственно проявлялся суверенитет народа, а князь был простым исполнителем воли веча. Титул «великого князя», по его мнению, не обозначал в те времена неограниченного самодержца: «Сей титул в рос<сийских> историях прикладывается тем, кои в каждом месте имели полную власть не будучи никому подсудимы. Но Нестор, — возражает Радищев, — называет и бояр великими в посольстве к гре<ческому> царю».<sup>18</sup> В другом месте он указывает, что власть, облакавшая послов полномочиями, исходила от народа. «В Игоровом договоре, — писал Радищев, — послы именуются *общими* (между ними был купец Адуи). Там же говорят, что они посланы *от всех людей русской земли*, коих называют подданными русскими». «Но подданный и раб разница и по тогдашнему мнению», — добавляет он дальше.<sup>19</sup> Тем самым Радищев, доказав, что титул «великих послов» обозначал людей, избранных народом, представляющих его и перед ним ответственных, стремился подвести читателя к мысли, что и титул «великого князя» в древнейшие времена означал не самодержавного правителя, а исполнителя велений народа.

Не только Новгород, но и другие древние русские государства рисовались Радищеву как вечевые республики, свободно приглашающие и изгоняющие своих князей, — лишенных полноты политической власти исполнителей воли народа.

«И в Киеве, — писал он, — были народные собрания, называемые вече, кои созывал тысяцкий». Князь присягал народу, «целовал им на то крест».<sup>20</sup> Нарушение князем договорных обязательств приводило к изгнанию его. Радищева особенно привлекло, что не народ князю, а князь народу приносил клятву (ср. ту же мысль в оде «Вольность»). В этом он усматривал проявление народного суверенитета и реализацию своей мысли о допустимости единодержавной исполнительной власти при сохранении полноты суверенитета в руках народа. Народ остается вольным, имея князя, если всегда может его изгнать как «преступника своей воли», нарушителя клятвы, данной народу. «Отягченны податми володимирцы говорили: мы есмо вольници, а князей прияли к себе и крест целовали к нам на всем».<sup>21</sup>

Пометки Радищева на полях изданной Академией Наук в 1767 г. в Петербурге «Летописи, Нестеровой с продолжениями по Кенигсбергскому списку»<sup>22</sup> существенно дополняют уже вошедшие в научный оборот выписки Радищева из того же источника, а также из исследований Татищева и Миллера. Радищев и здесь выделяет случаи приглашения и изгнания народом князей. Его внимание привлекла угроза новгородцев найти князя по своей воле: «налезем князя себе» (стр. 61). Пометкой «Зри» выделяет он все случаи, когда летописец указывает на послов как представителей великого князя и «всех людей русския земли». Работая над текстом исторических источников, Радищев искал ответа на вопрос: каким образом исказились первоначальные справедливые основы общественного союза. Причину этого он находил в насилии исполнительной власти, узурпировавшей у народа его суверенитет, или в обмане, жертвой которого пал народ. Эти соображения обусловили внимание Радищева к случаям насилий и произвола. Видимо, этим вызваны пометы «Зри» на стр. 11, 48—49. На стр. 84 Радищева привлекла раздача Владимиром городов русской земли сыновьям, видимо, как пример нарушения

<sup>18</sup> Там же, стр. 35.

<sup>19</sup> Там же, стр. 37, курсив Радищева.

<sup>20</sup> Там же стр. 39.

<sup>21</sup> Там же, стр. 34.

<sup>22</sup> Библиотека Российская историческая, содержащая древние летописи и всякия записки, способствующие к объяснению истории и географии российской древних и средних времен; ч. I, СПб., при имп. АН, 1767. Радищевский экземпляр этого издания хранится в ИРЛИ АН СССР (Пушкинском Доме), библиотечный шифр: Ло 58. 7.

принципа подчинения князя народной воле. Особенно старательно отмечал Радищев описание суеверий, языческих обычаев и христианских поверий, а также материалы, подтверждающие союз церкви и князя-узурпатора, которые «союзно общество гнетут». Так, на стр. 87 Радищев выделил пожертвование Владимиром десятой части государственных доходов в пользу церкви Богородицы. С другой стороны, он выделяет и помощь со стороны церкви государственной власти. На стр. 90 он отметил требование епископов Владимиру применять к разбойникам смертную казнь. Достаточно вспомнить отрицательное отношение Радищева к ее применению, чтобы понять смысл внимания его к этой инициативе церкви. Вместе с тем, Радищева привлекают героические образы простых людей, в которых проявились национальные черты «народа, к величию и славе рожденного» (таков смысл пометы на стр. 86), страданий народа из-за княжеских распрей.

Наряду с этим, бесспорно, Радищева привлекали и исторические сведения, черты прошлого народной жизни и сами по себе, безотносительно к тем или иным общественно-политическим соображениям. Этот интерес к истории определил, по необходимости еще весьма неразвитые, элементы нового, более сложного подхода к жизни общества, наметившегося в таких произведениях, как «Осьмнадцатое столетие».

Приводим отрывки текста «Летописи Нестеровой», отчеркнутые Радищевым чертой на полях и снабженные пометой «зри». Орфография издания 1767 года соблюдается с учетом правил транслитерации, принятых в современных литературоведческих изданиях. Вынесенные в издание 1767 г. на поля заглавия сохраняются и воспроизводятся справа от основного текста. Цифра слева означает страницу основной пагинации в издании 1767 г. На чистом листе в начале издания летописи (после реставрации лист был подклеен к переплету) Радищев отметил наиболее заинтересовавшие его места. Рукопись, весьма трудно читаемая, была фотографически воспроизведена в т. III Полного собрания сочинений (см. вклейку между стр. 40 и 41), но, по неясным соображениям, редакторы тома не подвергли ее прочтению и публикации. Воспроизводим текст этого документа, сохраняя расположение записей в подлиннике.

#### ЗАМЕТКИ РАДИЩЕВА НА ТЕКСТЕ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

- |  |                              |     |
|--|------------------------------|-----|
| 5. и умножившимся человеком на земли, помыслиша создати столп до небеси, и град около его Вавилон, и создаша столп за сорок лет, и не совершен бысть.  | Столпотворение.              | Зри |
| 6. От сих же семидесяти и дву языку бысть язык Словенск от племениж Афетова, нарицаеми Норици, иже суть Словене.   | Начало словенского языка.    | Зри |
| 7. и пришедшу ему в Корсунь, и уведе, яко из Корсуны близ устье Днепрское, и восхоте итти в Рим...   | Путешествие Апостола Андрея. |     |
| 8. И виде люди сущия ту, как их обычай, как ся мыют и хвощут, и удивись им; и иде в Варязи, и прииде в Рим, и исповеда, елико научи, и елико виде. И рече им: «Дивно видех землю Словенскую, | бани у славян.               | Зри |



идушу ми семо, и видех бани древяны, и пережгут их вельми, и сволокуются, и будут нази, и обольются мытлью, и возмут ветвие, и начнут ся бити, и того добьют, одва вылезут живи суши, и облиются водою студеною, и тако оживут, и тако творят по вся дни, не мучими ни чем же, но сами ся мучат; и тако творят не мытву себе, но мучение». И слышавше дивляхуся.

- |     |  |   |            |
|-----|--|---|------------|
| 9.  | И быша три братья, единому имя Кий, другому Щек, а третьему Хорив, и сестра их Лыбедь; и сядяще Кий на горе, где ныне Зборичев, а Щек сядяще на горе, идеже ныне Шековица, а Хорив на третьей горе, от него он прозвася Хоривица, и сотвориша городок в имя брата их старшаго, и нарекоша Киев.  | Кий, Щек и Хорив                              | Зри        |
| 11. | Сииж Обри воеваша на Словены, и примучиша Дулебы, сущие Словены, и насилie творяху женам Дулебским. Аще поехати бяше Обрину, не давше впрячи ни коня, ни вола; повеляше впрячи три, или четыре, или пять жен в телегу, и повести Обрина, и тако мучаху Дулебы.   | Начало города<br>Киева.                       | Зри        |
| 21. | И реша Философи: «Есть муж в Селуни, именем Лев, и суть у него сынове разумиви Словенску языку, и хитра два сына у него Философа». Слышав Царь, посла по ня в Селунь ко Львови, глаголя: «Посли к нам сына своя Мефодья и Константина.» Се слышав Лев вскоре посла я, и придоста ко Царю, и рече им: «Се присла ко мне Словенская земля, просящи учителя себе, иже могл бы им про толковати святаыя книги; сего бо желают.»  | Мефодий и Кон-<br>стантин.                    | Зри        |
| 22. | По сем же Коцел Князь постави Мефодия Епископа в Паннонии, на столе святаго Андроника Апостола, единого от семидесяти ученик святаго Апостола Павла. Мефодий же посади два попа борзописца зело, и преложиста вся книги исполнь от Греческа языка во Словенск, в шесть месяц, наченше от Марта месяца до 12. Октября месяца. Окончав же, достойну хвалу Богу воздаде, дающе такую благодать Епископу Мефодию, настоянику Андроникову. Тем же Словенску языку учитель есть Андроник Апостол. В Моравы бо ходил и Апостол Павел, и учил ту: ту бо есть Иллирик, егоже дошел Апостол Павел. Ту бо беша Словене первое: тем и Словенску языку учитель есть Павел, от него же языка и мы есмо Русь. Тем же и нам Руси учитель есть Павел, понеже учил есть язык | Книги переведены<br>на Славенской<br>язык.    | Зри        |
| 23. | венску языку учитель есть Андроник Апостол. В Моравы бо ходил и Апостол Павел, и учил ту: ту бо есть Иллирик, егоже дошел Апостол Павел. Ту бо беша Словене первое: тем и Словенску языку учитель есть Павел, от него же языка и мы есмо Русь. Тем же и нам Руси учитель есть Павел, понеже учил есть язык   | от Р. Хр.<br>Павел Апостол<br>учил в Моравии. | Зри<br>Зри |

- Словенск, и поставил есть Епископа и Наместника в себе Андроника Словенску языку: а Словенский язык и Русский одно есть. От Варяг бо прозвашась Русью, а перьвое беша Словене, аще и Поляне звахуся, но Словенская речь бе. Зри
24. С сими со всеми поиде Олег на конех и на кораблех, и бе числом корабль 2000. Зри
24. И повеле Олег воем своим колеса изделати и поставляти на колеса корабли. И бывшу поносну ветру, вспяша парусы, и преидяху чрез поля ко граду. Зри
25. Олег же мало отступи от града, и нача мир творити со Царьма Греческима, со Леоном и Александром. Зри
- 26—27. «Мы от роду Русаго Карл, Инегельд, Фарлоф, Веремунд, Рулав, Гуды, Руалд, Кар, Фрелав, Руал, Актев, Труан, Лидул, Фест, и Стемид, послании от Ольга, великаго Князя Русаго, и от всех, иже суть под рукою его, светлых и великих Князь, и его великих бояр. Мирной Тратат между Ольгом и Греками. Зри
32. Мыже кляхомся ко Царю вашему, иже от Бога суша, яко Божье здание по закону, и по закону языка нашего, не преступити нам ни кому от страны нашей от уставленных глав мира и любви. Зри
32. Царь же Леон почти послы Руские дарами, златом и паволоками и фофудьями, и пристави к ним мужи свои показати им церковную красоту и палаты златыя, и в них сущее богатство злата много и паволоки и камене драгое, и страсти Господни, и венец, и гвоздие, и хламиду багряную, и мощи святых, учаще я к вере своей, и показующе им истинную веру: и тако отпусти я во свою землю с честию великою. Зри
33. И приспе осень, и помяну Олег конь свой, иже бе поставил кормити и не вседати нань: бе бо вопрошал волхвов и кудесников, от чего ми есть смерть? И рече ему кудесник один: «Княже! конь, егоже любиши и ездихи на нем, от того ти умрети». Олег же, прим в уме сие, рече: «Николиже всяду нань, ни вижу его боле того», и повеле кормити, и не водити его к нему. И пребы несколько лет, не видя его, дондеже на Греки иде. И пришедшу ему к Киеву, и пребывшу четыре лета, на пятое лето помяну конь, от негоже бяху рекли волсви умрети. И. призва старейшину конюхом, рече: «Кое есть конь мой, егоже бе поставил кормити и блюсти его». Он же рече:

Провещание о смерти Ольговой.

- умерл есть. Олег же посмеяся, и укори кудесника, река: «То тии неправо глаголют волсви, но вся ложь есть; а конь умерл есть, а я жив.» И повеле оседлати конь, да вижу кости его. И прииде на место, идеже беша лежаще кости его голы, и лоб гол; и ссede с коня, и по-
33. смеяся рече: «От сего ли лба смерть было взяти мне?» И вступи ногою на лоб, и выкинувши змия изо лба, уключу в ногу, и с того разболеся, и умре. И плакаша людие вси плачем великим, и несоша и погребоша на горе, яже глаголется Щековица. Зри
34. Семион же прия град Андрень, иже первое Орестов град нарицашесь, сына Агамемноня, иже в трех реках купався недуга избы ту; сего ради град сей постави и во имя свое нарече. Взятие болгарами Адрианополя. Зри
35. В лето 6449 иде Игорь на Греки, и послаша болгары весть ко Царю, яко идут Русь на Царьград, схедий (судии) 10000, иже пойдоша и приплыша, и почаша воевати Вифинския страны, и пленоваху по Понту и до Ираклия, и до Пафлагонския земли, и всю страну Никомидскую попленивше, и суд весь пожгоша. Поход Игорев против Греков. Зри
- 35—36. Потом пришедшим воем от востока, Панфир Демественик со сорокью тысящей, Фока Патрикей с Макидоняны, Феодор же Стратилат со Фраки, с ними же и сановницы боярстии, и обыдоша Русь около; и совещавше Русь, изыдоша вооружившесь на Греки. От Р. Х. Зри
38. «Мы от рода Рускаго, послы и гостие Великаго Князя Игоря: Ивар, посол Игорев, Великаго Князя Рускаго; и общии послы: Фуеваст, Святослава сына Игорева; Искусеви Ольги Княгини, и слуги Игоревы и нетии Игоревы: Улеб Володиславль, Канацар Предславин, Шигоберн, Сфаиндр, жены Улебовы; Праспиен Тудуродуви, и Абиар Фастов, Грим Сфирков, Праспиен Якунь нетий Игорев. Кары: Студеков, Каршев, Тудоров, Егрнермисков, Высков, Иков, Истроаминдов; Ятвяг Гунарев, Шибрин, Алдан, Кол-Клеков, Стеггнетонов, Сфирка, Алвад Гудов, Фруди Тулбов, Мутор, Утин Купец, Адунь, Адолбь, Антивлад, Улеб, Фрутан, Гомол, Куциемиг, Туробрид, Фростен, Бруныалд, Гунастр, Фрастен, Ингелд, Тури-Бен, Моны, Руалд, Свен-Стир, Алдан, Тилей, Апубкар, Свен, Вузелев, и Сикон Биричь: Послании от Ве-
- Вторичный мирный договор с Греками. Зри

ликаго Князя Рускаго Игоря, и от всех Князей Руских, и от всех людей Руския земли,...

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 39. А елико их не крещено есть, да не имут помощи от Бога, ни от Перуна; да не ущитятся щиты своими; да посечени будут мечи своими, и от стрел и от инаго оружья своего, да будут раби в сий век и в будущий.   |   | Зри |
| 44—45. Аще ли кто от Князь и от людей Руских или крещен или некрещен преступит се, еже написано на харатыи сей, будет достоин своим оружием умрети, и да будет клят от Бога и от Перуна, якоже преступи клятву свою.  |   | Зри |
| 45. И на утрие призва Игорь послы, и прииде на холм, где стояше Перун, и покладоша оружия своя и щиты, и золото, и ходи Игорь роте, и мужи его, и елико поганных Руси: а Хрестьянскую Русь водиша роте в церкви святаго Ильи, яже есть над ручаем.  | Приход Послов Греческих к Игорю для утверждения мира. | Зри |
| 48. И принесоша я в лодьи на двор ко Ользе, и несше винуша в яму с лодью. И приникше Ольга рече им: «Добра ли вы честь». Реша они: «Пущи ны Игоревы смерти.» И повеле засыпати я живы, и засыпаша я.  | Послы Деревлянские живые зарыты в землю.              | Зри |
| 42—49. Деревлянном же пришедшим, повеле Ольга мовню строити, рекуше сице: «Измывьшесь приидите ко мне». Ониж прежгоша истьбу, и влезоша Деревляне, и начашася мыти, и запроша от них двери, и повеле зажечь я от дверей, и ту изгореша вси.   | От Р. Х.  | Зри |
| 52. И пребывше лето единое, в лето 6455 иде Ольга к Новугороду, и устави по Мсте погосты и дани, и по Лузе оброки и дани, и ловища ея суть по всей земле знамения, и места и погосты, и сани, ея стоят в Пскове и до сего дни, и по Днепру перевесища, и по Десне, и есть село ея Олжичи и доселе, и изрядивши возвратися ко сыну своему к Киеву. | Ольгины земския учреждения.                           | Зри |
| 58. Рече же Князь Печенежский ко Претичю: «Буди ми друг». Он же рече: «Тако сотворю». Подаста руки межи собою, и даст Печенежский Князь Претичю конь, саблю, стрелы; он же даст ему брони, щит, мечь. И отступиша Печенежи от града;...   | Отступление печегов от Киева.                         | Зри |
| 59. бе бо имущи презвитера в тайне: сей похорони блаженную Ольгу. И бысть предтекущая Хрестьянстей земли, аки   | Смерть Ольгина.                                       | Зри |

- денница пред солнцем, аки заря пред светом. Ибо сияше аки луна в нощи; тако и сия в неверных человецев светяшеся аки бисер в кале.
60. В сеже время приидоша людие Новгородстии, просящи Князя собе: «Аще вы не пойдете к нам, то налезем Князя собе». И рече к ним Святослав: «Абы пошел кто к вам» и отпресь Ярополк и Олег. Княжение Владимиро в Новгороде. Зри
61. И рече Добрыня к Новгородцам: «Просите Володимира». Володимир бо бе от Малуши ключницы Олжины, сестра же бе Добрыне, отец же бе има Малко Любчанин, и бе Добрыня уй (дядя) Володимиру. И реша Новгородци Святославу: «Дай ны Володимира». Он же рече: «От той вы есть». И пояша Новгородци Володимира к себе. Иде Володимир с Добрынею, уем своим, к Новугороду, а Святослав к Переяславцу. Зри
- 61—62. И рече Святослав: «Есть нас двадцать тысяч», прирече десять тысяч; бе бо Руси десять тысяч только. И пристроиша Греци сто тысяч на Святослава, и не даша дани. И поиде Святослав на Греки, и изыдоша противу Руси. Видевши же Русь, убояшась зело множества вой, и рече Святослав: «Уже нам некамо ся дети; волею и неволею стати противу, да не посраим земли Руския, но ляжем костыми ту; мертвыи бо срама не имут. Аще ли побегнем, срам имамы; и не имамы убежаши, но станем крепко, аз же пред вами поиду. Зри
65. Аз же и иже со мною и под мною, да имеем клятву от Бога, и в него же веруем в Перуна, и в Волоса, скотья Бога. Зри
65. Нападе нань Куря, Князь Печенежский, и убиша Святослава, и взяша главу его, и во лбе его соделаша чашу, оковавше лоб его, и пяху из него. Убит от Печенегов. Зри
69. Володимир же заляже жену братню Грекиню, и бе непраздна, от неяже родися Святополк. От греховнаго бо корене плод зол бывает, понеже бе мати его была черницею, а второе Володимир заляже ю не по браку. Зри
70. И нача княжити Володимир в Киеве един, и постави кумир на холме вне двора теремнаго, Перуна древяна, а глава ему серебряна, а ус золот, и Хорса, и Дажбу Бога, и Стрибу Бога, и Семарь-гла, и Мокошь, и жряху им наричущие яя Боги, и привожаху сыны своя и дще- Великий князь Владимир. Зри
- Идопоклонство в России. Зри

ри, и жряху бесом, и оскверняху землю  
требами своими, и осквернися кровьюми  
земля Руская и холм той.

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 71. | Наложниц же у него триста в Вышего-<br>роде, а в Белегороде триста, а на Бе-<br>рестовом двести в сельце, еже зовут<br>ныне Берестовое; и бе не сыт блуда,<br>привода мужеския жены, и девицы рас-<br>тлевая; бе бо женолюбец, якоже и Со-<br>ломон.   | Зри  |
| 71. | Бе же Варяг той пришел из Грек, и дер-<br>жаше веру Хрестьянскую, и бе у него<br>сын един красен лицом и душою: на сего<br>паде жребий по зависти дьяволи. И реша<br>пришедше посланни к нему: «Яко паде<br>жребий на сын твой; изволиша бо Бози<br>себе, да сотворим требу Богом.»  | Приношение<br>жертв человеече-<br>ских.      Зри           |
| 72. | Он же стояше на сенех с сыном своим,<br>и реша ему: «Вдай сына своего, да вда-<br>мы Богом его.» Он же рече: «Аще суть<br>Бози, то единого от себе пошлют Бога,<br>да поймут сын мой; а вы чему требуе-<br>те?» И кликнуша, и подсекоша сени под<br>нима, и тако побиша я, и не весть никто-<br>же, где положиша я.  | Зри  |
| 81. | Епископ же Корсунский с попы Царичны<br>огласив крести Володимира, и яко взло-<br>жи руку нань, и абие прозре. Видев же<br>се Володимир напрасное (не з а п н о е)<br>исцеление, и прослави Бога, рек: «Те-<br>перьво уведех Бога истиннаго».  | Крещение Влади-<br>мирово.      Зри                        |
| 83. | По сем же Володимир посла по всему<br>граду, глаголя: «Аще не обрящется кто<br>заутра на рече, богат ли, или убог, или<br>нищ, или работен, противник мне да бу-<br>дет». Се же слышавшие людие с радо-<br>стью идяху, и радующеся глаголаху:<br>«Аще не бы се добро было, не бы сего<br>Князь и бояре прияли».  | Зри  |
| 84. | Идеже стояше Перун и прочия кумиры,<br>им же требы творяше Князь и людие.  | Зри  |
| 84. | Володимир просвещен сам, сынове его,<br>и земля его; бе у него сынов двенатцать,<br>Вышеслав, Изяслав, Святополк, Ярослав,<br>Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис,<br>Глеб, Станислав, Позвизд, Судислав. И<br>посади Вышеслава в Новегороде, Изя-<br>слава в Полоцку, Святополка в Турове,<br>Ярослава в Ростове, Глеба в Муроме,<br>Святослава в Деревех, Всеволода в Во-<br>лодимере, Мстислава в Тмутаракани. | Володимир две-<br>натцати сынам<br>раздает уделы.      Зри |
| 86. | Князь же слышав рад бысть, и посла по<br>него и приведоша и ко Князю, и Князь<br>поведа ему вся. Сей же рече: «Княже,<br>не ведаю мочи моей, да искусише мя;   | Зри  |

- есть ли бык велик и силен?» И налезоса бык велик и силен, и повеле раздражниши быка, и възложиша нань железа горяча, и пустиша быка, и побеже бык мимо его, и похвати быка рукою за бок, и выня кожу с мяса, елико рукою его заял. Рече ему Володимир: «Можеши с ним боротися».
87. Заложил град на броне том, и нарече имя ему Переяславль, зане Переяслав отрок тому имя. Заложение Переяславля. Зри
87. И помолившись ему, рек сие: «Се даю церкви сей святей Богородице от имени моего и от градов моих десятую часть». Зри
88. Избыв же Володимир сего, поставил церковь и сотворил праздник велик, варя триста варь меду, и созываше бояры своя, и посадники, и старейшины по всем градом, и люди многи, и раздал убогим триста гривен. Зри
- 88—89. «Яко немощнии и больнии не могут долезти двора моего» и повеле пристроить кола (*телеги*), и всклад хлеба, и мясо, и рыбы, и овощи разноличныи, и мед в бочках, а в других квас возити по городу. Зри
89. И егда подпяху, начаша роптати на Князя, глаголюще: «Зло есть нашим головам, ясти деревянными лжицами, а не серебряными». Се же слышав Володимир, повеле ковати лжицы серебряныя, и ясти дружине. Зри
90. Он же реша ему: «Ты поставлен еси от бога на казнь злым, а добрым на милование; достоин ты казнити разбойника, но со испытанием.» Разбой в Руской земле. Зри
91. Рече им: «Соберите по горсти овса, или пшеницы, или отрубей». Они же, шедше добыша, и повеле женам сотворити цежь, из нея же варят кисель, и повеле ископати колодезь и налить цежи кадь, и другой колодезь ископати, и вставить другую кадь, и повеле искати мед. Они же шедшие и найдоша лукно меду в Княжой медуши погребено в земли, и повеле рассытити вельми, и вольяти в кадь в другом колодези. Хитрость употребленная против Печенегов. Зри
93. сам боляше вельми, в ней же болести и скончалась месяца Июля в пятнадцатый день. Умрежь на берестовом, и потаиша и, бе со Святополк в Кieve, и нощию межю двема клетями проймавши помост и в ковре опрятавши, свесиша ужи на Кончина Владимирова. Зри

- землю, и взложиша на сани, и весше поставиша во святей Богородице, юже бе создал сам.
94. Послании же придоша ношью на Олт, и подступиша ближе, и слышав блаженнаго Бориса поюща заутреню, и поведаша ему, яко хотят его погубити. И помолившусь ему, и се нападоша нань, яко зверие дивии около шатра, и насунуша копы, и прободоша, и слугу его падша на нем прободоша с ним: бе отрок сей родом Угрин, именем Георгий, егоже любляше вельми Борис, бе бо взложил на него гривну велику злату, в ней же предстояще ему. Зри
101. и рече Редедя ко Мстиславу: «Не оружьем ся биеве, но борьбою». И ястася бороти крепко, и надолзе борющимся има, и нача изнемогати Мстислав, бе бо велик и силен Редедя. Зри
106. и собра писцы многи, и предлагаше от Грек на Славенское письма, и списаша книги многи, ими же поучахуся вернии людие. И положи в святей Софии. Зри
106. В лето 6548. Ярослав иде на Литву 1040  
В лето 6549. иде Ярослав на Мазов- 1041  
шан в лодях. Зри
107. И хотяху пойти в Русь, и не идяше с ними дружина Княжа, Зри
107. В лето 6552, выгребоша два Князя, Ярополка и Ольга, сына Святослава, и крестиша кости ею, и положиша в церкви святыя Богородицы. Зри
108. В лето 6553. заложи Володимир свя-  
тую Софию в Новгороде. Зри
108. В лето 6559, постави Ярослав Илариона Митрополитом Русина в святей Софии, собрав епископы. 1051  
Иларион Митрополит. Зри
108. и попы многи снабдящу, в них же бе презвитер, именем Иларнон, муж благ, и книжен, Повесть о начале монастыря Печерскаго. Зри
112. и совокупи братьи числом сто, и нача искати правила чернецкаго, и обретеся тогда мних Михаил монастыря Студийскаго, иже бе пришел из Грек со Митрополитом Георгием, и нача у него искати устава чернец Студийских, и обрете у него и списа. Зри
113. к нему и аз приидох худый, и прият мя лет ми сущу семнатцати от рождения моего. Зри
116. В се же лето в Новгороде Волхов иде вспять пять дний; се же знамение не 1063. Зри



- добро бысть, на четвертое бо лето  
пожже Всеслав град.
116. В сии времена бысть знамение на за-  
паде, звезда превелика, лучи имущи аки  
кровавы, всходящие с вечера по западе  
солнечном, и пребысть за семь дней. Комета. Зри
117. и рек Котопан: «Хощу, Княже, за тя  
пити». Оному рекшу: «Пий». Он же ис-  
пив половину, а половину даст Князю  
пити, дотиснувся пальцем в чашу; бе бо  
имея под ногтем растворение смертное,  
и вдасть Князю, и урек смерть до дни  
осьмаго. Зри
121. В лето 6580. пренесоша святая страсто-  
терпца, Бориса и Глеба. Перенесение мо-  
щей Бориса и Гле-  
ба. Зри
128. Не дошедшу ему города прободен бысть  
от проклятого Нерядца саблею с коня,  
месяца Ноября в двадцать осмый день. Убиение Яропол-  
ково. Зри
130. В се же лето преставись Иоанн Митро-  
полит, и же бысть муж хитр книгам и  
учению, милостив к убогим и вдовицам,  
ласков же ковсяку богату и убогу, сми-  
рен же, молчалив и речист, книгами свя-  
тыми утешая печальныя. В се же лето  
иде Янька, дщи Всеволожа, в Греки, и  
приведе Митрополита Иоанна скопеч-  
ска чину, его же людие видевше реко-  
ша: «Се навье (мертвец) пришел» и  
год пребыв умре; бе же сей муж не кни-  
жен, и умом прост и просторек, Зри
130. сей бо Ефрем в сия лета много здания  
воздвиже, заложи бо церковь на воро-  
тах святого Феодора, и святого Андрея  
у ворот, и город камен и строение бан-  
ное каменно, сего же не бысть прежде  
в Руси, и украси город Переяславский  
церковными и протчими зданием и знаме-  
нии. Зри
131. его же повелению бых аз первое само-  
видец, еже и скажу; не слухом бо слы-  
шах, но сам о сем начальник. Речь Нестора о се-  
бе самом. Зри
132. В сии же времена мнози человецы уми-  
раха различными недуги, яко же глаго-  
лаху продающии кресты, яко продахом  
крестов, (поставляемых на гро-  
бах), яко от Филипова дня до мясопут  
семь тысяч. Мор в Руси Зри
133. «Сыне мой, благо тебе будет, яко слы-  
шу о тебе кротость, и радуюсь, яко ты  
покоиши старость мою. Аще ти подаст  
бог прияти власть стола моего по братьи  
своей со правдою, а не насильством; Зри

139. В се же лето придоша пружи (с а р а н - ч а) на Рускую землю месяца Августа 26, и поядоша всяку траву и много жита, и не бе сего слышано в днех первых в Руси, яже видеста очи наши. Зри
142. В се же лето придоша пружи, и покрыша землю, и бе видети страшно, идяху к полуночным странам. Зри
- 142—143. И выйде Олег из города, хотя мира, и даша ему мир, рекущи сиче: «Иди ко брату своему Давидови, и приидета к Киеву на стол отец наших и дед, яко той есть в земли нашей старейший град, и ту достоит снитися и поряд положить». Зри
145. Сии суть от пустыни Етверския межи востоком и севером; числом их четьре колена, Торкмени, Печенеги, Торки и Половцы. Мефодий бо свидетельствует о сих, яко восемь колен погibli суть, егда иссече я Гедеон, а 4. бегоша в пустыню. Друзии же глаголют их быти сыны Аммони или Моавли, но несть тако; сынове бо Моавли Хвалисы, а сынове Аммоновы болгаре, а Срацины от Измаила творятся, и сами ся прозваша Сарацины, рекше: Сарины (от Сарры) есьмы. Тем же Хвалисы и Болгаре суть от дщерей Лотовых, иже зачаста от отца своего, тем же нечисто племя их. Измаилов же род двенатцати сынов, от них же суть Торкмени, Печенези, Торки и Половцы. По сих восемь колен заклепани суть в горах Александром Макидонским, иже изыдут к кончине мира. Происхождение татарских поколений. Зри
146. Дивно находим мы чудо, его же несмы слыхали прежде сих лет; се бо третье лето поча быти (обрели чудо) первое, суть горы идучи к Лукоморию, им же высота аки до небеси, и в горах тех клич велик и говор, и секут гору, хотячи просечись. Зри
146. Александр, Царь Макидонский, прииде на восточныя страны, и видев человеки нечистыя от племени Афегова, загна их на полунощныя страны в горы высокия; Зри
147. и бысть брань люта, и убиша Изяслава, сына Владимира Мономаха, внука Всеволожа, Сентября 6го; прочия же вои побегоша. Убиение Изяслава на сражении со Ольгом. Зри
148. «Аще и брята моего убил еси, то есть недивно; в ратех бо цари и мужи погибают». Зри
148. Олег жеприиде к Суздалью, и слышав, яко идет по нем Мстислав, повеле зажещи град Суздаль, токмо остался двор Зри

Печерского монастыря и церковь Святого Димитрия, иже бе создал Ефрем, и с селы.

- |          |  |   |     |
|----------|--|---|-----|
| 151.     | кождо да держит отчину свою, Святополк Изяславичъ Киев; Володимир Всеволодовичъ, Давид, и Олег, и Ярослав Святославовичъ, им иже раздавал Всеволод города, Давидови Володимир, Ростиславичема Володарю Перемышль, Васильку Теребовль. На том целоваша крест, аще кто отселе на кого встанет, на того честный крест, и мы вси, и вся земля Руская;  | Союз и разделение удельных княжеств.                                | Зри |
| 154—155. | Приступи Торчин, именем Беренди, овчюх Святополчъ, хотя вывертети око ножом, и грешив ока, пререза ему лице.   |   | Зри |
| 157.     | Святополк хоте побегнути из Киева, и не даша ему Кияне побегнути, но послаша Всеволожу Княгиню, и Митрополита Николу к Володимиру, глаголюще: «Молимся, Княже, тебе и братом твоим, не мозита погубити Руской земли; аще бо возьмет рать, межи собою, погании имут радоватися, и возмут землю нашу, юже бе стяжали деды ваши и отцы трудом великим и храбрством, поборающе по Руской земле; а ины земли приискиваху; вы же хочете погубити Рускую землю ...» | Послы от Киян к Володимиру с прошением о примирении со Святополком. | Зри |
| 158.     | «Яко бе Давидова сколота (смута); то иди ты, Святополче, на Давида, и любю ими, любю прожени.» Святополк же емся по сие, и целовавше крест межи собою мир сотвориша.   | Мир между Володимиром и Святополком.                                | Зри |
| 159.     | И рече им Василько: «Поседи мало» и повеле слуге своему итти вон, и седе со мною, и нача ми глаголати: «Се аз слышу, оже мя хочет Давид дати Ляхом. Се то мало ся насытил крови моея, а се хочет более насытитись, оже мя вдасть Ляхом; аз бо Ляхом много зла сотворил, и хотел есмь сотворити и мстити Рускую землю».   |   | Зри |
| 160.     | Ино помышление в сердце моем не было ни на Святополка ни на Давида: клеюсь Богом и его пришествием, яко не помыслил есмь зла братьи своей ни в чем же, но за мое возношение Бог смири мя.  |   | Зри |
| 161.     | И повеле Василько вся изсечи, и сотвори мщение на людех неповинных, и пролия кровь неповинну.  |   | Зри |
| 168.     | В то же лето знамение бысть на небеси месяца Генваря 29 по три дни, аки пожарная заря от востока, и юга, и   | Северное сияние.  | Зри |

запада, и севера, и бысть тако свет всю  
нощь, аки от луны полны светящися.

- |          |  |  |     |
|----------|--|--|-----|
| 170.     | в четвертый день Апреля месяца великое спасение Господь Бог сотвори на враги наша, дав победу велику. Убиша ту в полку Князей 20.  | Победа над Половцами.                      | Зри |
| 171.     | Того же лета приидоша пружы Августа 1 дня.   | Саранча.                                   | Зри |
| 171.     | В лето 6612 ведена дщи Володирова Мария за Царевича за Олексинича Леона ко Царюграду. Июля в 20 день.  | 1104 брачные союзы с Царевичем Греческим.  | Зри |
| 171.     | В се же лето бысть знамение, стояше солнце в крузе, а посреди круга крест, а посреди креста солнце, а вне круга оба полы два солнца.   | Чрезвычайное явление солнца.               | Зри |
| 172.     | В се же лето преставись Янь, старец добрый, жив лет 90 в старости мастите по закону Божию, не хужше первых праведник, у него же и аз многа словеса слышах, еже и писах в летописании сем.  |  | Зри |
| 174.     | В то же лето бысть знамение в Печерском монастыре, в 11 день Февраля, явился столп огнен от земли до небеси, а молния освети всю землю, и в небеси погрёме в 1 час нощи, и весь мир виде.  |  | Зри |
| 176.     | В лето 6621 бысть знамение в солнце в 1 час дни, и бысть видети всем людем, осталось его мало, аки месяц, долу рогама Марта 19 дня.  | Затмение солнечное.                        | Зри |
| 178.     | Се аз Игумен святого Михаила, Силвестр, написах книги сии летописец, надеясь от Бога милости прияти, при великом Князе Володимире Киевском, а мне Игуменом бывшу у святого Михаила; а иже чтут книги сия, то буди Ми молитва их. | Силвестр продолжатель Нестеровой летописи. | Зри |
| 179—180. | В тож лето прииде Митрополит из Царяграда в святую Софию, именем Никита, а Амфилохий, Епископ Володимирский, преставися, и земли трясение бысть.   | Землетрясение. 1123                        | Зри |
| 180.     | В лето 6632 пожар бысть велик в Киеве, яко погоревшу ему мало не всему, по два дни по подолию погоре, яко церквей единых згорело близ шести сот.   | 1124 Пожар в Киеве.                        | Зри |
| 186.     | Онаж тако сотвори, и давши меч сынову Изяславу в руку наг, рече: «Яко внидет ти отец, рцы выступа: «Отче, егда един жити хочещи, или безсмертен мнишися; приими  |  | Зри |

- меч сей, понзи преже по утробу мою, да не вижу аз смерти матери моея».
195. дивно знамение бысть на небеси и страшно; быша три солнца сияюще межи собою, а столпие трие от земли до небеси. Над всем горе быше аки дуга месяцац остоящ,
204. а Игоря повергше, за нозе волокоша сквозь Бабин торжок до святых Бого-родицы, и ту обретоша мужа стояща с колы, и возложиша и на кола, и везоша на подolie.
- 217—218. бе бо исхитрил Изяслав лоды хитро и дивно, беша у них гребцы гребуще невидимо, токмо вёсла видети, а человек не видети; бяху бо лоды покрыты досками. Борцы же стояху горе в бронях стреляючись, а кормника два, быше един на корме, а другой на носе, и камо же хотяху, тамо идяху, не обращающе лодьями.
232. В лето 6664 преставись Феодосий Игумен Печерский, и по нем Нифонт Епископ Новгородский Апреля 18 дня, и положиша я в Печерском монастыре.
234. Того же лета выгнаша Ростовцы и Суздальцы Леона Епископа, зане умножил быше церквей, грабя попы.
237. В тож лето воста ересь Леонтианская. Епископ Леон не по правде поставився к Суздалью, Нестору Епископу Суздальскому живу сущу, и перехватив Несторов стол, поча в Суздале учить не ясти мяс в господские праздники, ни на рождество Господне ни на крещение, аще случится в среду и в пяток.
241. Того же лета прибеже из Царя града брат Царя Мануила Кир Андроник Комнин в Галичь, и прия его князь Ярослав Володимировичь с великою любовию, и даст ему неколико городов. Потом присла по него Царь два Митрополита, зовя и к себе; Ярослав же отпусти его с великою честью, и пристави к нему Епископа Козму и мужи свои переднии, и тако проводиша и. Того же лета Давид Ростиславичь седе в Витепске, а Романови, Вячеславлю внуку, да Ростислав Василев и Красен. Того же лета Василько Ярополчичь избив Половцы на Рси, много же их руками изыма, и обогатишася дружина его оружием и коньми, а на самих искупа Князь пойма много.
- Убиение Игорев.
- Победа над Половцами на Рси.

- |   |  |
|---|--|
| 243. Давид же не да ему полку (бою), зане ждаше брата Романа со Смолняны. Сеже дивно содеяся в полунощи, бысть гром силен, воем стоящим Володаревым; и се слышашеся им, яко вои бродятся срез реку, и нападе страх на них,  | Зри  |
| 254. Он же вскочив хоте взять мечъ, и не бысть меча; бе бо выняд в той день Амбал, ключник его; той меч бяше святаго Бориса. Окаяннииж всовавшесь в постельницу вси, и иссекше его саблями и мечи, идоша прочь.   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">Убиение Князя Андрея Боголюбскаго.</div> <div style="width: 35%; text-align: right;">Зри</div> </div>  |
| 271. Всеволод же еха изъездом к Торжку, и приехав стояше около города месяц, и людие изнемогоша в граде с голода, и конину ядыху, и предашась, и взяша град, а Князя Ярополка яшъ, и возвратися с победою в Володимир, а люди приведе Торжчане, и пусти их на Торжек после. | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">Здача Торжска, пленение Ярополка Всеволодом, и изгнание Володимира из Новагорода.</div> <div style="width: 35%; text-align: right;">Зри</div> </div> |
| 275. наши же погнаша, секуще я, 3000 руками изымаша их, а Князей было Половецких 417.   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">Победа над Половцами.</div> <div style="width: 35%; text-align: right;">Зри</div> </div>   |
| 283. В тож лето исписана бысть церковь святя Богородицы в граде Ростове блаженным Лукою Епископом.  | Зри  |
| 284. Того же лета на зиму Февраля 17 дня бысть гром страшен, зарази дву детей. и храмину зажже.   | Зри  |

# ЗАМЕТКИ РАДИЩВА НА ЧИСТОМ ЛИСТЕ В НАЧАЛЕ ЛЕТОПИСИ

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 11 — зри   | 116 — зри                 |
| 21 — зри   | 186 — зри                 |
| 22 — зри   | 237 — —                   |
| 24 — зри   | 241 — о царе (?) Комине   |
| 32 — —   | 284 — о громи             |
| 33 — —   | 71 — о детях Владимировых |
| 37   |                           |
| 45 — зри о перуне                                      |                           |
| 48 — О деревлянахъ како их засыпали                    |                           |
| 49   |                           |
| 65 — зри об идолахъ                                    |                           |
| 70 — зри о том же                                      |                           |
| 24 — зри   |                           |
| 86 — о богатыре  |                           |
| 84 — зри   |                           |
| 90 — о колодязях                                       |                           |
| 106 — о переводе книг                                  |                           |
| 113 — о Нестори святом                                 |                           |
| 116 — О волхове — рече — и о смерти Рос-<br>тиславовой |                           |
| 126 — О перенесении мощей Борис<a> и<br>Глеба —        |                           |
| 130 — зри о скопце-митрополите                         |                           |
| 139 — о пружех — что значит — саранча                  |                           |
| 145 — о Александре Македонском                         |                           |
| 160 — о убиении Василька                               |                           |
| 171 — о знамени  |                           |
| 174 — о том же   |                           |

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### Статьи

Ю. М. Лотман. Этика и тактика революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века (1. Спор о бессмертии души и вопросы революционной тактики в творчестве Радищева; 2. Радищев и проблема революционной власти; 3. Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт Французской революции).	3
С. Г. Исаков. О «ливонских» повестях декабристов (К вопросу о становлении декабристского историзма).	33
Б. Ф. Егоров, В. П. Боткин — литератор и критик. Статья 2.	81
П. С. Рейфман. Журнал «Заграничный вестник». Статья 1.	123

### Публикации и сообщения

Переписка Ап. Григорьева с Н. Н. Страховым. Вступительная статья, публикация и примечания Б. Ф. Егорова.	163
З. Г. Минц. М. А. Сергеев и его воспоминания. Приложение; библиография трудов М. А. Сергеева.	174
<b>М. А. Сергеев.</b> Об одном замысле А. М. Горького (воспоминания).	201
Н. Андресен. Валерий Брюсов на эстонской сцене.	211
Радищев — читатель летописи. Заметки Радищева на тексте «Повести временных лет». Публикация и вступительная заметка Ю. М. Лотмана.	213



Тартуский государственный университет  
ЭССР, гор. Тарту, ул. Юликооли, 18  
ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ  
ФИЛОЛОГИИ

VIII

Литературоведение

На русском языке

Редактор Б. Ф. Егоров

Корректор З. Г. Минц

Сдано в набор 15. X 1964. Подписано к печати  
30. III 1965. Бумага 60×90, 1/16. Печатных листов  
14,75. + 1 вклейка. Учет.-издат. листов 19. Ти-  
раж 500 экз. МВ 03155.

Заказ № 7946

Типография им Ханса Хейдеманна,  
ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 17/19. I.

Цена 1 руб. 35 коп.